П.А. ВЯЗЕМСКИЙ

Советский писатель

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1958

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Л. Я. Гинзбург

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

1

В русской литературе первой трети XIX века Вяземскому принадлежит заметное место, хотя по своей художественной ценности его творческое наследие не может сравниться с наследием таких его современников, как Жуковский, Батюшков, Баратынский.

Вяземский, выступивший на общественно-литературном поприще в 1810-х годах и сошедший с него в 1870-х, прошел длинный и сложный путь в высшей степени характерный для его социальной группы.

Петр Андреевич Вяземский родился в 1792 году в Москве. Потомок удельных князей, он принадлежал к старинной феодальной знати, оскудезавшей по мере укрепления централизованного самодержавно-бюрократического режима.

О своем отце, князе Андрее Ивановиче, Вяземский писал: «...20-ти лет с небольшим был он уже полковником и командовал полком. Не знаю, чему приписать такое скорое повышение, но верно уже — не искательству, чему служит доказательством, что, находясь под начальством князя Потемкина в Турецкую войну, был он с ним в неблагоприятных сношениях: слыхал я, что князь находил молодого человека чересчур независимым и гордым».[1] А ведь Потемкин был жалованный князь из мелких дворян.

Выслужившиеся фавориты, «случайные люди», пришлые бюрократы из мелких прибалтийских баронов, лишенные местных инте-

---

[1] П. А. Вяземский, т. 7, стр. 90. Здесь и в дальнейшем ссылки на произведения Вяземского даются по изданию: Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. СПб., 1878—1896.

ресов и вековых претензий русского барства, — ко всему этому оплоту полицейского государства у Вяземского вражда была в крови. Аристократическая фронда, обессиленная сознанием дворянской зависимости от абсолютизма, органической связи с абсолютизмом, — вот атмосфера, воспитавшая Вяземского.

В 1805 году А. И. Вяземский поместил сына в петербургский иезуитский пансион; некоторое время учился Петр Андреевич и в пансионе при Педагогическом институте. В 1806 году он вернулся в Москву, где пополнял свое образование, беря частные уроки у профессоров Московского университета. В 1807 году А. И. Вяземский умер, оставив шестнадцатилетнему сыну довольно крупное состояние. По тогдашнему обыкновению Вяземский числился на службе (в Межевой канцелярии), но служба эта была совершенно фиктивной.

Сознательно чуждаясь официальных, бюрократических кругов, Вяземский ведет в эти годы рассеянную жизнь, азартно играет в карты; но вместе с тем в этот же период складываются прочные литературные связи, надолго определившие его творческий путь.

В беззаботное существование независимого аристократа и светского любителя литературы ворвались грозные события Двенадцатого года. Вяземский вступил в дворянское ополчение и участвовал в Бородинском сражении, где под ним были убиты две лошади. Вместе со своими сверстниками он переживает победоносное окончание войны, бурный подъем национального самосознания (на первых порах совмещавшийся еще в дворянских кругах с восторженным отношением к Александру I), большие политические надежды, которым не суждено было осуществиться.

Литературные отношения Вяземского с самого начала определились его близостью к Карамзину, главе нового направления (Карамзин был женат на старшей сестре Вяземского — Екатерине Андреевне, и старый князь Вяземский, умирая, оставил сына на попечение Карамзина). Уже в самом начале 1810-х годов Вяземский тесно сближается с будущими арзамасцами — Жуковским, Батюшковым, Денисом Давыдовым, В. Л. Пушкиным, Блудовым, Александром Тургеневым.

Эта «дружеская артель» (выражение Вяземского) постоянно собиралась в его московском доме в 1810—1811 годах. К этому времени сложились уже те литературные принципы, которые через несколько лет провозгласит «Арзамас».

Устремления образованного, осваивавшего европейскую куль-

туру дворянства встретили в середине 1810-х годов отпор со стороны наиболее реакционных кругов. В вопросах языка и литературы представителем этих кругов выступил А. С. Шишков. Шишков понимал, что всякий языковый материал несет в себе определенное социально-политическое содержание. Он утверждал, например, что вместе со словами, которые Карамзин и карамзинисты заимствуют из французского языка, в русский идеологический обиход вторгаются буржуазные идеи, конституционная и революционная терминология. Единственным безопасным источником обогащения русской речи Шишков считал церковно-славянский язык. В таком именно плане Шишков возражал против сглаженного, светского, европеизированного стиля Карамзина, Дмитриева и других русских сентименталистов; он отстаивал литературную традицию русского XVIII века с ее высоким одическим пафосом и с ее бытовым просторечием в «низких» жанрах (басня, сатира, комедия), приспосабливая эту традицию к своим идеологическим требованиям.

Свои взгляды Шишков развернул в особом трактате «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Вокруг «Рассуждения» завязалась борьба. В 1811 году возникла полуофициальная «Беседа любителей русского слова», возглавляемая стариками — Шишковым, Хвостовым, Державиным (к «Беседе» и ее делам Державин был, впрочем, совершенно равнодушен).

В противовес «Беседе» в 1815 году организован был «Арзамас» — общество молодых последователей Карамзина. Арзамасцы охотно действовали шуткой, острым словом. «Беседа» пародировалась, высмеивалась в самом уставе общества, в его шуточных обрядах и правилах. В «Арзамас» вошли лучшие поэты той поры — Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, Вяземский, начинающий Пушкин.

Для Вяземского в 1810-х годах существенное значение имела традиция французской «легкой» поэзии XVIII века. Поэты арзамасского круга, на русской почве, также разрабатывают легкий, гармонический слог, искусно варьируют условные и изящные поэтические формулы. Высокого совершенства эти стилистические принципы достигают в творчестве Батюшкова; молодой Вяземский также отдает дань гармоническому стилю.

Настал любви условный час,
Час упоений, час желаний;
Спи, Аргус, под крылом мечтаний!
Не открывай, ревнивец, глаз!

Красавицы! звезда свиданий,
Звезда Венеры будит вас!

...Приди ко мне! Нас в рощах ждет
Под сень таинственного свода
Теперь и нега, и свобода!
Птиц ожил хор и шепот вод,
И для любви сама природа
От сна, о Дафна, восстает!

(«Весеннее утро»)

В этом стихотворении Вяземского 1815 года узнаем характерные «батюшковские» черты — мифологические образы, устойчивые формулы условного поэтического языка (час упоений, крыло мечтаний, звезда свиданий, таинственный свод, нега, шепот вод и т. д.).

В раннем творчестве Вяземского представлены элегии, послания, песни, эпиграммы, альбомные стихи и проч. При этом подлинное призвание Вяземского — не в элегической лирике, в которой Жуковский и Батюшков утверждали новое понимание душевной жизни. Вяземский — присяжный сатирик «Арзамаса», бессменно стоящий в первом его боевом ряду, всегда готовый пустить эпиграммой в Шишкова, Хвостова, Кутузова, Карабанова, Шаховского и прочих столпов «Беседы».

Наряду с этим Вяземский, уже в начале своего литературного поприща, выступает как мастер излюбленного арзамасского жанра — дружеских посланий.

В конце XVIII — начале XIX века передовое русское дворянство создавало литературу, свободную от всякой официальности и парадности. Оно стремилось выразить в этой литературе свои идеи, переживания, вкусы, свой быт. Самое интимное, «домашнее» выражение жизни осуществлялось в так называемых дружеских посланиях, с их культом независимости, изящного «безделья», с их враждой ко всему официальному и казенному. Образцы дружеских посланий в русской литературе дали Карамзин и Дмитриев, за ними пошли Жуковский, Батюшков, Вяземский, молодой Пушкин.

В 1810—1820-х годах Вяземский создает ряд посланий к Жуковскому, Батюшкову, Блудову, Денису Давыдову, Ал. Тургеневу. В посланиях поэтические условности, мифологические атрибуты и проч. своеобразно сочетаются с некоторыми элементами конкретной, эмпирической обстановки. Элегическая лирика карамзинистов замыкалась в кругу специально поэтического языка; в друже-

ском же послании поэт не считает нужным сохранять гармоническую однородность слога. В его речь проникают обиходные слова и шуточные, домашние словечки:

Иль, отложив балясы стихотворства
(Ты за себя сам ритор и посол),
Ступай, пирог, к Тургеневу на стол,
Достойный дар и дружбы и обжорства!

(«Послание к Тургеневу с пирогом»)

Шуточный тон дружеских посланий открывал дорогу бытовому, конкретному слову, расширяя возможность лирической поэзии. При этом чрезвычайно важно, что, несмотря на бытовой и шуточный элемент, дружеские послания вовсе не попадали в разряд «комических жанров». Лиризм, раздумье, грусть находили в них доступ. Дружескому посланию принципиально была присуща та эмоциональная — тем самым и стилистическая — пестрота, которую впоследствии до бесконечности углубил Пушкин в лирических отступлениях «Евгения Онегина».

В 1810-х годах молодой Вяземский принадлежал к той общественной прослойке, которая считала себя солью русской земли и с гордой уверенностью смотрела в будущее. Он богат (пока не промотал свое состояние), знатен, и в то же время он просвещенный дворянин, носитель передовых настроений и мыслей. Традиции русского вольтерьянства, религиозного вольнодумства, просветительской философии сочетаются в его сознании с патриотическим одушевлением периода наполеоновских войн, с политическими требованиями и чаяниями, которые это одушевление вызвало к жизни. Занятия литературой, при всем их принципиальном дилетантизме, осознаются в своей важной общественной функции — построения новой русской культуры, борьбы за нее против староверов и рутинеров. На сегодняшний день — независимость, литературное «аматёрство», светские успехи; в будущем — обеспечено гражданское поприще большого масштаба, государственная деятельность ждет князя Вяземского.

Из этих ожиданий, казалось бы, столь несомненных, ничто не осуществилось.

Либеральные иллюзии и чаяния скоро разбились о реакционную политику Александра I: на международном поприще — Священный союз трех деспотов, императоров русского, прусского и австрийского; внутри страны — аракчеевщина. Перелом в жизни Вяземского совпал с периодом, когда складывались декабристские

организации (1817—1818). В 1818 году распался «Арзамас». Перед самым концом была предпринята неудавшаяся попытка придать этому литературному обществу новое направление. Вместе с декабристом М. Ф. Орловым Вяземский принадлежал к числу сторонников включения общественно-политических вопросов в сферу деятельности «Арзамаса»; в 1817 году он составил проект издания арзамасского литературно-политического журнала.[1]

В 1817 году Вяземский принял решение поступить на службу. Этого требовали прежде всего материальные обстоятельства, так как двадцатипятилетний Вяземский успел, по собственному его выражению, «прокипятить» на картах полмиллиона. К тому же на Петра Андреевича оказывали давление старые друзья его отца, считавшие, что наследнику имени Вяземских пора занять в обществе место, принадлежащее ему по праву рождения.

Когда нужда в деньгах и «родовая честь» вынудили Вяземского избрать себе служебное поприще, он вступил на него не как исполнительный чиновник, заранее готовый угождать начальству, но как человек с определенными политическими идеями и пожеланиями.

Вяземский был определен в Варшаву, в канцелярию Н. Новосильцева, который с 1815 года носил звание полномочного делегата при Правительствующем совете Царства Польского. В Варшаве Вяземский очутился в атмосфере оппозиционных настроений, охвативших широкие круги польской дворянской интеллигенции.

Новосильцев поручил Вяземскому иностранную переписку, а также переводы и редактуру бумаг государственного значения. В 1818 году Вяземский, в частности, переводил речь, произнесенную Александром I на открытии польского сейма. Речь эта, выдержанная в «либерально-конституционном» духе, возбудила надежды на преобразование русского государственного строя. В том же году Вяземский был привлечен к участию в подготовке проекта конституции для России. Этот втайне разрабатывавшийся проект был положен под сукно. Такая же участь постигла записку по вопросу об освобождении крестьян, поданную Александру за подписью Вяземского и еще нескольких лиц.

Карьера, на которую Вяземский мог рассчитывать по своему происхождению и положению в обществе, пресеклась в самом начале. В 1821 году Вяземский, обвиненный в «польских симпатиях» и в «несогласии с видами правительства», был отстранен от службы и удален из Варшавы. Начинается опальное существование Вязем-

---

[1] «Арзамас и арзамасские протоколы». Л., 1933, стр. 239—242.

ского. Значительную часть времени он проводит с семьей в родовом подмосковном имении Остафьево.

Еще в 1819—1821 годах Вяземский в стихах и в письмах к друзьям[1] из Варшавы резко осуждал правительственную политику. Крушение блестяще начавшейся служебной карьеры должно было заострить антиправительственные настроения Вяземского, сблизить его с декабристскими кругами.

Вяземский никогда не входил в декабристские организации, но по своим настроениям в 1810—1820-х годах он принадлежал к той умеренно оппозиционной дворянской среде, которая в качестве своего авангарда выдвинула правое крыло Северного общества декабристов.

Вяземский знал о существовании тайных обществ, о многом догадывался, многому сочувствовал, но, когда была сделана попытка вовлечь его в организацию, он уклонился.[2] В 1825 году, за три месяца до восстания, Вяземский с горечью писал Пушкину: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя... если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа».[3] Вяземский — это резерв декабризма. Среди передового дворянства выжидающих было много: если бы переворот удался, они с воодушевлением поддержали бы правительство, выдвинутое дворянской оппозицией, но восстание провалилось — и они пошли на вынужденное примирение с самодержавием.

Оппозиционные настроения Вяземского отразились в ряде его сатирических и вольнолюбивых стихотворений — «Сибирякову», «К кораблю», «Петербург», «Уныние», «Новогоднее послание к В. Л. Пушкину» и других. В ноэле («Спасителя рожденьем...»), наряду с выпадами против литературных врагов — шишковцев, развернута острая сатира на министров и прочих сановников Алек-

---

[1] Особенно обширную, систематическую переписку Вяземский вел с А. И. Тургеневым, вплоть до смерти Тургенева в 1845 г. Переписка эта издана в четырех томах «Остафьевского архива князей Вяземских». СПб., 1899.

[2] На эти обстоятельства Вяземский прозрачно намекал в своей «Исповеди». В позднейших примечаниях к «Исповеди» он писал: «Некоторые попытки, разумеется, весьма неопределенные и загадочные, были пущены на меня, но нашли во мне твердое отражение» (т. 9, стр. 107). Материал об отношениях Вяземского с декабристами собран в статье Н. Кутанова «Декабрист без декабря» («Декабристы и их время», т. 2. М., 1932, стр. 201—290).

[3] «Переписка» Пушкина, т. I. СПб., 1906, стр. 280.

сандра I. Вот, например, строфа, посвященная сибирскому генерал-губернатору Пестелю:

Пронырливый от века
Сибирский лилипут,
Образчик человека,
Явился Пестель тут.
«Что правит бог с небес землей — ни в грош не ставлю;
Диви, пожалуй, он глупцов,
Сибирь и сам с Невы брегов
И правлю я и граблю!»

Басня «Доведь» направлена не только против временщиков вообще, но непосредственно метила и в Аракчеева.

Не случайно, что Вяземский печатает ряд вольнолюбивых и сатирических стихотворений («Петербург», «Цветы», «Воли не давай рукам», «В шляпе дело», «Того-сего», «Давным-давно») в «Полярной звезде» Рылеева и Бестужева. Издатели «Полярной звезды» дорожили сотрудничеством Вяземского. 20 февраля 1825 года Рылеев писал ему: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что, однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно: давайте нам сатиры, сатиры и сатиры». [1]

Нашумевшее в свое время «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820) имело целью защитить Карамзина от нападок его врагов, но и в это послание проникли политические, вольнолюбивые мотивы:

Внемлите, как теперь *пугливые невежды*
Поносят клеветой высоких душ надежды.
На светлом поприще гражданского ума
Для них лежит еще предубеждений тьма...
...В превратном их уме свобода — своевольство!
Глас откровенности — бесстыдное крамольство!
Свет знаний — пламенник кровавый мятежа!
Паренью мысли есть извечная межа,
И, к ней невежество приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.

---

[1] «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 145.

Центральное место среди вольнолюбивых произведений Вяземского этого периода занимает стихотворение «Негодование» (1820), широко распространявшееся в списках.

В «Негодовании» Вяземский с большой силой выразил протест против бесчеловечных форм крепостного гнета, против деспотической политики царизма. Предвещая торжество свободы, Вяземский достиг в «Негодовании» подлинно высокого гражданского пафоса:

Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

В то же время в «Негодовании» ясно видно, сколь умеренны были политические требования Вяземского, его реальная программа. Так, поэт обращается к свободе:

Ты разорвешь рукой могущей
Насильства бедственный устав
И на досках судьбы грядущей
Снесешь нам книгу вечных прав,
Союз между граждан и троном,
Вдохнешь в царей ко благу страсть,
Невинность примиришь с законом,
С любовью подданного власть.

Подобные иллюзии были еще распространены на рубеже 1820-х годов. Молодой Пушкин тоже писал:

Увижу ль наконец народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя?

Отход от гармонического стиха карамзинской школы, от подражаний французским «легким» поэтам намечается в творчестве Вяземского именно в тот период, когда ему пришлось искать средства для выражения общественных идей, выходивших за пределы идейного кругозора писателей сентиментализма.

Для Вяземского *поэзия мысли*, которую он неустанно пропагандирует, — не поэзия философских умозрений, но поэзия «сочувствия и соответствия обществу». Понятно, что творческие задачи, стояв-

шие перед Вяземским 1820-х годов, не могли быть разрешены средствами карамзинской школы. По групповым и тактическим соображениям Вяземский в печати тщательно избегал всего, что могло прозвучать полемикой с Карамзиным, но практически он был принужден искать новые средства художественного выражения на путях, далеких от традиций учителя. Вяземский знал и ценил литературную культуру XVIII века, культуру Державина и Фонвизина, во всей ее широте, не только с «высоким штилем», но и с просторечием и со всей стилистической самобытностью и смелостью. Языковая культура XVIII века, казалось, открывала реальные возможности решения новых и актуальных литературных задач. Но решение это, понятно, было ограниченным.

У Вяземского подобного рода тенденции наиболее отчетливо сказались в его опытах политической оды (одическими стихами он откликается уже на события Отечественной войны). Обращение к оде было естественно: торжественная и приподнятая одическая речь как бы придавала особую значительность высокому предмету произведения. Наряду с официальной, придворной одой существовала вольнолюбивая ода Радищева, Рылеева, молодого Пушкина. К традициям вольнолюбивой оды примыкает и «Негодование» Вяземского:

Но ветер разносил мой глас, толпе невнятный.
Под знаменем ее владычествует ложь;
Насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство председит в собрании вельмож.

Приподнятость тона, нагромождение образов, обилие славянских слов (глас, чело, председит и т. д.) — всем этим «Негодование» приближается к оде XVIII века.

Вяземский с его полемическим темпераментом, с его интересом к быту, к политике, к злободневности не мог удержаться в рамках сглаженной, гармонической поэтики карамзинизма. Наряду с одической традицией он развивает созданную в XVIII веке традицию сатиры, эпиграммы, сатирической басни. Излюбленная его стиховая форма — куплеты с повторяющимся, иногда варьирующимся припевом; куплеты, насыщенные сатирическим содержанием — от обличения взяточников до литературной полемики со старовером Каченовским.

В литературных опытах, о которых только что шла речь, молодой Вяземский выступает и как ученик французских просветителей и как наследник национальной традиции русского XVIII века.

Но вот на рубеже 1820-х годов возникают толки и споры о романтизме, — и каждый активный русский писатель этой поры должен определить теперь свое отношение к новому кругу вопросов.

2

В своих критических и полемических статьях 1820-х годов Вяземский выступает как один из самых активных защитников и пропагандистов нового, романтического направления. Для понимания деятельности Вяземского этих лет необходимо поставить вопрос: чем же был романтизм для этого человека, смолоду впитавшего рационалистическую, просветительскую культуру XVIII века?

Декабристский романтизм 1820-х годов — это совершенно своеобразная национальная форма романтизма. Западноевропейский романтизм начала XIX века Маркс рассматривал как явление послереволюционное, явление эпохи политической реакции и общественной депрессии.[1] Романтизм то смыкался с церковной и монархической реакцией, то выступал как революционный, протестующий. Но самый характер романтического протеста также определялся атмосферой послереволюционной реакции. Примером в первую очередь является байронизм с его трагическим индивидуализмом, «демонизмом», разочарованием.

Понятно, что декабристской интеллигенции 1810—1820-х годов, действовавшей в условиях подготовки дворянской революции, гораздо ближе те явления мировой культуры, которые связаны с предреволюционным и революционным подъемом: просветительская философия, руссоизм, радикальный сентиментализм, выдвинувший проблемы народности и истории.

Создание самобытной национальной литературы, раскрывающей насущные жизненные вопросы, — вот великая культурная задача, поставленная передовыми людьми 1820-х годов (разрешена она была позднее). Поэтому из круга романтических идей в качестве основной выделяется идея народности, вовсе не принадлежавшая собственно романтизму; на Западе она возникла в недрах позднего Просвещения и проникала в романтическую идеологию как наследие умственного движения, возбужденного Лессингом, Гердером, Гете.

Рассматривая декабристский стиль как классический или как романтический в западноевропейском понимании этих терминов, мы

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 34.

запутываемся в непоследовательностях и противоречиях, в которых запутались уже современники. Между тем это стиль вполне органический и последовательный, если брать его как выражение национальных задач и целей. Это своеобразный стиль людей русской дворянской революции, наследников французского и русского Просвещения XVIII века, владеющих в то же время всем культурным опытом современного Запада, тем самым и опытом романтизма.

Просветительская идеология могла находить адекватное выражение, пользуясь художественными средствами классицизма, особенно гражданского классицизма с его вольнолюбивыми аллюзиями. В 1820-х годах на рационалистическую почву начинают наслаиваться романтические темы, романтические литературные формы. Гражданственный классицизм и революционный романтизм своеобразно скрещиваются в своей трактовке героической личности, хотя исходят при этом из разных социальных и философских предпосылок.

С одной стороны, герой с его страстями и с его гражданственностью, герой — тираноборец, отчизнолюбец. С другой стороны, мощный протестующий дух, романтическая «избранная личность». В декабристском романтизме они порою сливаются. Творчество Байрона выступает в первую очередь как могучая проповедь тираноборчества и свободы. Байроновский трагизм в какой-то мере находит себе соответствия в глубоких противоречиях, присущих сознанию дворянских революционеров, оторванных от народа, — в скептицизме, в иронии, от которых до конца не свободны даже некоторые активные декабристы, а тем более люди декабристской периферии.

В сознание Вяземского романтизм входит именно через восприятие Байрона, о котором Вяземский говорил: «Краски его романтизма сливаются с красками политическими». Вяземский знакомится с поэзией Байрона в 1819 году, и его письма этой поры отражают потрясающее воздействие этого открытия. «Я все это время купаюсь в пучине поэзии, — пишет Вяземский Ал. Тургеневу из Варшавы, — читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии! Как Жуковский не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов!» И характерно, что далее, в том же письме, Вяземский связывает байронизм с собственными своими неудовлетворенными порывами к жизни деятельной, насыщенной, напряженной: «Это также мой сон: или за Байроном пуститься по всему свету вдогонку за солнцем, или в губернском правлении — за здравым рассудком и правдою, бежавшими из России, или... Развернитесь скорее передо мною туманные завесы будущего! Раскройте

бездну, которая пожрет меня, или цель, достойную человека! Полно истощевать мне силы в праздных и неопределенных шатаньях! Судьба, промысел, боже, случай, направьте шаги мои, или отправьте меня к ...! Я не по росту своему шагаю, не туда иду, куда глаза глядят, куда чутье манит, куда сердце призывает. Там родина моя, где польза или наслаждение, а здесь я никого не пользую и ничем не наслаждаюсь. Сделайте со мною один конец, или выведите мою жизнь на свежую воду, или и концы в воду! Вот тебе и моего байронства».[1]

Для Вяземского декабристской поры романтизм — это прежде всего литературное выражение вольнолюбия, поэтика народов, борющихся за независимость, и личностей, протестующих против угнетения. При этом романтическое раскрепощение формы находит у Вяземского политические аналогии: «Провалитесь вы, классики, с классическими своими деспотизмами! Мир начинает узнавать, что не народы для царей, а цари для народов; пора и вам узнать, что не читатели для писателей, а писатели для читателей»,[2] — пишет Вяземский в 1819 году.

И романтизм как освободительное движение в литературе, и романтизм как новую поэзию, развивающуюся на основе народности, Вяземский, рационалист и ученик просветителей, воспринял органически. Ведь просветитель начала XIX века не мог уже, разумеется, оставаться на позициях нормативной и догматической эстетики, точно так же как он не мог пройти мимо идей народности и историзма в той их форме, в какой они с конца XVIII века стали неотъемлемым достоянием передовой европейской мысли. Но в то же время Вяземский равнодушен к «туманному» немецкому романтизму с его идеалистической эстетикой, натурфилософией, религиозными устремлениями. В романтизме Вяземский увидел то, что было в нем наименее «мечтательным» и наиболее позитивным, то, что в эпоху еще доромантическую было уже намечено самыми смелыми и последовательными умами позднего Просвещения: интерес к историческому, национальному, идею освобождения личности, борьбу за новые свободные формы в искусстве. Именно эти взгляды на романтизм Вяземский выразил в своих программных статьях 1820-х годов, посвященных «Кавказскому пленнику», «Бахчисарайскому фонтану», «Цыганам» Пушкина.

Споры вокруг романтизма особую остроту приобретают в России именно с появлением южных поэм Пушкина, выдвинувших но-

---

[1] «Остафьевский архив», т. I. СПб., 1899, стр. 326—328.
[2] Там же, стр. 359.

вые для русской поэзии проблемы — героя и характера. «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», напечатанный Вяземским в виде предисловия к первому изданию «Бахчисарайского фонтана», — в эти годы самое яркое теоретическое выступление в защиту романтизма и Пушкина. Статья была воспринята как манифест нового направления и вызвала полемику между Вяземским и М. Дмитриевым, последышем литературных «староверов». В апреле 1824 года Пушкин писал Вяземскому по поводу этой статьи: «Не знаю, как тебя благодарить; разговор — прелесть, как мысли, так и блистательный образ их выражения. Суждения неоспоримы. Слог твой чудесно шагнул вперед. . .»

Ведущим деятелям русской культуры первой половины 1820-х годов присуще равнодушие к философским истокам и обоснованиям романтизма (в отличие от «любомудров» и вообще русских романтиков, действовавших уже в последекабристский период). Это равнодушие приводило к своеобразным результатам: защита романтизма сочеталась со скептическим отношением к самому понятию, к термину *романтизм.* Скептические суждения по этому поводу неоднократно высказывал Пушкин. Откровенный скептицизм характерен и для многих высказываний Вяземского. Даже в своих статьях 1820-х годов Вяземский отмечает неопределенность понятий классического и романтического.[1] Почти через полвека, в «Приписке» 1876 года к статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», Вяземский в высшей степени критически оценил литературную полемику, в которой сам он некогда деятельно участвовал: «. . .В то время значение *романтизма* не было вполне и положительно определено. Не определено оно и ныне. Под заголовком романтизма может приютиться каждая художественная, литературная *новизна,* новые приемы, новые воззрения, протест против обычаев, узаконений, авторитета, всего того, что входило в уложение так называемого классицизма, — вот и романтизм, если обнажить его от всех исторических, философических умозрений и произвольных генеалогических, родовых и племенных соображений, которыми силились облечь его. . .

[1] В «Письмах из Парижа» (1826—1827) Вяземский писал: «Нет сомнения, что так называемый романтизм (надобно, кажется, непременно ставить или подразумевать оговорку: «так называемый» перед словом романтизм, ибо название сие не иначе, как случайное и временное; настоящий крестный отец так называемого романтизма еще не явился) дает более свободы дарованию; он покоряется одним законам природы и изящности, отвергая насильство постановлений условных» (П. А. Вяземский, т. 1, стр. 226).

У нас не было ни средних веков, ни рыцарей, ни готических зданий с их сумраком и своеобразным отпечатком; греки и римляне, грех сказать, не тяготели над нами. Мы более слыхали о них, чем водились с ними. Но романтическое движение, разумется, увлекло и нас... Тотчас образовались у нас два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнее было то, что налицо не было ни настоящих классиков, ни настоящих романтиков: были одни подставные и самозванцы».[1]

В первой половине 1820-х годов Вяземский-критик выступает как защитник и истолкователь русского романтизма; в собственную же его поэтическую практику новые веяния нашли лишь ограниченный доступ, ограниченный иными навыками и традициями.

В русской лирике 1820-х годов — в первую очередь у Пушкина и Баратынского — новые веяния породили стремление к индивидуальному изображению явлений душевной жизни, тем самым к освобождению от готовых, повторяющихся элегических формул, суммарно обозначавших чувство и настроение.

В 1818 году написано послание Вяземского к Ф. И. Толстому. В целом это довольно типичное арзамасское шуточное послание, но первые одиннадцать строк — характеристика Толстого — выпадают из общего тона. Здесь Толстой уже не условный адресат карамзинистских дружеских посланий; перед нами — психологический портрет:

Под бурей рока — твердый камень!
В волненьи страсти — легкий лист!

Эти строки послания Пушкин воспринял как ключ к романтическому характеру, — он хотел взять их эпиграфом к «Кавказскому пленнику» и отказался от своего намерения только из-за личных столкновений с Федором Толстым. Эпиграф к первой главе «Онегина» — «И жить торопится и чувствовать спешит» — взят из элегии Вяземского «Первый снег».[2]

Однако все это лишь разрозненные психологические штрихи.

«Первый снег» — «романтичен» не столько трактовкой лирически-психологической темы, сколько тем, что в условный, отрешенный от повседневной действительности элегический мир внесено национальное начало. Лирическая тема вплетается в подробности описания русской природы:

---

[1] П. А. Вяземский, т. I, стр. 56—57.

[2] Вопрос об использовании Пушкиным поэзии Вяземского поставлен в статье И. Розанова «Князь Вяземский и Пушкин» (сб. «Беседы». М., 1915, стр. 57—76).

Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной сосне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.

В 1819 году Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Отчего ты думаешь, что я по первому снегу ехал за Делилем? Где у него подобная картина? Я себя называю природным русским поэтом потому, что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское: русскую зиму, чухонский Петербург, петербургское рождество[1] и пр. и пр.; вот что я пою. В большей части поэтов наших, кроме торжественных од, и то потому, что нельзя же врагов хвалить, ничего нет своего. Возьми Дмитриева, — только в лирике слышно русское наречие и русские имена; все прочее — всех цветов и всех голосов, и потому все без цвета и все без голоса. Отчего Вольтер французее Расина? Тот боялся отечественного... другой, напротив, хватался за все свое, пел Генриха, французских рыцарей и... древними. Вот, моя милуша, отчего я пойду в потомство с российским гербом на лбу, как вы, мои современники, ни французьте меня. Орловский — фламандской школы, но кто русее его в содержаниях картин?»[2]

Репутацию лирического поэта создали Вяземскому две элегии 1819 года — «Первый снег» и «Уныние» (обе высоко ценил Пушкин).

В «Унынии» личная, лирическая тема тесно связана с темой гражданской. И тут сразу сказывается закваска XVIII века. Высокая гражданская тема в поэзии Вяземского неизменно вызывала одический стиль («Негодование», «Море», «К ним» и т. д.). И в «Унынии» — несмотря на элегическо-романтическое заглавие — сразу же появляются славянизмы, архаические обороты, затрудненный синтаксис.

Кумир горящих душ! меня не допустила
Судьба переступить чрез твой священный праг,
И, мой пожравшая уединенный прах,
Забвеньем зарастет безмолвная могила.

Поэзия Вяземского не могла по-настоящему проникнуться романтизмом прежде всего потому, что Вяземскому присуще иное, ра-

[1] Вяземский имеет в виду свой ноэль «Спасителя рожденьем...»

[2] «Остафьевский архив», т. I, стр. 376—377. О художнике А. О. Орловском см. в настоящем издании примечание к стихотворению «Памяти живописца Орловского».

ционалистическое понимание личности. Романтический лирический герой, тон исповеди, непосредственное обнаружение «внутреннего человека» — все это чуждо лирике Вяземского.

Русский последекабристский романтизм культивировал самоуглубление, самоосознание, романтическую любовь, склонную исповедоваться, романтическую дружбу, требовательную, исполненную конфликтами и примирениями. Все это питало поэзию 1830—1840-х годов, и мимо всего этого Вяземский прошел, как человек другого поколения. Но еще гораздо раньше, в конце XVIII—начале XIX века, русский сентиментализм обратился к «внутреннему человеку», окружив его атмосферой чувствительного морализирования, напряженного внимания к движениям «сердца и воображения». Этот тон душевной жизни отразился в произведениях и письмах Карамзина, Жуковского, братьев Тургеневых, но не Вяземского, с первых шагов впитавшего рационализм, взращенного на культуре русского вольтерьянства.

У Вяземского не оказалось бы недостатка в материале, если бы он захотел пойти по пути автопсихологических признаний. Вяземский был ипохондриком, подверженным длительным припадкам хандры и подавленности. Ему пришлось пережить всех своих детей (за исключением одного сына), испытать множество сердечных увлечений, крушение всех честолюбивых надежд, тяжелые, оскорбительные отношения с правительством — и все это оставило лишь скупые следы в его поэзии, в его гигантской переписке, в его «Старой записной книжке», меньше всего похожей на исповедь, на дневник. «Старая записная книжка» была выражением того внешнего человека, каким Вяземский являлся в обществе и каким описал его современник: «Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо, ни на какое другое не похожее... Он был женат, был уже отцом, имел вид серьезный, даже угрюмый, и только что начинал брить бороду. Нетрудно было угадать, что много мыслей роится в голове его, но с первого взгляда никто не мог бы подумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце; эта тайна открыта была одним женщинам. С ними только был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка». [1]

Индивидуалистический, самоуглубляющийся человек не привлекал внимания Вяземского. Личность он воспринимал в ее деятельности, в ее гражданской функции. Себя и своих друзей в 1810—1820-х

---

[1] «Записки Ф. Ф. Вигеля», ч. IV. М., 1892, стр. 123.

годах он мыслит как представителей самого образованного, свободомыслящего, богатого силами слоя русского общества, владеющего непререкаемым правом на блистательную роль в будущем государственном развитии России.

Всей этой концепции положила конец декабрьская катастрофа.

3

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной.

Это строфа из стихотворения «Море», написанного летом 1826 года, после того как до Вяземского в Ревель дошло известие о казни пяти декабристов. Посылая «Море» Пушкину, Вяземский писал: «Ты скажешь qu'il faut avoir le diable au corp pour faire des vers par le temps qui court.[1] Это и правда! Но я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе».[2]

Вяземский не принадлежал к декабристским организациям, но атмосфера дворянской революции питала его мысль, его поэтическое творчество. Он крайне болезненно пережил расправу над декабристами, среди которых было столько людей, лично и идеологически ему близких. Но после 1825 года возможности активной дворянской оппозиции были исчерпаны, и Вяземский скрепя сердце, не сразу, но все же пришел к убеждению, что нет у него другого пути, как искать примирения с правительством.

Сначала Вяземский встретил отпор со стороны правительства, припомнившего ему грехи либеральной молодости. Так, он получил решительный отказ на свою просьбу о прикомандировании к главной квартире во время турецкой кампании 1828—1829 годов. Только после длительных переговоров, после представления Николаю I «Исповеди», в которой он объяснял и оправдывал свою общественную

---

[1] ...что надо быть одержимым, чтоб в настоящее время сочинять стихи (франц.). — *Л. Г.*

[2] «Переписка» Пушкина, т. I, стр. 361—362.

позицию, Вяземский в 1830 году был назначен чиновником особых поручений при министре финансов. По министерству финансов Вяземский прослужил около двадцати лет, и в течение двадцати лет он не переставал считать свое пребывание в этом ведомстве тяжелым недоразумением и с отвращением относился к своей службе.

«Вчера утром в департаменте читал проекты положения маклерам, — отмечает Вяземский в «Записной книжке». — Если я мог бы со стороны увидеть себя в этой зале, одного за столом, читающего, чего не понимаю и понимать не хочу, худо показался бы я себе — смешным и жалким; но это называется служба, быть порядочным человеком, полезным отечеству, а пуще всего верным верноподданным». В 1845 году Вяземский был назначен на особенно неподходящую для него должность директора Государственного заемного банка.

По этому поводу он писал: «<Правительство> неохотно определяет людей по их склонностям, сочувствиям и умственным способностям. Оно полагает, что и тут человек не должен быть *у себя,* а все как-то пересажен, приставлен, привит наперекор природе и образованию; например: никогда не назначили бы Жуковского попечителем учебного округа... а если Жуковскому хорошенько бы поинтриговать и просить с настойчивостью, то, вероятно, переименовали бы его в генерал-майоры и дали бы ему бригаду, особенно в военное время».[1]

Признав для себя неизбежным подчиниться требованиям грубой, тупой и бездарной власти, Вяземский все же, вплоть до 1840-х годов, сохранял оппозиционные настроения. Предназначенная для Николая I «Моя исповедь» (завершена в начале 1829 года) написана смело и с достоинством. Доказывая в ней свою лояльность, Вяземский в то же время критикует действия правительства и не скрывает свой конституционный образ мыслей. «Нельзя не подчинить, — пишет Вяземский в «Исповеди», — дел своих и поступков законной власти, но мнения могут вопреки всем усилиям оставаться неприкосновенными». И он подчеркивает, что своим мнениям «оставался предан и после их падения».[2]

В конце 1820-х, в 1830-х годах отвращение Вяземского к лакействующей бюрократии нисколько не уменьшилось, чему свидетельство убийственная сатира «Русский бог», написанная уже в 1828 году (в 1854 году ее опубликовала в Лондоне Вольная русская типография Герцена).

---

[1] П. А. Вяземский, т. 9, стр. 212.

[2] П. А. Вяземский, т. 2, стр. 91, 101.

«Русский бог» — большой силы выпад против крепостнической системы, против невежественного и косного барства, против наемной царской бюрократии.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.

...Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.

В бумагах К. Маркса сохранился специально для него сделанный перевод «Русского бога».

В 1825—1827 годах Вяземский еще покровительствовал Н. Полевому и вместе с ним издавал «Московский телеграф», самый передовой журнал того времени, пропагандировавший романтическое направление. Притом Полевой пропагандировал это направление в наиболее прогрессивной форме, острой социальной проблематикой. В «Московском телеграфе» напечатаны статьи Вяземского: «Жуковский. — Пушкин. — О новой пиитике басен», о «Чернеце» Козлова, «Письма из Парижа», «Сочинения в прозе В. Жуковского», «„Цыганы" поэма Пушкина», «Сонеты Мицкевича» и другие (кроме того, ряд мелочей под разными псевдонимами). Со временем, однако, все яснее обнаруживалось, что дворянскому либералу Вяземскому не по пути с буржуазным демократом Полевым. В конце 1820-х годов Вяземский порывает с «Московским телеграфом».

Исполненные горечи замечания о положении дел в николаевской России рассыпаны в письмах, в записных книжках Вяземского 1830-х отчасти еще 1840-х годов.

В 1830-х годах Вяземский дважды выступал как критик и полемист от имени группы, сплотившейся сначала вокруг «Литературной газеты» Дельвига (1830—1831), потом вокруг «Современника» (1836). Эта группа — Пушкин, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Дельвиг, Денис Давыдов, Плетнев — получила от своих врагов ироническую кличку «литературных аристократов». Между тем в 1830-х годах принадлежность к этой группе отнюдь не противоречила оппозиционным настроениям ее участников. «Аристократы» «Литературной газеты» Дельвига и пушкинского «Современника» противопоставляли себя не разночинной демократии, которая в

1830-х годах еще не существовала как самостоятельная идейная сила, но тому николаевскому мещанству и чиновничеству, которое обслуживали своими печатными органами Булгарин, Греч, Сенковский.

Как бы ни расшифровывали современники термин «аристократия» — по признаку ли происхождения, по признаку ли принадлежности к классу крупных землевладельцев, наконец по признаку близости ко двору (последний вид «аристократизма» особенно характерен для России, где монархия чуждалась родового дворянства и стремилась возводить на первые степени случайных людей), — все эти категории с трудом применимы к так называемым «литературным аристократам» 1830-х годов.

Из них только Вяземский был родовым аристократом. Но уже захудалое шестисотлетнее дворянство Пушкина, как и баронство Дельвига, представляло сомнительную ценность с точки зрения «высшего света» николаевских времен. Жуковский — незаконный сын дворянина средней руки и пленной турчанки. Плетнев, присяжный критик группы, неизменный и полноправный участник всех ее начинаний, происходил из духовного звания и занимался педагогической работой.

Если происхождение Жуковского или Плетнева до известной степени «выкупалось» служебным положением и покровительством двора, то, напротив того, общественное положение Дельвига, Баратынского было самым незначительным (Баратынскому проступок, совершенный еще в Пажеском корпусе, закрыл навсегда возможность какого бы то ни было служебного поприща).

Решающее значение для группы, объединявшейся вокруг «Литературной газеты», а позднее «Современника», имели совсем иные моменты. Прежде всего — сознание преемственности, принадлежности к высокой традиции русской литературы. В этом плане очень существенно было литературное воспитание, полученное в таких учебных заведениях, как Царскосельский лицей, Благородный пансион при Московском университете (оттуда вышли Жуковский и братья Тургеневы), где воспитанник формировался в атмосфере определенной литературной культуры и традиции.

В 1830-х годах для Вяземского своим человеком является Крылов (сын бедного армейского офицера, сам начавший свое служебное поприще в должности «подканцеляриста калязинского нижнего земского суда»). Прежнее отрицательное отношение Вяземского к Крылову как к сопернику Дмитриева (1810—1820 годы) было бы в 1830-х годах вопиющим анахронизмом. То обстоятельство, что Крылов отчасти примыкал к «Беседе», потеряло свою остроту; само

наличие традиций — даже чуждых — мыслилось уже как некоторая самодовлеющая ценность.

С понятием традиции, культурной преемственности связано понятие *авторитета.* Если Пушкин бесконечно перерос этот круг представлений, если Пушкина с «литературными аристократами» связывали в основном личные отношения и деловые и тактические соображения, то для Вяземского литературная иерархия действительно была важной и принципиальной. В частности, в вопросе об авторитетах Вяземский — чистейший карамзинист. Для старших учеников Карамзина характерно сочетание практической борьбы с прошлым и официальной лояльности по отношению к этому прошлому; для них существует ряд писателей (Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин), по отношению к которым нарушение пиэтета считается, независимо от литературных симпатий, неприличным.

Историческое значение писателя измеряется сочетанием литературных трудов и достижений с гражданскими и научными. Отсюда повышенный интерес к таким явлениям, как Державин-министр, Ломоносов-естествоиспытатель, Карамзин-историк. Историческая наука не считалась тогда делом специалиста, но чем-то вроде промежуточного поприща между литературным и гражданским. Занятие отечественной историей, так сказать, «вменяется в обязанность» высокому писателю.

В представлении Вяземского авторитеты, украшенные литературной славой, возрастом и гражданскими заслугами, являлись необходимым условием для соблюдения высокого стиля литературных отношений. Ни в какой мере не обязательно соглашаться со всеми мнениями авторитета, допустимо выражать свое неудовольствие в частных письмах, быть может даже распространять на учителя эпиграммы в дружеском кругу; но в пределах литературы для публики авторитет — это знамя, неприкосновенность которого необходимо всячески охранять, ибо только оно обеспечивает успех в борьбе с претензиями «литературной улицы».

В этом иерархическом складе мышления находят свое объяснение многие литературные суждения Вяземского. Именно по иерархическим основаниям в большей степени, чем по эстетическим, Вяземский в свое время настаивал на предпочтении Дмитриева Крылову. Отсюда же культ Карамзина и крайняя нетерпимость этого культа, побуждавшая Вяземского смотреть на каждого противника «Истории Государства Российского» как на нарушителя общественной благопристойности. Именно попытка Н. Полевого поколебать авторитет Карамзина была непосредственной причиной разрыва Вяземского с кругом «Московского телеграфа».

«Полевой у нас родоначальник литературных наездников, — писал Вяземский в 1846 году, после смерти Полевого, — каких-то кондотьери, низвергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина».[1]

Пушкин, впрочем, никогда не являлся для Вяземского в полной мере «законной литературной властью». Как ни странно, но в его представлении Пушкин так и остался «младшим» поэтом; выдающимся, но все же «младшим». В «Приписке» 1875 года к статье о «Цыганах» Вяземский приводит характерный факт: Пушкин был недоволен его разбором «Цыган»; он находил, что Вяземский говорит «иногда с каким-то учительским авторитетом».[2]

В вопросе о социальном положении писателя точка зрения Вяземского очень типична для представителя культурной верхушки дворянства, мечтавшей (в высшей степени тщетно) о некоторой общественной независимости и об идеологическом влиянии на власть. Если не считать 1819—1821 годов — наиболее оппозиционного периода Вяземского, когда его прельщала роль «народного трибуна», — то идеал Вяземского — это писатель-дворянин, в силу своих гражданских и литературных заслуг достигший такого положения, что он может давать «советы царям». Однако николаевский режим не давал никаких оснований для подобной идиллии. И Вяземскому остается проповедь аристократического дилетантизма: «По большей части пишут у нас те, которым писать нечего и не о чем. Те, которым писать было бы о чем, не имеют привычки или дичатся писать».[3]

Те, которым не о чем писать, — это цеховые писатели, профессионалы, живущие гонораром. Они-то и лишены опыта дворянского общежития, опыта высшего света, правительственных и дипломатических сфер, государственной службы, помещичьего хозяйства, войны; те, кто владеет этим опытом, «боятся причислить себя к известному ремеслу и вписаться в известный цех сочинительства».[4]

И все же Вяземский с его историческим чутьем, с его интересом к общественным условиям деятельности писателя не мог оста-

[1] П. А. Вяземский, т. 9, стр. 211.
[2] П. А. Вяземский, т. 1, стр. 321.
[3] П. А. Вяземский, т. 2, стр. 348.
[4] Там же.

новиться на концепции, сложившейся в XVIII столетии. Державин или Дмитриев, делившие свои силы между деятельностью поэта и министра, представлялись ему явлением величественным, но отжившим свой век. Современность требовала писателя-профессионала. Вяземский мог тешиться теорией дворянского «аматёрства», любоваться этим явлением в прошлом. Но он очень хорошо понимал, что XIX век принес новые формы литературных отношений. «В то время (в 60-е годы XVIII века. — *Л. Г.*), — писал Вяземский в 1830 году, — литература не была еще промыслом; это показывает недостаток или младенчество просвещения; ибо труды, не окупающие себя, не дают независимости, которая должна быть благодетельным следствием каждого знания и предприятия. Может быть, в сей безвыходности русского авторства должно искать одну из основных причин задержания нашего в успехах просвещения: весьма немногие могли совершенно предаваться трудам ума, и почти все должны были разделить между разными званиями силы свои, способности и время. Не видя выгоды быть артистами, у нас были одни аматёры».

4

Борьба против мещанской журналистики в конечном счете была мелочной борьбой. Дворянская оппозиция в эпоху кризиса дворянской революционности была исполнена противоречий. В литературе она не могла создать систему, основанное на определенных принципах направление. Пушкин 1830-х годов, в гигантском своем развитии, далеко оставил за собой противоречия дворянской революционности. Вяземский, разумеется, был не в силах выйти на широкий пушкинский путь. В то же время Вяземский в эпоху последекабристской реакции не стал, подобно Баратынскому, поэтом скорби, захлестывающей одинокую душу. Тем менее мог он проникнуться новыми философскими и литературными устремлениями, устремлениями «любомудров» или русских революционных романтиков 1830-х годов.

Творчество Вяземского, стихотворное и прозаическое, конца 1820-х и 1830-х годов остается вне настоящей питательной среды. Но среди колебаний и противоречий, несмотря на неясность целей, неизбежную в последекабристскую эпоху для людей его социальной группы, Вяземский вырабатывает все же некую индивидуальную, характерную манеру; вернее, он развивает и углубляет линию, очень рано наметившуюся в его творчестве.

С середины 1820-х годов в России возникает напряженный интерес к проблемам истории. Под знаком историзма совершаются великие открытия Пушкина. В этом же русле развивается и творчество Вяземского — критика, прозаика, поэта.

Историзм Пушкина — бесконечно широкий охват действительности в ее развитии, в ее прошлом и настоящем. У Вяземского историческое и социальное чаще всего предстает раздробленным, ограниченно-практическим, частным.

«История литературы народа должна быть вместе историею и его общежития, — пишет Вяземский в книге о Фонвизине в 1830 году. — Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются мнения, страсти, оттенки, самые предрассудки современного общества; если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо господству и влиянию современной литературы, — то можете заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества».[1]

В литературу, по убеждению Вяземского, должны вторгаться политика, злободневность. Эти требования Вяземского особенно полно выражены в его «Письмах из Парижа» (1826—1827), в замечательной для своего времени монографии о Фонвизине (написана в 1830, издана в 1848 году), в статье о Сумарокове.

Взгляд на литературу как на выражение общества (как и свои эволюционные теории) Вяземский мог, в общей форме, усвоить из французских источников, но интересно дальнейшее развитие этого взгляда. Писатель должен быть «мыслящим, практическим, переносящим в литературу впечатления, опытность, так сказать, нравы и живое выражение общежития». Здесь характерная подстановка — общежитие вместо общества.

Для Вяземского самые ценные показания литературы о жизни относятся не к «духу времени», не к большим культурно-историческим процессам, но к единичным, неповторимым фактам. «...Разбросанные заметки, куплеты, газетные объявления и т. д. сами по себе малозначительны, взятые отдельно; но в совокупности они имеют свой смысл и внутреннее содержание. Все это отголоски когда-то живой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги минувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных событий,

[1] П. А. Вяземский, т. 5, стр. 1.

крупных личностей; дроби жизни мы откидываем; но надобно и их принимать в расчет».[1]

Как мемуарист Вяземский питал исключительный интерес к политическим анекдотам, характерным бытовым мелочам, ко всевозможной злобе дня. Он писал по этому поводу: «Я всех вербую писать записки, биографии. Это наше дело: мы можем собирать одни материалы, а выводить результаты еще рано». Он писал: «Соберите все глупые сплетни, сказки, и не сплетни и не сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах по поводу холеры и нынешних обстоятельств (речь идет о холерной эпидемии 1830 года. — *Л. Г.*), — выйдет хроника прелюбопытная. В этих *сказах* и сказках изображается дух народа. По гулу, доходящему до нас, догадываюсь, что их тьма в Москве, что пар от них так столбом и стоит: хоть ножом режь. Сказано: la littérature est l'expression de la société,[2] а еще более сплетни, тем более у нас; у нас нет литературы, у нас литература изустная. Стенографам и должно собирать ее. В сплетнях общество не только выражается, но так и выхаркивается, заведите плевальник».[3]

Вяземский был не только теоретиком, но и практиком этой «обиходной литературы». В течение десятков лет он создавал свои «Записные книжки», состоявшие из размышлений, анекдотов, подхваченных на лету разговоров, бытовой хроники, документов.

Если бы собрать и систематизировать высказывания Вяземского, посвященные тому, что он называл ходячей, домашней, обиходной литературой, то получился бы довольно обширный кодекс.

В каких-то, разумеется высоко почитаемых им, формах литературы должны были выражаться «дух времени», большие культурные движения, высокие гражданские и нравственные задачи, — но сам он тяготел к выражению мелочей, монтажу неповторимых, обиходных фактов.

«Мне часто приходило на ум написать свою «Россиаду», не героическую, не в подрыв херасковской, не «попранну власть татар и гордость низложенну» (боже упаси!), а Россиаду домашнюю, обиходную, — сборник, энциклопедический словарь всех возможных *руссицизмов,* не только словесных, но и умственных и нравных, т. е. относящихся к нравам, одним словом, собирать, по возможности, все, что удобно производит исключительно русская почва, — как была она подготовлена и разработана временем, историею, обычаями, поверьями и нравами исключительно русскими.

---

[1] П. А. Вяземский, т. 8, стр. 506—507.

[2] Литература — выражение общества (франц.). — *Л Г.*

[3] П. А. Вяземский, т. 9, стр. 145.

В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или злоприобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло — хотя до угара и до ошиба, хотя до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразились бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов».[1]

По «Записным книжкам» можно проследить интерес Вяземского к салонным поэтам-острословам Неелову, Мятлеву, Белосельскому, к Растопчину — его агитационным «афишкам» и злободневным комедиям — и другим представителям «обиходной литературы». Нетерпимый критик профессиональных писателей, Вяземский в то же время как бы любуется неквалифицированностью этой продукции. Стихотворная беспомощность светских дилетантов вроде Белосельского и А. М. Пушкина, корявые размеры и ни на что не похожий стиль Неелова, заведомо дурацкие «амфигури» неизвестных авторов «из общества» — все это привлекало Вяземского потому, что являлось для него гарантией нелитературности этой литературы и тем самым ее пригодности «выражать общежитие».

Нужно «ввести жизнь в литературу и литературу в жизнь» (Вяземский несколько раз повторяет эту формулу).

Характерно, что и в высоких образцах квалифицированной поэзии Вяземский любил и умел находить обиходность. «Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах, — писал Вяземский в 1821 году, — прежде поэты терялись в метафизике; теперь *чудесное,* сей великий помощник поэзии, — на земле. Парнас — в Лайбахе».[2] Отсюда у Вяземского замечательная по смелости и новизне оценка Державина, в котором он усмотрел не торжественное парение, но остроту конкретных описаний, злободневность. Интересны в этой связи такие отзывы Вяземского, как: «Державин... в лучших одах своих был иногда горячим и метким памфлетером и публицистом»,[3] или о Сумарокове: «<Он> часто переносит горячий памфлет в свои холодные комедии». Даже в заметке о Ломоносове Вяземский не побоялся написать фразу: «Вот пример поли-

---

[1] П. А. Вяземский, т. 8, стр. 340—341.

[2] «Остафьевский архив», т. 2, стр. 171. В Лайбахе в 1821 г. заседал Священный союз трех монархов — русского, прусского и австрийского.

[3] П. А. Вяземский, т. 1, стр. 223.

тической или газетной поэзии из оды пятнадцатой...».[1] Речь идет об оде «...На победы... над королем прусским одержанные».

Жадный собиратель «дробей жизни», Вяземский и собственную свою литературную судьбу мыслил как дробную, разорванную. И это для него не случайно, но тесно связано со всей его концепцией литературы, непрофессиональной и «выражающей общежитие».

В своей «Автобиографии» Вяземский писал: «Друзья мои убеждали меня собрать и издать себя... Когда был я молод, было мне просто не до того. Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. Типография была тут в стороне, была ни при чем. Вообще я себя расточал, а оглядываться и собирать себя не думал».[2] Ту же тему развивает Вяземский в частном письме, написанном за два года до смерти: «Вы хотите, чтобы я написал и свой портрет во весь рост. То-то и беда, что у меня нет своего роста. Я создан как-то поштучно, и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках... Чем богат, тем и рад. Фасы моей от меня не требуйте. Бог фасы мне не дал, а дал мне только несколько профилей».[3]

Но и профили Вяземского были характерны.

Начиная с 1820-х годов «чистая» лирика все больше вытесняется из творчества Вяземского злободневными, памфлетными, фельетонными формами, стихами, которые, подобно его «Записным книжкам», являлись непосредственным «выражением общежития».

Вяземский разрабатывает подсказанную французской поэзией форму куплетов с повторяющимся, иногда варьирующимся припевом. Припев этот обычно является и заголовком стихотворения: «Пиши пропало», «Да, как бы не так», «Того-сего», «Всякий на свой покрой», «В шляпе дело», «Семь пятниц на неделе» и т. п. Стихотворения этого типа у Вяземского обычно строятся так, что куплеты, посвященные обличению общечеловеческих пороков (традиция, восходящая еще к XVIII веку), морализированию, довольно безобидному, чередуются с куплетами резко злободневными, порой и прямо политическими:

Давно ли ум с фортуной в ссоре,
А глупость счастия зерно?
Давно ли искренним быть — горе,
Давно ли честным быть смешно?

---

[1] П. А. Вяземский, т. 8, стр. 43.
[2] П. А. Вяземский, т. 1, стр. 1.
[3] П. А. Вяземский, т. 10, стр. 290.

Давно ль тридцатый год Изоре?
Давным-давно.

Когда Эраст глядел вельможей,
Ты, Фрол, дышал с ним заодно.
Вчера уж не в его прихожей
Вертелось счастья веретно;
«Давно ль с ним виделся?» — «О боже!
Давным-давно».

«Давно ль в ладу с здоровьем, силой
Честил любовь я и вино?» —
Раз говорил подагрик хилый;
Жена в углу молчала, но...
В ответ примолвил вздох унылый:
Давным-давно.

Давно ль знак чести на позорном
Лишь только яркое пятно,
Давно ль на воздухе придворном
Вдруг и тепло и студено,
И держат правду в теле черном?
Давным-давно.

(«Давным-давно»)

В первых трех куплетах — традиционные для дидактической и нравоописательной литературы темы преуспеяния глупцов, женской суетности, низости льстецов и искателей и т. п. Последний куплет имеет прямое политическое звучание. Третий его стих в «Полярной звезде» подвергся цензурному искажению. Он был напечатан: «Давно ль на воздухе притворном...»

А вот два соседних куплета из стихотворения «Семь пятниц на неделе»:

«Женюсь! Нет, путь женатых скользк.
Подам в отставку! Нет, ни слова!
В Париж поеду! Нет, в Тобольск!
Прочту Сенеку! Нет, Графова!» —
Так завсегда по колесу
Вертятся мысли в пустомеле,
Вот что зовется — на часу
Иметь семь пятниц на неделе.

Устроив флюгер из перá,
Иной так пишет, как подует:
У тех, на коих врал вчера,
Сегодня ножки он целует.
Флюгарин иль Фиглярин, тот
Набил уж руку в этом деле,
Он и семь совестей сочтет,
Да и семь пятниц на неделе.

Первый из этих куплетов обличает «общечеловеческого» пустомелю, второй — вполне определенного литературного и политического врага, Булгарина. Образ Флюгарина-Булгарина здесь в свою очередь обобщен, но это обобщение политически конкретное, злободневное.

В куплетной форме написан и «Русский бог» — самая сильная из сатир Вяземского.

Уже в 1823 году Вяземский циклизует стихи под фельетонным заглавием «Заметки». Эта форма проходит последовательно через всю его поэтическую деятельность. Один из таких циклов в виде эпиграфа снабжен фразой, знакомой по «Записным книжкам»: «L'ésprit court la rue».[1]

Не удовлетворяясь традиционными сатирическими формами, Вяземский создает своеобразный, в 1820—1830-х годах новый на русской почве, тип «газетного стихотворения», стихотворного фельетона (этому жанру предстояло развиться в русской сатирической поэзии второй половины XIX века).

В 1826—1828 годах Вяземский пишет такие вещи, как «Коляска», «Зимние карикатуры», «Станция» — род фельетонного обозрения из окон кареты или кибитки. На этих произведениях несомненно сказался опыт «Евгения Онегина». В заключительных строках «Коляски» Вяземский подчеркивает связь с романом Пушкина, текстуально используя посвящение «Евгения Онегина»:

Друзья! боюсь, чтоб бег мой дальный
Не утомил вас, если вы,
Простя мне пыл первоначальный,
Дойдете до конца главы
Полупустой, полуморальной,
Полусмешной, полупечальной,
Которой бедный Йорик ваш
Открыл журнал сентиментальный,

[1] Ум бегает по улицам (франц.). — *Л. Г.*

Куда заносит дурь и блажь
Своей отваги повиральной.
Все скажут: с ним двойной подрыв,
И с ним что далее, то хуже;
Поэт болтливый, он к тому же
Как путешественник болтлив!

У Пушкина в «Посвящении» «Евгения Онегина»:

Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных...

Тон непринужденной разговорной речи, свободные переходы от темы к теме сближают дорожные обозрения Вяземского и с лирическими отступлениями «Онегина» и с дружескими посланиями 1820-х годов. Но специфика этих обозрений в стихах именно в их злободневности, фельетонности.

Стихотворение «Зимние карикатуры» на три четверти посвящено зарисовкам зимнего путешествия в кибитке, но под конец эти зарисовки непосредственно переходят в сатирическое изображение московского барства:

С умильной радостью, с слезой мягкосердечья
Уж исчисляет он гостей почетных съезд,
И сколько блюд и сколько звезд
Украсят пир его в глазах Замоскворечья.

...И хриплым голосом и брюхом на виду
Рожденный быть вождем в служительских фалангах,
Дворецкий с важностью в лице и на ходу
Разносит кушанья по табели о рангах.

Здесь уже Вяземский выступает не только современником Пушкина, испытавшим его могучее воздействие, но прежде всего учеником мастеров сатиры и комедии XVIII века. У русских писателей этой поры, прежде всего у Державина, он учился конкретности словесного образа, свободе и разнообразию языка, еще не подвергшегося карамзинистскому сглаживанию. Через голову своих непосредственных учителей — Карамзина, Дмитриева, Жуковского — Вяземский возвращается к истокам русской поэзии XVIII века. Но у писателя сколько-нибудь даровитого подобные «возвращения» никогда не бывают механическими. Державинские принципы Вязем-

ский применяет, как человек своего времени, и к современному материалу. Свободное словоупотребление, не ограниченное специально поэтическим отбором, позволяет Вяземскому вбирать в свой стих газетную и бытовую речь — слова, понятия, собственные имена, подсказанные сегодняшним днем:

Хозяйство, урожай, плоды земных работ,
В народном бю́джете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот,
Но жаль, что портите вы зимние дороги.

На креслах у огня, не хуже чем Дюпень,
Движенья сил земных я радуюсь избытку;
Но рад я проклинать, как попаду в кибитку,
Труды, промышленность и пользы деревень.

Обозы, на Руси быть *зимним судоходством*
Вас русский бог обрек, — и милость велика:
Помещики от вас и с деньгой и с дородством,
Но в проезжающих болят от вас бока.

(«Зимние карикатуры»)

Это стиль, близкий к прозаическому, умышленно небрежный, разговорный, не чуждающийся бытовых оборотов и простых, обиходных слов. Литературный язык, ориентирующийся на устную речь, — конечно, карамзинистская установка. Но Карамзин имел в виду идеальные нормы салонной речи образованного дворянства, Вяземский решительно расширяет рамки, открывая литературный язык дворянскому и народному просторечию. В приведенных только что строках характерное для фельетонной поэзии Вяземского сочетание просторечия («и с деньгой и с дородством», «болят... бока») с терминологией публицистической и даже научной:

В народном бю́джете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот...

Проникновение в стих деловой и научной речи отнюдь не ограничено у Вяземского рамками фельетонного жанра. Интересно в этом отношении стихотворение 1825 года «К мнимой счастливице». Чуждое и сентиментально-элегическому и романтическому духу, это стихотворение представляет собой в высшей степени рационалистический анализ некоторых явлений душевной жизни.

Умеренность — расчет, когда начнут от лет
Ум боле поверять, а сердце меней верить,
Необходимостью свои желанья мерить —
Нам и природы глас и опыта совет.

Но в возраст тот, когда печальных истин свиток
В мерцаньи радужном еще сокрыт от нас,
Для сердца жадного и самый благ избыток
Есть недостаточный запас.

А ты, разбив сосуд волшебный
И с жизни оборвав поэзии цветы,
Чем сердце обольстишь, когда рукой враждебной
Сердечный мир разворожила ты?

Есть к счастью выдержка в долине зол и плача;
Но в свет заброшенный небесный сей залог
Не положительный известных благ итог,
Не алгеброй ума решенная задача.

Анализирующий тон этого этюда, посвященного одной женской судьбе, притягивает и оправдывает элементы деловой и научной речи, неожиданно сближающие это стихотворение со стихотворным фельетоном «Зимние карикатуры».

Не положительный известных благ итог,
Не алгеброй ума решенная задача...

Недаром Пушкин в мае 1826 года иронически писал Вяземскому: «Твои стихи к мнимой красавице (ах, извини: счастливице) слишком умны. А поэзия, прости, господи, должна быть глуповата».

Своеобразие поэтического и прозаического стиля Вяземского постоянно отмечали современники: одни, как Пушкин, — с горячим одобрением; другие — Карамзин, например, — с неудовольствием. Щепетильные карамзинисты неоднократно упрекали его в отступлении от правил. Еще в 1810-х годах в дружеском послании, обращенном к Вяземскому по поводу его стихотворения «Вечер на Волге», Жуковский писал:

Переступившее ж последнюю ступень
На небе пламенном вечернее светило —
В прекраснейших стихах ее переступило,

Да жаль, что в точности посбилось на пути;
Нельзя ль ему опять на небеса взойти,
Чтоб с них по правилам грамматики спуститься,
Чтоб было ясно всё на небе и в стихах?

Вяземский, однако, во все времена сознательно относился к своим грамматическим погрешностям. Он считал себя прежде всего *мыслящим* поэтом, всегда готовым ради наилучшего выражения мысли пожертвовать легкостью и даже правильностью стиха.

В 1853 году Вяземский заносит в «Записную книжку»: «Mery Beck писала Лизе (Валуевой): que je n'étais pas son poète favori parce qu'elle me trouvait trop profond et qu'elle préferait Joukovski». [1] Я отвечал ей: «И таким образом вы, матушка Мария Ивановна, жалуете меня в немцы и проваливаетесь в моей глубокомысленности... Вы отчасти правы. Вы в стихах любите то, что надобно в них любить, что составляет их главную прелесть: звуки, краски, простоту. Этого всего у меня мало, а у Жуковского много. Только в стихах моих порок не тот, который вы им изволите приписывать. Это было бы еще не беда, а беда та, что я в стихах своих часто *умничаю* и вследствие того сбиваюсь с прямого поэтического пути, что вы и принимаете за глубокомысленность». [2]

Глубоким стариком Вяземский писал, оглядываясь на свой творческий путь: «Странное дело: очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах своих нисколько не гонюсь за этой певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе хочу сказать то, что сказать хочу: о ушах ближнего не забочусь и не помышляю. Не помышляю и о том, что многое не ладит со стихами; стихи или поэзия всего не выдерживают. Коровы бывают очень красивые, но седло им нейдет. Мысль, стихом оседланная, может никуда не годиться. Мое упрямство, мое насильствование придают иногда стихам моим прозаическую вялость, иногда вычурность. Когда Вьельгорский просил у меня стихов, чтобы положить их на музыку, он всегда прибавлял: только, ради бога, не умничай; мысли мне не нужны, мысли на ноты не перекладываются. Вьельгорский именно в цель попал. В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть

---

[1] что я не являюсь ее любимым поэтом, так как она считает, что я слишком глубок, — и предпочитает Жуковского (франц.). — *Л. Г.*

[2] П. А. Вяземский, т. 10, стр. 43.

и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли». [1]

К этим автохарактеристикам Вяземского близка характеристика, которую еще в 40-х годах дал ему Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточения и округления мысли, затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворения — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему, как бы впридачу, талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное».

Установка на преобладание мысли оправдывала для Вяземского ломку языка, неологизмы, нарушение синтаксических и вообще грамматических норм именно потому, что Вяземский считал русский литературный язык начала XIX века еще не подготовленным для выражения философской и политической мысли. Пушкин придал русскому слову небывалую силу. И все же в 1820-х, даже в 1830-х годах Пушкин, Вяземский, Баратынский сетуют на недостаточность русского «метафизического языка», — так они называли язык отвлеченных понятий. Вяземский высказывается на эту тему неоднократно: «Не забудем, что язык политический, язык военный — скажу наотрез — язык мысли вообще мало и не многими у нас обработан». «Нельзя терять из виду, что западные языки — наследники древних языков и литератур, которые достигли высшей степени образованности, — и должны были освоить себе все краски, все оттенки утонченного общежития. Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему ни литературы, которой они не имели, ни преданий утонченного общежития, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения». [2]

Итак, наряду с языком философии, науки, политики, «метафи-

---

[1] П. А. Вяземский, т. 1, стр. XLI—XLII.
[2] П. А. Вяземский, т. 8, стр. 38—39.

зическим языком», языком мысли, предстоит создать язык чувства и утонченного общежития, который в предисловии к переводу романа Бенжамена Констана «Адольф» Вяземский называет языком «светской, так сказать, практической метафизики». Для этого Вяземский считал нужным «изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки». [1]

Пушкин отнесся к работе Вяземского над переводом «Адольфа» с большим интересом. В заметке 1830 года «О переводе романа Бенжамена Констана „Адольф"» Пушкин, откликаясь на высказывания Вяземского о «светской практической метафизике», писал: «Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо князя Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы».

Аналогичные задачи ставил себе Вяземский-поэт. В связи с вопросом о мысли и об ее выражении в поэзии Вяземский всегда рассматривал даже отдельные технические моменты. Так, например, в рифме он видел опасность ущемления поэтического смысла: «Русскими стихами (т. е. с рифмами), — писал Вяземский А. И. Тургеневу, — не может изъясняться свободно ум, ни душа. Вот отчего все поэты наши детски лепетали. Озабоченные побеждением трудностей, мы не даем воли ни мыслям, ни чувствам». [2]

Тему соотношения между стиховой формой и мыслью Вяземский разработал уже в послании «К В. А. Жуковскому» (1819):

Как с рифмой совладеть, подай ты мне совет.
Не ты за ней бежишь, она тебе вослед;
Угрюмый наш язык, как рифмами ни беден,
Но прихотям твоим упор его не вреден,
Не спотыкаешься ты на конце стиха
И рифмою свой стих венчаешь без греха.
О чем ни говоришь, она с тобой в союзе,
И верный завсегда попутчик смелой музе.
Но я, который стал поэтом на беду,
Едва когда путем на рифму набреду;
Не столько труд тяжел в Нерчинске рудокопу,
Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под стопу,
И рифму залучить к перу на острие.
Ум говорит одно, а вздорщица свое.

---

[1] П. А. Вяземский, т. 10, стр. XI.
[2] «Остафьевский архив», т. 3, стр. 76.

Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков,
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.
В стихах моих не раз, ее благодаря,
Трус Марсом прослывет, Катоном — льстец царя,
И, словом, как меня в мороз и жар ни мечет,
А рифма, надо мной ругаясь, всё перечит.

Вяземский, не отказываясь от рифмованного стиха, считал нужным раскрепощать рифму и другие стиховые элементы.

Николай!
Как Олай
Заторчит пред тобой,
Поклонись ты ему,
Изувеченному
В поединке с грозой!

(*«Поручение в Ревель»*)

По поводу этого стихотворения, написанного в 1833 году, Вяземский писал И. И. Дмитриеву: «Вы тут (в альманахе «Альциона». — *Л. Г.*) найдете мою стихотворную карикатуру ультраромантическую, написанную для шутки и с умыслом подделаться под некоторых французских поэтов новейшей школы».[1] Характерно, что критика обсуждала эту пародию всерьез. И, конечно, в 1830-х годах XIX века написать такую вещь, хотя бы и шуточную, мог только человек, искавший непроторенных дорог.

В этих исканиях Вяземского не было голого техницизма, формально понимаемого новаторства. Стилистические опыты Вяземского неразрывно связаны с тем, что он осознавал себя поэтом мыслящим, политическим, злободневным, — словом, поэтом, чей материал не укладывается в рамки традиционного и «гладкого» стиля.

Поэтическая мысль Вяземского далека от философского умозрения, от романтического погружения в тайны природы. Для Вяземского поэтическая мысль — это все то же «выражение общежития», притом «общежития», понимаемого в очень определенном и ограниченном социальном аспекте.

---

[1] «Русский архив», 1868, № 4, стр. 42.

5

С годами примирение Вяземского с правительством становилось все более прочным. Формирование новой, разночинной интеллигенции, углубление стихийного крестьянского протеста против крепостничества — все это толкало поместное дворянство и даже его либеральных идеологов в сторону реакции, побуждало его искать опору в твердой правительственной власти. Резким поворотным пунктом для Вяземского, как и для многих других, стал 1848 год, испугавший господствующие классы призраком европейской революции. В 1848 году Вяземский написал стихотворение «Святая Русь» — декларацию ненависти к революции и преданности монархии. К 1850-м годам позиция Вяземского вполне определилась в рядах охранителей сословной монархии против всего, что ей угрожало. На Восточную войну он уже отозвался верноподданными стихами (сборник 1854 года «К ружью» и другие стихотворения).

Николай I терпеть не мог Вяземского, которого до конца считал фрондером и человеком декабристской закваски. После смерти Николая I положение изменилось: в 1855 году Александр II назначил Вяземского товарищем министра народного просвещения, тем самым поставив его во главе цензурного ведомства. На этом посту стареющий Вяземский проводил жесткую политику, не сочувствуя даже официальному либерализму 1850-х годов.

Отход Вяземского от прогрессивного лагеря русской литературы Белинский угадал уже в 1840-х годах. В «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский еще отзывается с одобрением о Вяземском-поэте и высоко ставит его как критика: «Его критические статьи... были необыкновенным явлением в свое время». Но в статье 1842 года о «Стихотворениях» Баратынского Белинский, отметив, что Вяземский «по справедливости почитался лучшим критиком своего времени», называет его «творцом особенной, так называемой светской поэзии».[1] В устах Белинского это звучало, конечно, приговором над поэзией Вяземского, уже представлявшейся ему в ту пору узкой, кружковой дворянской поэзией. В 1847 году Белинский, возмущенный реакционной позицией Вяземского, в письме к Гоголю назвал его «князем в аристократии и холопом в литературе».[2]

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 6. М., 1955, стр. 461.

[2] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1956, стр. 219.

Если в 1830-е годы Вяземский активно выступает против влияния реакционной мещанской журналистики, возглавлявшейся Булгариным, Гречем, Сенковским, то, начиная с 1840-х годов, полемический пафос Вяземского уже всецело направлен против явлений новой, демократической культуры. В 1840-х годах начинаются (они не прекращались уже до самого конца) враждебные выступления Вяземского против демократических сил русской литературы, в особенности против гоголевской школы и Белинского. В этом отношении характерны две большие статьи Вяземского 1847 года — «Языков и Гоголь» и «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина».

Для позднего Вяземского неприемлем не только реализм революционных демократов — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, но и реализм Льва Толстого. «Война и мир» для него произведение, снижающее, «измельчающее» великую эпопею Двенадцатого года.

По мере того как стареющий Вяземский укреплялся на охранительных позициях, его интерес к народному, национальному началу — некогда столь прогрессивный — принимает окраску официального патриотизма. Это сказалось, например, на стихотворении 1853 года «Масленица на чужой стороне».

У Вяземского появляется разухабистый русский стиль, близкий к тем фальшивым подражаниям крестьянскому стилю, которые вошли в моду вместе с официальной народностью времен Николая I.

В одной из строф стихотворения «Памяти живописца Орловского» Вяземский как бы раскрывает идеологическую подоплеку этого стиля:

Все поверья, всё раздолье
Молодецкой старины —
Подъедает своеволье
Душегубки-новизны.

Отвращение к «душегубке-новизне» наложило тяжелую печать на позднюю поэзию Вяземского.

Вяземский писал до самого конца, до последнего дня своей долгой жизни, и писал очень много. Политическая лирика позднего Вяземского вырождается в казенную оду, его сатира — в старческое брюзжание против новых людей и новых мыслей, его подражания фольклору — в официальную псевдонародность.

И все же в позднем наследии Вяземского, среди мертвого груза, попадаются вещи, несущие на себе печать поэтической индивидуальности, сохранившей свое своеобразие, испытавшей новые,

сложные воздействия — воздействие Тютчева, даже воздействие враждебной Вяземскому фельетонной поэзии поэтов «Искры» и «Современника» 1850—1860-х годов. В иных стихотворениях, полушуточных, полускорбных, умышленно небрежных и угловатых, по-новому преломляется старая фельетонная, разговорная интонация Вяземского.

В 1858 году Вяземский оставил министерство народного просвещения; до конца жизни он числился сенатором, членом государственного совета, обер-шенком двора. Он не только бывал при дворе, но имел свободный доступ в домашнее окружение Александра II. Однако в эти годы Вяземский не принимал реального участия в государственных делах. Много времени он проводит в разъездах по Европе.

Старость Вяземского сложилась мрачно. Восьмидесятилетний старик, желчный, изнуренный болезнью и мучительной бессонницей, метался между Италией, Францией, Германией, Россией, нигде не находя покоя. В стихотворениях «Бессонница», «Зачем вы, дни?..», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...» и многих других отразились настроения этих лет.

Сквозь благолепие официальной церковности внезапно прорывается горький и язвительный голос старого вольнодумца:

Не я ли искупил ценой страданий многих
Всё, чем пред промыслом я быть виновным мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить злопамятливый бог?

Перед смертью Вяземский принимал участие в подготовке собрания своих сочинений (издание предпринято было его внуком Шереметевым), но он не дожил до выхода первого тома.

Вяземский умер в Баден-Бадене восьмидесяти шести лет 10 ноября 1878 года.

От 1810-х годов к 1830-м Вяземский проделывал со своей социальной группой литературную эволюцию, как он проделывал вместе с ней эволюцию политическую. Как поэт, как критик, теоретик и полемист Вяземский стоял в первых рядах этой группы на трех существенных этапах ее культурной жизни: в период борьбы карамзинистов против шишковцев, романтиков — против «классиков», «литературных аристократов» — против мещанской журналистики.

Вслед за этим началось падение. Уже с 1840-х годов все то,

что составляло содержание литературной жизни Вяземского, оказывается исчерпанным. На сцене теперь — Белинский, борьба западников и славянофилов, развитие русской реалистической прозы. Проблемы, волновавшие Вяземского, теряли свою остроту, его соратники по литературному делу сходили со сцены, умирали. С годами он превращается в какой-то экспонат «пушкинской эпохи», литературного брюзгу, всегда недовольного современностью и годного только на то, чтобы помещать воспоминания в «Русском архиве».

Вяземский не принадлежал к числу тех крупных дарований, которые заставляют считаться с собой даже идеологически враждебных современников. Демократическая интеллигенция 1860—1870-х годов обошлась с Вяземским как с ненужным обломком феодального мира. Сначала с ним спорили, над ним смеялись. Потом наступило самое страшное, то, что Вяземский сам назвал заговором молчания. Заговор молчания и официальные почести и юбилеи проводили Вяземского в могилу.

Л. Гинзбург



СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСЛАНИЕ К ЖУКОВСКОМУ В ДЕРЕВНЮ

Итак, мой милый друг, оставя скучный свет
И в поле уклонясь от шума и сует,
В деревне ты живешь, спокойный друг природы,
Среди кудрявых рощ, под сению свободы!
И жизнь твоя течет, как светлый ручеек,
Бегущий по лугам, как легкий ветерок,
Играющий в полях с душистыми цветами
Или в тени древес пастушки с волосами.
Беспечность твой удел! стократ она милей
И пышности владык и блеску богачей!
Не тот, по мне, счастлив, кто многим обладает,
Воспитан в роскоши, в звездах златых сияет
(Ни злато, ни чины ко счастью не ведут);
Но тот, чьи ясны дни в невинности текут,
Кто сердцем не смущен, кто, славы не желая,
Но искренно, в душе, свой рок благословляя,
Доволен тем, что есть, и лучшего не ждет —
И небо на него луч благости лиет!
Гром брани до него в пустыне не доходит;
Ни алчность почестей, ни зависть не тревожит
Его, сидящего при светлом ручейке
Или в объятиях своей супруги нежной.
О друг мой! так и ты, оставя град мятежный,
В уединении, в безмолвной тишине
Вкушаешь всякий день лишь радости одне!
То бродишь по лугам, то по лесу гуляешь,
То лирою своей Климену восхищаешь,
То быстро на коне несешься по полям,

Как шумный ветр пустынь; то ходишь по утрам
С собакой и ружьем — и с птицами воюешь;
То, сидя на холме, прелестный вид рисуешь!
А вечером, когда зефиров резвых рой
На листьях алых роз, осыпанных росой,
Утихнет и заснет, как пахарь возвратится
С полей, чтобы в семье покоем насладиться,
Как вечера туман обымет мрачный лес,
Когда усеется звездами свод небес,
Тогда ты, вышедши из хижины смиренной,
Покрытой мягким мхом, древами осененной,
С своею милою приближишься к реке
И станешь рассекать с ней волны в челноке,
И будет вам луна сопутницей приятной!
Взор бросив на тебя, взор только сердцу внятный,
Промолвит милая, вздохнув: «Друг нежный мой!
Какое счастье быть любимою тобой!
Но, ах! всегда ль судьбы к нам будут так
преклонны?
Быть может, разлучат с тобой нас люди злобны
Иль смерть... печальна мысль!» — «На что себя
смущать, —
Ты скажешь ей, — на что покой свой нарушать?
Любезны мы богам, чего же нам страшиться?
Мы чистою душой привыкли им молиться!
Когда от нас в слезах убогий уходил?
Когда гонимый в нас друзей не находил?
Утешься, милая! мы добры — и, конечно,
Нас боги наградят здесь жизнью долговечной!»
Потом, обнявшися, в безмолвии, домой
Пойдете медленно вкушать ночной покой.
Вы не услышите ни птичек щебетанья,
Ни звука от рогов, ни эха грохотанья, —
Сны благотворные с лазоревых небес
Слетят на ложе к вам с толпой приятных грез,
А утренний зефир, прохладу разливая,
Разбудит опять вас... Живи в полях, вкушая
Прямые радости чувствительных сердец!
Когда же нимф собор оставит мрачный лес,
Когда туманами одетая Аврора
В лесу поющих птиц не будет слышать хора,
И вместо ярких роз лишь иней по утрам

С осенней будет мглой на землю сыпать к нам, —
Тогда, мой милый друг, в столицу возвратися,
Таков, как был всегда, к друзьям своим явися!
Поверь! и в городе возможно с счастьем жить:
Оно везде — умей его лишь находить!

1808

К ПОРТРЕТУ МЕНЬЩИКОВА

Как волны, нам дары Фортуны ненадежны,
        Счастливец, не гордись!
Царевы милости с погибелию смежны!
Взгляни на образ сей... и счастия страшись.

<1810>

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Разыгрывать на днях новейшу драму станут.
Сумбур, творец ее, ручается собой,
Что слезы зрители польют река-рекой,
Что волосы у них от страха дыбом станут!

Акт первый: трубный глас, гром пушек, барабаны,
Кровавая война, сраженье, вопли, раны...
Вдали кладбище, гошпиталь...

Второй акт: дождь, гроза, растрепанна печаль
По сцене бегает и водит за собою
Своя́ка голода с сестрицею чумою,
И с ревом рыскают медведи, львы в лесах.

Акт третий: ужас! страх!
Землетрясение и преставленье света...
Смерть одинокая, во вдовий креп одета,
                Хоронит человечий род!
Финал: балет чертей и фурий хоровод.

<1810>

БЫЛЬ В ПРЕИСПОДНЕЙ

— Кто там стучится в дверь? —
Воскликнул Сатана. — Мне недосуг теперь!
— Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений,
Бибрис! Меня занес к вам в полночь ветр осенний,
Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!
— Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!
— Ага! здесь, видно, так, как и на той стране, —
Покойник говорит, — меня не понимают!

<1810>

К ПОРТРЕТУ БИБРИСА

Нет спора, что Бибрис богов язы́ком пел:
Из смертных бо никто его не разумел.

<1810>

СРАВНЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА С МОСКВОЙ

У вас Нева,
У нас Москва.
У вас Княжнин,
У нас Ильин.
У вас Хвостов,
У нас Шатров.
У вас плутам,
У вас глупцам
<. . . . . .>
Дурным стихам
И счету нет.
Боюсь, и здесь
Не лучше смесь:
Здесь вор в звезде,
<. . . . . .>
Осел в суде,
Дурак везде.

У вас Совет,
Его здесь нет —
Согласен в том;
Но желтый дом
У нас здесь есть.
В чахотке честь,
А с брюхом лесть —
Как на Неве,
Так и в Москве.
Мужей в рогах,
Девиц в родах,
Мужчин в чепцах,
А баб в портках
Найдешь у вас,
Как и у нас,
Не пяля глаз.
У вас «авось»
России ось
Крутит, вертит,
А кучер спит.

<1810>

* * *

Ага, плутовка мышь, попалась, нет спасенья!
Умри! ты грызть пришла здесь Дмитриева том,
Тогда как у меня валялись под столом
Графова сочиненья.

<1811>

* * *

Тирсис всегда вздыхает,
Он без «увы» строки не может написать;
А тот, кому Тирсис начнет свой бред читать,
Сперва твердит «увы», а после засыпает.

<1811>

* * *

Российский Диоген лежит под сею кочкой:
Тот в бочке прожил век, а наш свой прожил
с бочкой.

<1811>

МИЛОНОВУ

ПО ПРОЧТЕНИИ ПЕРЕВОДА ЕГО ИЗ ГОРАЦИЯ

Когда нам уши раздирают
Несносны крики сов, гагар,
И музы в наши дни страдают,
Как предки наши от татар;
Когда один с поэмой вздорной,
Другой с комедией снотворной
И вся Батыева орда
Выходит на Парнас войною,
Ты в эти смутные года,
Со светлой, полною душою
И лирой звонкой золотой,
Невежд ватагу оставляешь
И славу на пути встречаешь —
Ее приемыш молодой.
Иди вперед, друг муз и граций,
За избранным тобой вождем,
И пусть учитель твой Гораций
С тобой поделится венком.

1811

ОТЪЕЗД ВЗДЫХАЛОВА

С собачкой, с посохом, с лорнеткой,
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком,
В кармане с парой мадригалов
И чуть с звенящим кошельком

По свету белому *Вздыхалов*
Пустился странствовать пешком.
«Прости, жестокая Аглая! —
Он говорит в последний раз,
И вздох за вздохом, грудь стесняя,
Его перерывают глас. —
Прости, Макаров, Фебом чтимый,
И ты, о Бланк неистощимый,
Единственный читатель мой!
Вот вам мое благословенье;
Кроплю вас тихою слезой».
А прочной дружбы в уверенье
Кольнув булавкой палец свой,
Он на бумажке пишет кровью:
«Дышу до гроба к вам любовью,
До гроба, или я не Стерн,
Или, по крайности, не Верн».
Тут он вздохнул, перекрестился,
Еще вздохнул, еще... и скрылся.

1811

Эпизодический отрывок из путешествия в стихах

ПЕРВЫЙ ОТДЫХ ВЗДЫХАЛОВА

«Устал! Страннолриимны боги!
Я вам сейчас стишки скажу.
Едва мои виляют ноги,
Едва лорнетку я держу,
И, уши опустя, *Бижу,*
Товарищ мой в сиротской доле,
Как я, бежать не может боле,
И *отдых в пользу* я читал,
Я три версты уж отпорхал;
Мне, право, отдохнуть не стыдно,
К тому ж и подлинник мой, видно,
Стерн точно так же отдыхал.
Так! Сесть мне можно без ошибки
Под ароматный зонтик липки,
Прельстясь красой картинных мест».

Желудок между тем нескромный
Ему журчит укорой томной,
Что Йорик ел, а он не ест.
И, кое-как собравшись с силой,
Побрел он поступью унылой
К избушке, в нескольких шагах
Пред ним мелькающей в кустах;
И силится в уме усталом,
Свершая медленно свой путь,
Хотя экспромтом-мадригалом
Спросить поесть чего-нибудь,
Чтоб жизнь придать натуре тощей
Иль заморить, сказавши проще,
В пустом желудке червяка.
Он весь в экспромте был. Пока
К нему навстречу из лачужки
Выходит баба; ожил он!
На милый идеал пастушки
Лорнет наводит селадон,
Платок свой алый расправляет,
Вздыхает раз, вздыхает два,
И к ней, кобенясь, обращает
Он следующие слова:
«Приветствую мольбой стократной
Гебею здешней стороны!
Твой обещает взор приятный
Гостеприимство старины.
В руке твоей, с нагорным снегом,
С лилеей равной белизны,
Я, утомленный дальним бегом,
Приемлю радостей залог;
Я истощился, изнемог.
Как, подходя к речному устью,
Томимый зноем пилигрим
Не верит и глазам своим,
Так я, и голодом и грустью
Томимый, подхожу к тебе.
Внемли страдальческой мольбе,
Как внемлешь ты сердечной клятве,
Когда твой юный друг на жатве
Любить тебя клянется вновь!
Клянусь: и я любить умею,

Но натощак что за любовь?
Май щедрый пестует лилею
И кормит бабочек семью,
Ты призри бабочку свою!
Молю Цереру-Киферею:
Моим будь щедрым маем ты,
Не декабрем скупым и льдистым!
И с сердцем и желудком чистым
Стою пред взором красоты.
Немного мне для пищи нужно:
Я из числа эфирных лиц.
Ты снисходительно и дружно
Изжарь мне пару голубиц,
Одних примет с тобой и масти;
Да канареечных яиц
Мне всмятку изготовь отчасти;
И каплей, в честь твоей красе,
Запью *чувствительного спирта,*
Настойки в утренней росе
Из *глаз анютиных* и мирта».
Но между тем как стих к стиху
В жару голодного запала
Он подбирал, как шелуху,
Или у музы на духу
Грехи для нежного журнала,
Иль, нашему герою в лад,
Я подобрать в сравненье рад
Еще вернее рукоделье —
Как буску к буске в ожерелье,
Иль легкий пух на марабу,
Который ветерок целует,
Колыша на девичьем лбу, —
Он и не видит и не чует,
Что перед ним нет никого
И что Гебея тихомолком,
Не понимая речи толком,
В избу укрылась от него.
Он, с воркованьем и приветом,
Стучал напрасно в ворота:
Ему мяуканье ответом
В окно смотрящего кота.
Такой прием ему не новость:

У журналистов он не раз
Людей испытывал суровость,
Когда носил им напоказ
Экспромтов дюжинный запас.
И что ж? Читал себе и музе
На запертых дверях отказ!
С смиренной мудростью в союзе,
И бед и опытов сестрой,
Он и теперь прямой герой!
Судьбе властительной послушно
Он съел свой гриб великодушно
И молча на *Бижу* взглянул.
То есть, ведь речью фигуральной
Я здесь про гриб упомянул,
А то в судьбе своей печальной
И за единый гриб буквальный
Поэт бы с радости вспрыгнул.
И от избы бесчеловечной,
Где он Бавкиды не нашел,
С тоской и пустотой сердечной
Он прочь задумчиво побрел;
Шатался, медленно кружился
И наземь тихо повалился,
Как жидкая под ветром ель;
И тут, по воле и неволе,
Перебирая травку в поле,
С разглядкой стал щипать щавель.

1811(?)

ДРУЗЬЯ НЫНЕШНЕГО ВЕКА

Картузов другом просвещенья
В листках провозгласил себя.
О времена! о превращенья!
Вот каковы в наш век друзья!

<1812>

К МОИМ ДРУЗЬЯМ ЖУКОВСКОМУ, БАТЮШКОВУ И СЕВЕРИНУ

Где вы, товарищи-друзья?
Кто разлучил соединенных
Душой, руками соплетенных?
Один без сердцу драгоценных,
Один теперь тоскую я!

И, может быть, сей сердца стон
Вотще по воздуху несется,
Вотще средь ночи раздается;
До вас он, может, не коснется,
Не будет вами слышен он!

И, может быть, в сей самый час,
Как ночи сон тревожит вьюга,
Один из вас в борьбах недуга
Угасшим гласом имя друга
В последний произносит раз!

Почий, счастливец, кротким сном!
Стремлюсь надежой за тобою...
От бури ты идешь к покою.
Пловец, томившийся грозою,
Усни на берегу родном!

Но долго ль вас, друзья, мне ждать?
Когда просветит день свиданья?
Иль — жертвы вечного изгнанья —
Не будем чаши ликованья
Друг другу мы передавать?

Иль суждено, чтоб сердца хлад
Уже во мне не согревался,
Как ветр в пустыне, стон терялся,
И с взглядом друга не встречался
Бродящий мой во мраке взгляд?

Давно ль, с любовью пополам,
Плели нам резвые хариты
Венки, из свежих роз увиты,

И пели юные пииты
Гимн благодарности богам?

Давно ль? — и сладкий сон исчез!
И гимны наши — голос муки,
И дни восторгов — дни разлуки!
Вотще возносим к небу руки,
Пощады нет нам от небес!

А вы, товарищи-друзья,
Явитесь мне хоть в сновиденьи,
И, оживя в воображеньи
Часов протекших наслажденьи,
Обманом счастлив буду я!

Но вот уж мрак сошел с полей,
И вьюга с ночью удалилась,
А вас душа не допросилась;
Зарей окрестность озлатилась...
Прийти ль когда заре моей?

Октябрь 1812,
Вологда

ПОСЛАНИЕ К ЖУКОВСКОМУ
ИЗ МОСКВЫ, В КОНЦЕ 1812 ГОДА

Итак, мой друг, увидимся мы вновь
В Москве, всегда священной нам и милой!
В ней знали мы и дружбу и любовь,
И счастье в ней дни наши золотило.
Из детства, друг, для нас была она
Святилищем драгих воспоминаний;
Протекших бед, веселий, слез, желаний
Здесь повесть нам везде оживлена.
Здесь красится дней наших старина,
Дней юности и ясных и веселых,
Мелькнувших нам едва — и отлетелых.
Но что теперь твой встретит мрачный взгляд
В столице сей и мира и отрад? —
Ряды могил, развалин обгорелых

И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!
Наук, забав и роскоши столица,
Издревле край любви и красоты
Есть ныне край страданий, нищеты.
Здесь бедная скитается вдовица,
Там слышен вопль младенца-сироты;
Их зрит в слезах румяная денница,
И ночи мрак их застает в слезах!
А там старик, прибредший на клюках
На хладный пепл родного пепелища,
Не узнает знакомого жилища,
Где он мечтал сном вечности заснуть,
Склонив главу на милой дщери грудь;
Теперь один, он молит дланью нищей
Последнего приюта на кладбище.
Да будет тих его кончины час!
Пускай мечты его обманут муку,
Пусть слышится ему дочерний глас,
Пусть, в гроб сходя, он мнит подать ей руку!
Счастлив, мой друг, кто, мрачных сих картин,
Сих ужасов и бедствий удаленный
И строгих уз семейных отчужденный,
Своей судьбы единый властелин,
Летит теперь, отмщеньем вдохновенный,
Под знамена карающих дружин!
Счастлив, кто меч, отчизне посвященный,
Подъял за прах родных, за дом царей,
За смерть в боях утраченных друзей;
И, роковым постигнутый ударом,
Он скажет, свой смыкая мутный взор:
«Москва! я твой питомец с юных пор,
И смерть моя — тебе последним даром!»
Я жду тебя, товарищ милый мой!
И по местам, уныныо посвященным,
Мы медленно пойдем, рука с рукой,
Бродить, мечтам предавшись потаенным.
Здесь тускл зари пылающий венец,
Здесь мрачен день в краю опустошений;
И скорби сын, развалин сих жилец,
Склоня чело, объятый думой гений
Гласит на них протяжно: нет Москвы!

И хладный прах, и рухнувшие своды,
И древний Кремль, и ропотные воды
Ужасной сей исполнены молвы!

1813

К ТИРТЕЮ СЛАВЯН

Давно ли ты, среди грозы военной,
Тиртей славян, на лире вдохновенной
Победу пел перед вождем побед?
И лаврами его означил след?
Давно ли ты, воспламенясь героем,
Воспел его, с бестрепетным покоем
Стоящего пред трепетным врагом?
О, сколь тебе прекрасен перед строем
Казался он с израненным челом!
И ты прочел в священном упоенье
На сем челе судьбины приговор:
Успех вождя и пришлеца позор,
И ты предрек грядущих дней явленье!
Но где тобой обещанный возврат?
Где вождь побед? Увы! и стар и млад,
Предупредя дрожащий луч денницы,
Во сретенье к нему не поспешат!
Не окружат победной колесницы
И спасшей их отмстительной десницы
К устам своим не поднесут стократ!
И каждый шаг его не огласят
Языком чувств, хвалою благодарной!
Не придет сей желанный нами день!
Внезапно смерть простерла ночи тень
На путь вождя, путь славы лучезарной!
Спасенья муж свой зоркий взгляд смежил,
И тесный гроб — великого вместил!
Обвей свою ты кипарисом лиру,
Тиртей славян! И прах, священный миру,
Да песнь твоя проводит в мрачный свод,
И тень его, с безоблачных высот
Склонясь на глас знакомых песнопений,
Твой будет щит и вдохновенья гений.

1813

НА НЕКОТОРУЮ ПОЭМУ

Отечество спаслось Кутузова мечом
От мстительной вражды новейшего Батыя,
Но от твоих стихов, враждующих с умом,
Ах! не спаслась Россия!

1813

* * *

Картузов — сенатор,
Картузов — куратор,
Картузов — поэт.
Везде себе равен,
Во всем равно славен,
Оттенков в нем нет:
Худой он сенатор,
Худой он куратор,
Худой он поэт.

1813

К ПАРТИЗАНУ-ПОЭТУ

(В 1814 году)

Анакреон под дуломаном,
Поэт, рубака, весельчак!
Ты с лирой, саблей иль стаканом
Равно не попадешь впросак.

Носи любви и Марсу дани!
Со славой крепок твой союз:
В день брани — ты любитель брани!
В день мира — ты любимец муз!

Душа, двойным огнем согрета,
В тебе не может охладеть:
На пламенной груди поэта
Георгия приятно зреть.

Воинским соблазнясь примером,
Когда б Парнас давал кресты,
И Аполлона кавалером
Давно, конечно, был бы ты.

К ПАРТИЗАНУ-ПОЭТУ

Давыдов, баловень счастливый
Не той волшебницы слепой,
И благосклонной, и спесивой,
Вертящей мир своей клюкой,
Пред коею народ трусливый
Поник просительной главой, —
Но музы острой и шутливой
И Марса, ярого в боях!
Пусть грудь твоя, противным страх,
Не отливается игриво
В златистых и цветных лучах,
Как радуга на облаках;
Но мне твой ус красноречивый,
Взращенный, завитый в полях
И дымом брани окуренный, —
Повествователь неизменный
Твоих набегов удалых
И ухарских врагам приветов,
Колеблющих дружины их!
Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздымаются плеча других;
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож!
Иной, бесстрашный в ратном поле,
Застенчив при дверях вельмож;
Другой, застенчивый средь боя,
С неколебимостью героя
Вельможей осаждает дверь;
Но не тужи о том теперь!
На барскую ты половину
Ходить с поклоном не любил,

И скромную свою судьбину
Ты благородством золотил.
Врагам был грозен не по чину,
Друзьям ты не по чину мил!
Спеши в объятья их без страха
И, в соприсутствии нам Вакха,
С друзьями здесь возобнови
Союз священный и прекрасный,
Союз и братства и любви,
Судьбе могущей неподвластный!..
Где чаши светлого стекла?
Пускай их ряд, в сей день счастливый,
Уставит грозно и спесиво
Обширность круглого стола!
Сокрытый в них рукой целебной,
Дар благодатный, дар волшебный
Благословенного *Аи*
Кипит, бьет искрами и пеной! —
Так жизнь кипит в младые дни!
Так за столом непринужденно
Родятся искры острых слов,
Друг друга гонят, упреждают
И, загоревшись, угасают
При шумном смехе остряков!
Ударим радостно и смело
Мы чашу с чашей в звонкий лад!..
Но твой, Давыдов, беглый взгляд
Окинул круг друзей веселый,
И, среди нас осиротелый,
Ты к чаше с грустью приступил,
И вздох невольный и тяжелый
Поверхность чаши заструил!..
Вздох сердца твоего мне внятен, —
Он скорбной траты тайный глас;
И сей бродящий взор понятен —
Он ищет Бурцова средь нас.
О Бурцов, Бурцов! честь гусаров,
По сердцу Вакха человек!
Ты не поморщился вовек
Ни с блеска сабельных ударов,
Светящих над твоим челом,
Ни с разогретого арака,

Желтеющего за стеклом
При дымном пламени бивака!
От сиротствующих пиров
Ты был оторван смертью жадной!
Так резкий ветр, посол снегов,
Сразившись с лозой виноградной,
Красой и гордостью садов,
Срывает с корнем, повергает,
И в ней надежду убивает
Усердных Вакховых сынов!
Не удалось судьбой жестокой
Ударить робко чашей мне
С твоею чашею широкой,
Всегда потопленной в вине!
Я не видал ланит румяных,
Ни на челе следов багряных
Побед, одержанных тобой;
Но здесь, за чашей круговой,
Клянусь Давыдовым и Вакхом:
Пойду на холм надгробный твой
С благоговением и страхом;
Водяных слез я не пролью,
Но свежим плющем холм украшу,
И, опрокинув полну чашу,
Я жажду праха утолю!
И мой резец, в руке дрожащий,
Изобразит от сердца стих:
«Здесь Бурцов, друг пиров младых,
Сном вечности и хмеля спящий.
Любил он в чашах видеть дно,
Врагам казать лицо средь боя. —
Почтите падшего героя
За честь, отчизну и вино!»

1814

К ДРУЗЬЯМ

Гонители моей невинной лени,
Ко мне и льстивые, и строгие друзья!
Благодарю за похвалы и пени, —
Но не ленив, а осторожен я!

Пускай, довольствуясь быть знаем в круге малом,
Я ни одним еще не завладел журналом,
И, пальцем на меня указывая, свет
Не говорит: вот записной поэт!
Но признаюсь, хотя и лестно, а робею:
Легко, не согласясь с способностью моею,
Обогатить, друзья, себе и вам назло
Писателей дурных богатое число.
Немало видим мы в поэтах жертв несчастных
Успеха первого и первой похвалы;
Для них день ясный был предтечей дней ненастных,
И ветр, сорвав с брегов, их бросил на скалы.
Притом, хотя они бессмертного рожденья,
Но музы — женщины, не нужны объясненья!
Смешон, кто с первых ласк им ввериться готов;
Как часто вас они коварно задирают,
Когда вы их не ищете даров!
А там еще стократ коварней покидают,
Когда вы, соблазнясь притворной лаской их,
Владычиц видите в них и богинь своих!
Смотрите — не искать тому примеров дальних!
Мы здесь окружены толпой
Обманутых любовников печальных!
Не знавшись с музами, они б цвели душой,
И в неге тишины целебной
По слуху знали бы и хлопоты и труд!
Но первый их экспромт разрушил мир волшебный,
И рифмы-коршуны, в них впившись, их грызут.
Быть может, удалось крылатым вдохновеньем
И мне подчас склонять на робкий глас певца
Красавиц, внемлющих мне с тайным умиленьем,
Иль, на беду его, счастливым выраженьем
Со смехом сочетать прозвание глупца.
И смерть пускай его предаст забвенья злобе,
Мой деятельный стих его и в дальнем гробе
Преследует, найдет, потомству воскресит
И внуков памятью о деде рассмешит!
Иль, смелою рукой младую лиру строя,
Быть может, с похвалой воспел царя-героя!
И, скромность в сторону, шепну на всякий страх —
Быть может, боле я и в четырех стихах
Сказал о нем, чем сонм лже-Пиндаров надутых

В громадах пресловутых
Их од торжественных, где торжествует вздор!
И мать счастливая увенчанного сына
(Награда лестная! завидная судьбина!)
Приветливый на них остановила взор.
Я праведно бы мог гордиться в упоенье;
Но, строгий для других, иль буду к одному
Я снисходителен себе, на смех уму?
Нет, нет! опасное отвергнув обольщенье,
Удачу не сочту за несомненный дар;
И Рубан при одном стихе вошел в храм славы!
И в наши, может, дни (чем не шутил лукавый?)
Порядочным стихом промолвится Гашпар.
О, дайте мне, друзья, под безмятежной сенью,
Куда укрылся я от шума и от гроз,
На ложе сладостном из маков и из роз,
Разостланном счастливой ленью,
Понежиться еще в безвестности своей!
Успехов просит ум, а сердце счастья просит!
И самолюбия нож острый часто косит
Весенние цветы младых и красных дней.
Нет, нет! решился я, что б мне ни обещали,
Блаженным Скюдери не буду подражать!
Чтоб более меня читали,
Я стану менее писать!

1814 или 1815

К ПОДУШКЕ ФИЛЛИДЫ

(С французского)

Поведай тайны мне свои,
Подушка, смятая Филлидой,
Пух с горлиц, вскормленных Кипридой,
Иль с легких крылиев любви!

Не сказывай, что взор встречает,
Когда покров с себя ночной
Откинет легкою ногой,
Или зефир его сдувает!

Не сказывай ты мне равно,
Как уст прелестных осязаньем
И сладостным она дыханьем
Твое согрела полотно!

И сам Амур красноречивый
Всего бы мне не рассказал
Того, что прежде угадал
Мечтою я нетерпеливой!

Нет, нет! поведай мне сперва,
Как часто с робостию скромной
Любви восторгов шепчет томно
Она волшебные слова?

Скажи мне, сколько слез укоры,
И ревности упало слез
В тебя, когда я веткой роз
Украсил грудь Элеоноры?

На днях украдкою в тени
Она меня поцеловала.
«Ты видишь — ты любим, — сказала, —
Но от самой меня храни».

Я тут с Филлидою расстался.
Скажи, могла ль она заснуть?
Скажи, как трепетала грудь,
Как вздох за вздохом вырывался?

Девица в поздние часы
Под завесом не столь таится:
Душа ее нагая зрится,
Как и открытые красы.

Другим бы, может быть, скорее
Пристало тайны знать твои,
Но из поклонников любви
Достойней тот, кто всех нежнее.

Когда, ущедренный судьбою,
Я при тебе к груди своей

Прижму ее и робость в ней
Я поцелуем успокою?

Вечор мне руку подала,
Затрепетала и вздохнула:
«Ты завтра приходи», — шепнула
И, закрасневшись, отошла.

О боги! можно ли мне льститься?
Прелестной верить ли судьбе?
Подушка! вечером к тебе
Приду ответа допроситься.

<1815>

ВЕСЕННЕЕ УТРО

По зыбким, белым облакам
Горят пылающие розы;
Денницы утренние слезы
Блестят, как жемчуг, по лугам,
И с пышной липы и березы
Душистый веет фимиам!

Разлитое струями злато
Волнуется на теме гор;
Садов богини верный двор,
Зефиров легких рой крылатый
Летит на сотканный ковер
Рукою Флоры тароватой!

Настал любви условный час,
Час упоений, час желаний;
Спи, Аргус, под крылом мечтаний!
Не открывай, ревнивец, глаз!
Красавицы! звезда свиданий,
Звезда Венеры будит вас!

Оставь ты одр уединенный,
Услышь, о Дафна, друга зов,
Накинь свой утренний покров,
И матери непробужденной

Оставь неблагосклонный кров,
Восторгами не освященный!

Приди ко мне! Нас в рощах ждет
Под сень таинственного свода
Теперь и нега, и свобода!
Птиц ожил хор и шепот вод,
И для любви сама природа
От сна, о Дафна, восстает!

<1815>

К ДРУЗЬЯМ

Кинем печали!
Боги нам дали
Радость на час;
Радость от нас
Молний быстрее
Быстро парит,
Птичек резвее
Резво летит.
Неумолимый
Неумолим,
Невозвратимый
Невозвратим.
Утром гордится
Роза красой;
Утром свежится
Роза росой.
Ветер не смеет
Тронуть листков,
Флора лелеет
Прелесть садов!
К ночи прелестный
Вянет цветок;
Други! безвестно,
Сколько здесь рок
Утр нам отложит, —
Вечер, быть может,
Наш недалек.

<1815>

КОГДА? КОГДА?

Когда утихнут дни волненья
И ясным дням придет чреда,
Рассеется звездой спасенья
Кровавых облаков гряда?
Когда, когда?

Когда воскреснут добры нравы,
Уснет и зависть и вражда?
Престанут люди для забавы
Желать взаимного вреда?
Когда, когда?

Когда корысть, не зная страха,
Не будет в храминах суда,
И в погребах, в презренье Вакха,
Вино размешивать вода?
Когда, когда?

Когда поэты будут скромны,
При счастье глупость не горда,
Красавицы не вероломны,
И дружба в бедствиях тверда?
Когда, когда?

Когда очистится с Парнаса
Неверных злобная орда,
И дикого ее Пегаса
Смирит надежная узда?
Когда, когда?

Когда на языке любовном
Нет будет *нет*, *да* будет *да*,
И у людей в согласьи ровном
Расти с рассудком борода?
Когда, когда?

Когда не по полу прихожей
Стезю проложат в господа,
И будет вывеска вельможей
Высокий дух, а не звезда?
Когда, когда?

Когда газета позабудет
Людей морочить без стыда,
Суббота отрицать не будет
Того, что скажет середа?
Когда, когда?

<1815>

* * *

Кто вождь у нас невеждам и педантам?
Кто весь иссох из зависти к талантам?
Кто гнусный лжец и записной зоил?
Кто, если мог вредить бы, вреден был?
Кто, не учась, других охотно учит,
Врагов смешит, а приближенных мучит?
Кто лексикон покрытых пылью слов?
Все в один раз ответствуют: Шишков!

<1815>

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК ШУТОВСКОГО,
ПОДНЕСЕННЫЙ ЕМУ РАЗ НАВСЕГДА ЗА МНОГИЕ ПОДВИГИ

1

В комедиях, сатирах Шутовского
Находим мы веселость псалтыря,
Затейливость месяцеслова
И соль и едкость букваря.

2

Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь,
За неудачами от неудач спешишь;
Комедией друзей ты плакать заставляешь,
Трагедией ты зрителя смешишь.

3

Когда затейливым пером
Забавник Шутовской, шутя, соседов ссорил,
Сам не на шутку он, бог весть за что, повздорил
С партером, вкусом и умом.

4

«Коварный», «Новый Стерн» — пигмеи,
Они незрелый плод творца,
Но «Полубарские затеи» —
Затеи полного глупца.

5

Напрасно говорят, что грешника черты
Доносят нам, как он раскаяньем замучен;
Смотрите, как румян и тучен
Убийца сироты!

6. К ПЕРЕВОДЧИКУ „КИТАЙСКОЙ СИРОТЫ“

Вольтер нас трогает «Китайской сиротой»,
И тем весельчаков заслуживает пени;
Но слезы превратил в забаву Шутовской:
Он из трагедии удачною рукой
Китайские поделал тени.

7

С какою легкостью свободной
Играешь ты в стихах природой и собой,
Ты в «Шубах» Шутовской холодный,
В «Водах» ты Шутовской сухой.

8

Когда при свисте кресл, партера и райка
Торжественно сошел со сцены твой «Коварный»,
Вини себя, и впредь готовься не слегка.
Ты выбрал для себя предмет неблагодарный:

Тебе ли рисовать коварного портрет!
Чистосердечен ты, в тебе коварства нет.
И каждый, кто прочтет твоих трудов собранье,
Или послушает тебя минуты две,
Увидит, как насквозь: в душе вредить желанье
И неспособность в голове.

9. ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОДЫ

— Каков ты? — Что-то всё не спится,
Хоть пью лекарства по ночам.
— Чтоб от бессонницы лечиться,
Отправься к Липецким водам.

— Каков ты? — Пламя потаенно
Жжет кровь мою назло врачам.
— Чтоб исцелиться совершенно,
Отправься к Липецким водам.

1815

К ПОДРУГЕ

От шума, от раздоров,
Гостинных сплетен, споров,
От важных дураков,
Забавников докучных
И вечных болтунов,
С злословьем неразлучных,
От жалких пастушков,
При дамских туалетах
Вздыхающих в сонетах;
От критиков-слепцов,
Завистников талантов,
Нахмуренных педантов,
Бродящих фолиантов,
Богатых знаньем слов;
От суетного круга,
Что прозван свет большой,
О милая подруга!

Укроемся со мной.
Простись с блестящим светом,
Приди с своим поэтом,
Приди под кров родной,
Счастливый и простой,
Где счастье неизменно
И дружбой крыл лишенно
Нас угостит с тобой!
Хотя мы жили мало,
Но в вихре юных лет
Нас горе испытало,
И, по морю сует
Пловцы неосторожны,
Мы часто брали ложный
Путь гибели и бед
За верный и надежный,
Казавший к благу след.
И там с бедой встречались,
Где мы найти ласкались
И счастье, и покой.
О друг бесценный мой!
Испытанное горе
Забвенью предадим,
И треволнений море
Уступим мы другим.
Дар редкий, особливый,
С небес необходим,
Чтоб управлять счастливо
На нем челном своим.
Что ж делать? не имеем
Искусства мы сего;
Зато, мой друг, умеем
Прожить и без него.
Уже воображенье
Сближает отдаленье
Мне тех счастливых дней,
Когда уединенье,
Покой и размышленье
Смирят души смятенье,
И усыпят страстей
Коварное волненье!
Уже среди полей,

Украшенных природой,
Я, свергнув плен цепей,
Горжусь своей свободой,
И восхищаюсь ей,
Как пленник свобожденный,
В отчизну возвращенный
От вражеских брегов,
С восторгом внемлет пенью
Знакомых голосов
И веселится тенью
Родительских дубов.
Уже тебя мечтою
Я, утренней порою,
Бегущей вижу в сад,
Для неги и прохлад
И Флорой и тобою
Украшенный стократ!
Твой утренний наряд,
И скромный и прелестный,
Меж зелени древесной
Белеется вдали, —
Ты всё обозреваешь:
Здесь мирты поливаешь,
Гвоздику расправляешь,
Склоненную к земли;
А там тропу от спальни
К беседке у купальни
Прокладываешь ты!
Но воздух тмится паром,
И солнце пышет жаром
С лазурной высоты;
Тут ты работы бросишь,
И розу мне приносишь —
Подобие себя!
Но, ах! могу ли я
Грядущего картину
Искусною рукой
Представить пред тобой?
Нет! разве тень едину
Тебе изображу;
Нет, разве половину
Я радостей скажу,

Которые нас встретят,
Украсят и осветят
Смиренный наш приют!
С волшебной быстротою
Дни резвые бегут:
Меж утренней зарею
И сумрачной порою
Лишь несколько минут
Сочтем, мой друг, с тобою!
Тогда как в тех домах,
Где гордость с суетою
И подлость, впопыхах,
Одна перед другою
В натянутых словах
Невольно открывают
Всю скуку, что питают
В изношенных душах,
Едва тащится время
И каждый миг, как бремя,
Тягчится на плечах.
Быть может, к нам в обитель
Заманим мы друзей:
И тишины любитель,
И младости моей
Наставник и хранитель,
Бессмертной Клии сын,
Трудами утомленный,
Под кров уединенный
Придет вкусить покой;
И, может быть, младой
Наперсник фей и граций,
Веселый, как Гораций,
И сумрачный порой,
Как самый Громобой,
В полуночи ненастной
Балладою ужасной
Придет нас восхищать,
И внемлющих безгласно
И трогать, и пугать;
А с ним и сладострастный
Цитерских битв певец,

Тибулл наш сладкогласный,
И гражданин, и жрец
Благословенной Книды,
От Марса и Киприды
Приявший свой венец,
Быть может, к нам в дубравы
Перенесет Тибур
И, сердцем Эпикур,
Все обольщенья славы
И шумные забавы
Столицы между нас
Придет забыть на час.
О дружба! жизни радость,
Твою святую сладость
Из детства выше всех
Я почитал утех!
Всегда была ты страстью
Души моей младой,
И трудный путь ко счастью
Мне проложен тобой.
О дружба! весь я твой.
И на одре недуга
Я, в час мой роковой,
Хочу коснуться друга
Трепещущей рукой!
И сим прикосновеньем
Как будто возрожден,
С надеждой, с утешеньем
Я встречу смерти сон.

1815

В АЛЬБОМ НЕЕЛОВУ

Пускай, Неелов, свет толкует,
Его нам толков не унять, —
Счастлив, кому дано судьбой о них не знать,
Умен, кто, зная их, на них покойно плюет!
Пускай придворный полотер
Исшаркал город весь и двор,
Чтоб на пустой болван плюмаж поставить белый:
Болван из-под него выглядывает смело.

Дурак, что ни надень, всё тем же дураком:
На нем и сам венец дурацким колпаком.
Пускай рифмач назло рассудку
Шутя изволит сочинять,
А нам скучает не на шутку,
И предает векам послушная печать
Его творений сбор огромный!
Пускай Вздыхалов томный
Томит пастушек нежный слух,
Хвалы достоин он, я смело утверждаю —
В пастушеских стихах он пишет как пастух.
Неелов! никого ни в чем не осуждаю!
У всякого свой ум, свое житье-бытье,
У всякого дурачество свое!
Поверь, всё к лучшему судьбы определили,
И не сердись на глупости людей:
Глупцы подчас нам умников нужней,
Без них смеяться бы забыли!

1815

ОТВЕТ НА ПОСЛАНИЕ ВАСИЛЬЮ ЛЬВОВИЧУ ПУШКИНУ

Ты прав, любезный Пушкин мой,
С людьми ужиться в свете трудно!
У каждого свой вкус, свой суд и голос свой!
Но пусть невежество талантов судией —
Ты смейся и молчи: роптанье безрассудно!
Грудистых крикунов, в которых разум скудный
Запасом дерзости с избытком заменен,
Перекричать нельзя; язык их — брань, искусство —
Пристрастьем заглушать священной правды чувство,
А демон зависти — их мрачный Аполлон!
Но их безвредное, смешное вероломство
В борьбе с талантами не может устоять!
Как волны от скалы, оно несется вспfive!
Что век зоила? — день! Век гения? — потомство!
Учись — здесь Карамзин, честь края своего,
Сокрывшихся веков отважный собеседник,
Наперсник древности и Ливия наследник,

Не знает о врагах, шипящих вкруг него.
Пускай дурачатся, гордясь рукоплесканьем
Сотрудников своих. Их речи — тщетный звон!
Не примечая их, наказывает он
Витийственный их гнев убийственным молчаньем.
Так путник, посреди садов,
Любуясь зеленью и свежими цветами,
Не видит под травой ползущих червяков,
Их топчет твердыми ногами
И далее идет, не думая о них!

Оставим сих слепцов; их сумрачные очи,
Привыкшие ко тьме, бегут лучей дневных, —
И, пожелав им доброй ночи,
Сзовем к себе друзей своих
Стихи читать, не зачитаться,
Поговорить и посмеяться
На свой, подчас и счет других;
Но только с тем, чтоб осторожно!
И в дружеском кругу своем,
Поверь, людей еще найдем,
С которыми ужиться можно!

1815

* * *

На степени вельмож Сперанский был мне чужд.
В изгнаньи, под ярмом презрения и нужд,
В нем жертву уважал обманчивого счастья;
Стал ненавистен мне угодник самовластья.

Между 1814 и 1816

ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ
(1816)

Дыханье вечера долину освежило,
Благоухает древ трепещущая сень,
И яркое светило,
Спустившись в недра вод, уже переступило
Пылающих небес последнюю ступень.

Повсюду разлилось священное молчанье;
Почило на волнах
Игривых ветров трепетанье,
И скатерть синих вод сравнялась в берегах.
Чья кисть, соперница природы,
О Волга, рек краса, тебя изобразит?
Кто в облачной дали конец тебе прозрит?
С лазурной высотой твои сравнялись воды,
И пораженный взор, оцепенев, стоит
Над влажною равниной;
Иль, увлекаемый окрестною картиной,
Он бродит по твоим красивым берегам:
Здесь темный ряд лесов под ризою туманов,
Гряда воздушная синеющих курганов,
Вдали громада сел, лежащих по горам,
Луга, платящие дань злачную стадам,
Поля, одетые волнующимся златом, —
И взор теряется с прибережных вершин
В разнообразии богатом
Очаровательных картин.
Но вдруг перед собой зрю новое явленье:
Плывущим островам подобяся, вдали
Огромные суда в медлительном паренье
Несут по лону вод сокровища земли;
Их крылья смелые по воздуху белеют,
Их мачты, как в водах бродящий лес, темнеют.
Люблю в вечерний час, очарованья полн,
Прислушивать, о Волга величава!
Глас поэтический твоих священных волн;
В них отзывается России древней слава.
Или, покинув брег, люблю гнать резвый челн
По ропотным твоим зыбям, — и, сердцем весел,
Под шумом дружных весел,
Забывшись, наяву один дремать в мечтах.
Поэзии сынам твои знакомы воды!
И музы на твоих прохладных берегах,
В шумящих тростниках,
В час утренней свободы,
С цевницами в руках
Водили хороводы
Со стаей нимф младых;
И отзыв гор крутых,

И вековые своды
Встревоженных дубрав
Их песнями звучали,
И звонкий глас забав
Окрест передавали.
Державин, Нестор муз, и мудрый Карамзин,
И Дмитриев, харит счастливый обожатель,
Величья твоего певец-повествователь,
Тобой воспоены́ средь отческих долин.
Младое пенье их твой берег оглашало,
И слава их чиста, как вод твоих зерцало,
Когда глядится в них лазурный свод небес,
Безмолвной тишиной окован ближний лес
И резвый ветерок не шевелит струею.
Их гений мужествен, как гений вод твоих,
Когда гроза во тьме клубится над тобою,
И пеною кипят громады волн седых;
Противник наглых бурь, он злобе их упорной
Смеется, опершись на брег ему покорный;
Обширен их полет, как бег обширен твой;
Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой,
В пучину Каспия мчишь воды обновленны,
Так славные их дни, согражданам священны,
Сольются, круг сверша, с бессмертием в веках!
Но мне ли помышлять, но мне ли петь о славе?
Мой жребий: бег ручья в безвестных берегах,
Виющийся в дубраве!
Счастлив он, если мог цветы струей омыть
И ропотом приятным
Младых любовников шаги остановить,
И сердце их склонить к мечтаньям благодатным.

1815 или 1816

ПОГРЕБ

С Олимпа изгнанны богами,
Веселость с Истиной святой
Шатались по свету друзьями,
Людьми довольны и собой;

Но жизнь бродяг им надоела,
Наскучила и дружбы связь,
В колодезь Истина засела,
Веселость в погреб убралась.
На юность вечную от граций
С патентами Анакреон
И мудрый весельчак Гораций
К ней приходили на поклон.
Она их розами венчала,
И розы дышат их теперь;
Она Державину внушала,
Когда ковша он славил дщерь.
Она в Мелецком воскресила
На хладном севере Шолье,
И с Дмитревым друзей манила
На скромное житье-бытье.
И Пиндар наш — когда сослаться
На толки искренних повес —
Охотник в погреб был спускаться,
Чтобы взноситься до небес!
Почто же наших дней поэты
Не подражают старикам,
И музы их, наяды Леты,
Зевая, сон наводят нам?
Или, покрывшись облаками,
Не хочет Феб на нас взглянуть?
Нет! к славе путь зарос меж нами
За то, что в погреб брошен путь!
От принужденья убегает
Подруга резвости, любовь;
Она в гостиной умирает,
А в погребе живится вновь.
У бар частехонько встречаешь,
Что разум заменен вином,
Перед столом у них зеваешь,
Но не зеваешь за столом.
Друзья! вы в памяти храните,
Что воды воду лишь родят, —
Восторг стихов вы там ищите,
Где расцветает виноград.
О, если б Бахус в наказанье

Мне шайку водопийц отдал,
Я всех бы их на покаянье
В порожний погреб отослал!

<1816>

К ОВЕЧКАМ

Овечки милые! как счастлив ваш удел.
Недаром вашей мы завидуем судьбине!
И женский Теокрит в стихах вас стройных пел,
Для вас луга цветут, для вас ручей в долине
С игривым шумом льет студеные струи,
При вас младой Ликас поет природы радость,
Приветствуя рассвет алеющей зари.
С каким надзором он лелеет вашу младость,
Как охраняет вас в тиши родимых мест!
А там, как вскормит он, взрастит рукой
прилежной, —
Зажарит, и с пастушкой нежной
О праздник за обедом съест.

<1816>

ОБЖОРСТВО

Один француз
Жевал арбуз.
Француз хоть и маркиз французский,
Но жалует вкус русский,
И сладкое глотать он не весьма ленив.
Мужик, вскочивши на осину,
За обе щеки драл рябину,
Иль, попросту сказать, российский чернослив:
Знать, он в любви был несчастлив!
Осел, увидя то, ослины лупит взоры
И лает: «Воры! воры!»
Но наш француз
С рожденья был не трус;
Мужик же тож не пешка,
И на ослину часть не выпало орешка.

Здесь в притче кроется толикий узл на вкус:
Что госпожа ослица,
Хоть с лаю надорвись, не будет ввек лисица.

<1816>

* * *

Зачем Фемиды лик ваятели, пииты
С весами и мечом привыкли представлять?
Дан меч ей, чтоб разить невинность без защиты,
Весы, чтоб точный вес червонцев узнавать.

1816

К БАТЮШКОВУ

Мой милый, мой поэт,
Товарищ с юных лет!
Приду я неотменно
В твой угол, отчужденный
Презрительных забот,
И шума, и хлопот,
Толпящихся бессменно
У Крезовых ворот.
Пусть, златом не богаты,
Твоей смиренной хаты
Блюстители-пенаты
Тебя не обрекли
За шумной колесницей
Полубогов земли
Тащить шаги твои,
И в дом твой не ввели
Фортуны с вереницей
Затейливых страстей.
Пусть у твоих дверей
Привратник горделивый
Не будет с булавой
Веселости игривой
Отказывать, спесивой
Качая головой;

А скуке, шестерней
Приехавшей шумливо
С гостями позевать,
Дверь настежь растворять
Рукою торопливой!
И пусть в прихожей звон
О друге не доложит;
Но сердце, статься может,
Шепнет тебе: вот он!
Пусть в храмине опрятной,
Уютной и приятной
Для граций и друзей,
Слепить не будут взоров
Ни выделка уборов —
Труд тысячи людей, —
Ни белизна фарфоров,
Ни горы хрусталей,
Сияющих, но бренных,
Как счастье прилепленных
К их блеску богачей,
Фортуны своенравной
Балованных детей!
Природа-мать издавна
Поэтам избрала
Тропинку здесь простую,
Посредственность златую
В подруги им дала.
Виргилия приятель,
Любимый наш певец,
Не приторный ласкатель,
Не суетный мудрец,
Гораций не был знатным,
Под небом благодатным,
Тибурских рощ в тени
Он радостные дни
Умеренности ясной
С улыбкой посвящал,
Друг Делии прекрасной,
Богатства не желал.
И староста Пафоса,
Девицами Теоса
При сединах увит,

Не в мраморных чертогах,
Не при златых порогах
Угащивал харит!
Стихов своих игривых
Мне свиток приготовь,
Стихов красноречивых,
И пылких и счастливых,
Где дружбу и любовь
Ты, сердцем вдохновенный,
Поешь непринужденно,
И где пленяешь нас
Не громом пухлых фраз
Раздутых Цицеронов,
Не пискотнею стонов
Тщедушных селадонов,
Причесанных в тупей,
И не знобящим жаром,
Лирическим угаром
Пиндаров наших дней!
Расколом к смертной казни
Приговоренный Вкус,
Наставник лучший муз,
Исполненный боязни,
Укрылся от врагов
Под твой счастливый кров.
Да будет неотлучно
Тебя он осенять,
Да будет охранять
Тебя от шайки скучной
Вралей, вестовщиков,
И прозы и стихов
Работников поденных,
Невежеством клейменных
Пристрастия рабов!
Да, убояся бога,
Живущего с тобой,
Дверей твоих порога
Не осквернят ногой.
Да западет дорога
К тебе, любимец мой,
Сей сволочи бездумной,
И суетной и шумной

Толпе забот лихих,
Как древле коршун жадный,
Грызущих беспощадно
Усердных слуг своих!
Но резвость, но веселья —
Товарищи безделья —
И Вакх под вечерок
С Токаем престарелым
И причетом веселым
Пускай полетом смелым
В твой мчатся уголок;
А там любовь позднее
Пускай в условный срок
Придет к тебе, краснея, —
И двери на замок!
О друг мой! мне уж зрится:
Твой скромный камелек
Тихохонько курится,
Вокруг него садится
Приятелей кружок;
Они слетелись вместе
На дружеский твой зов
Из разных все концов.
Здесь на почетном месте
Почетный наш поэт,
Белева мирный житель
И равнодушный зритель
Приманчивых сует.
Жуковский, в ранни годы
Гораций-Эпиктет.
Здесь с берега свободы,
Художеств, чудаков,
Карикатур удачных,
Радклиф, Шекспиров мрачных,
Ростбифа и бойцов —
Наш Северин любезный;
Пусть нас делили бездны
Зияющих морей,
Но он не изменился
И другом возвратился
В объятия друзей!

Питомец сладострастья,
Друг лакомых пиров,
Красавиц и стихов,
Дитя румяный счастья,
И ты, Тургенев, к нам!
И ты, наследник тула
Опасных стрел глупцам
Игривого Катулла,
О Блудов, наш остряк!
Завистников нахальных
И комиков печальных
Непримиримый враг!
Круг избранный, бесценный
Товарищей-друзей!
Вам дни мои смиренны
И вам души моей
Обеты сокровенны!
Меня не будут зреть
В прислужниках гордыни,
И не заманит сеть
Меня слепой богини!
Вам, вам одним владеть
Веселыми годами,
Для вас хочу и с вами
Я жить и умереть!

1816

К ПЕРУ МОЕМУ

Перо! тебя давно бродящая рука
По преданной тебе бумаге не водила;
Дремотой праздности окованы чернила;
И муза, притаясь, любимцу ни стишка
Из жалости к нему и ближним не внушила.
Я рад! пора давно расстаться мне с тобой.
Что пользы над стихом других и свой покой,
Как труженик, губить с утра до ночи темной
И теребить свой ум, чтоб шуткою нескромной
Улыбку иногда с насмешника сорвать?
Довольно без меня здесь есть кому писать;

И книжный ряд моей не алчет скудной дани.
К тому ж, прощаясь, я могу тебе сказать:
С тобой не наживу похвал себе, а брани.
Обычай дурен твой, пропасть не долго с ним;
Не раз против меня ты подстрекало мщенье.
Рожденный сердцем добр, я б всеми был любим,
Когда б не ты меня вводило в искушенье.
Как часто я, скрепясь, поздравить был готов
Иного с одою, другого с новой драмой,
Но ты меня с пути сбивало с первых слов!
Приветствием начну, а кончу эпиграммой.
Что ж тут хорошего? В посланиях моих
Нескромности твоей доносчик каждый стих.
Всегда я заведен болтливостью твоею;
Всё выскажешь тотчас, что на сердце имею.
Хочу ли намекнуть об авторе смешном?
Вздыхалов, как живой, на острие твоем.
Невеждой нужно ль мне докончить стих начатый?
То этот, то другой в мой стих идет заплатой.
И кто мне право дал, вооружась тобой,
Парнасской братьи быть убийцей-судией?
Мне ль, славе чуждому, других в стихах бесславить?
Мне ль, быв защитником неправедной войны,
Бессовестно казнить виновных без вины?
Или могу в вину по чести я поставить
Иному комику, что за дурной успех
Он попытался нас трагедией забавить,
Когда венчал ее единодушный смех?
Прямой талант — деспо́т, и властен он на сцене
Дать Талии колпак, гремушку Мельпомене.
Иль, вопреки уму, падет мой приговор
На од торжественных торжественный набор,
Сих обреченных жертв гостеприимству Леты,
Которым душат нас бездушные поэты?
Давно — не мне чета — от них зевает двор!
Но как ни оскорбляй рифмач рассудок здравый,
В глазах увенчанной премудрости и славы
Под милостивый он подходит манифест.
Виновник и вина — равно забыты оба;
Без нас их колыбель стоит в преддверьи гроба.
Пускай живут они, пока их моль не съест!
Еще когда б — чужих ошибок замечатель —

Ошибок чужд я был, не столько б я робел,
С возвышенным челом вокруг себя смотрел,
И презрен был бы мной бессильный неприятель.
Но утаить нельзя, в стихах моих пятно
В угоду критике найдется не одно.
Язык мой не всегда бывает непорочным,
Вкус верным, чистым слог, а выраженье точным;
И часто, как примусь шутить насчет других,
Коварно надо мной подшучивает стих.
Дай только выйти в свет, и злоба ополчится!
И так уже хотел какой-то доброхот
Мидасовым со мной убором поделиться.
Дай срок! и казни день решительный придет.
Обиженных творцов, острящих втайне жалы,
Восстанет на меня злопамятный народ.
Там бранью закипят досужные журналы;
А здесь, перед людьми и небом обвиня,
Смущенный моралист безделкою невинной
За шутку отомстит мне проповедью длинной,
От коей сном одним избавлюсь разве я.
Брань ядовитая — не признак дарованья.
Насмешник может быть сам жертвой осмеянья.
Не тщетной остротой, но прелестью стихов
Жуковский каждый час казнит своих врагов,
И вкуса, и ума врагов ожесточенных.
В творениях его, бессмертью обреченных,
Насмешек не найдет злословцев жадный взор;
Но смелый стих его бледнеющим зоилам
Есть укоризны нож и смерти приговор.
Пример с него бери! Но если не по силам
С его примером мне успехам подражать,
То лучше до беды бумаге и чернилам,
Перо мое, поклон нам навсегда отдать.
Расторгнем наш союз! В нем вред нам неизбежный;
В бездействии благом покойся на столе;
О суете мирской забудь в своем угле,
И будь поверенным одной ты дружбы нежной.
Но, естьли верить мне внушениям ума,
Хоть наш разрыв с тобой и мудр, и осторожен,
Но, с грустью признаюсь, не может быть надежен;
Едва ль не скажет то ж и опытность сама.

Героев зрели мы, с полей кровавой бури
Склонившихся под сень безоблачной лазури
И в мирной тишине забывших браней гром;
Вития прошлых битв — меч праздный со щитом
В обители висел в торжественном покое;
Семейный гражданин не думал о герое.
Корысти алчный раб, родных брегов беглец,
Для злата смерть презрев средь бездны
разъяренной,
Спокойный домосед, богатством пресыщенный,
Под кровом отческим встречает дней конец.
Любовник не всегда невольником бывает.
Опомнится и он! — оковы разрывает
И равнодушно зрит, отступник красоты,
Обманчивый восторг поклонников мечты.
Есть свой черед всему — трудам, успокоенью;
И зоркий опыт вслед слепому заблужденью
С светильником идет по скользкому пути.
Рассудку возраст есть; но в летописях света
Наш любопытный взгляд едва ль бы мог найти
От ремесла стихов отставшего поэта.
Он пишет, он писал, он будет век писать.
Ни летам, ни судьбе печати не сорвать
С упрямого чела служителя Парнаса.
В пеленках Аруэт стихами лепетал,
И смерть угрюмую стихами он встречал.
Несчастия от муз не отучили Тасса.
И Бавий наш в стране, где зла, ни мести нет
(О тени славные! светила прежних лет!
Простите дерзкое имен мне сочетанье),
И Бавий — за него пред небом клятву дам —
По гроб не изменит ни рифмам, ни свисткам.
Вотще насмешки, брань и дружбы увещанье!
С последним вздохом он издаст последний стих.
Так, видно, вопреки намерений благих,
Хоть Бавия пример и бедствен и ужасен,
Но наш с тобой разрыв, перо мое, напрасен!
Природа победит! И в самый этот час,
Как проповедь себе читал я в первый раз,
Коварный демон рифм, злословцам потакая
И слабый разум мой прельщеньем усыпляя,
Без ведома его, рукой моей водил

И пред лицом судей с избытком отягчил
Повинную главу еще виною новой.
С душою робкою, к раскаянью готовой,
Смиряюсь пред судьбой и вновь дружусь с пером.
Но Бавия вдали угадываю взором:
Он место близ себя, добытое позором,
Указывает мне пророческим жезлом.

1816

К ОГАРЕВОЙ

Ты требуешь стихов моих,
Но что достойного себя увидишь в них?
Язык богов, язык святого вдохновенья —
В стихах моих язык сухого поученья.
Я, строгой истиной вооружая стих,
Был чужд волшебства муз и вымыслов счастливых,
К которым грации, соперницы твои,
По утренним цветам любимцев горделивых
Ведут, их озарив улыбкой в юны дни.
Повиновение всегда к тебе готово.
Но что узнаешь ты, прочтя стихи мои?
Зевая, может быть, поверишь мне на слово,
Что над славянскими я одами зевал,
Что комик наш Гашпар плач Юнга подорвал,
Что трагик наш Гашпар Скаррона побеждал,
Что, маковым венком увенчанный меж нами,
Сей старец-юноша, певец Анакреон
Не счастьем, не вином роскошно усыплен,
Но вялыми стихами;
Что Сафе нового Фаона бог привел,
Ей в переводчики убийцу нарекая,
Что сей на Грея был и на рассудок зол,
А тот, чтоб запастись местечком в недрах рая,
Водой своих стихов Вольтера соль развел.
Но мне ль терзать твое терпение иску́сом
И вызывать в глазах твоих из тьмы гробов
Незнаемых досель ни красотой, ни вкусом,
Смертельной скукою живущих мертвецов?

Тебе ль, благих богов любимице счастливой,
Рожденной розы рвать на жизненном пути,
Тебе ли, небесам назло, мне поднести
Венок, сплетенный мной из терния с крапивой?
Когда Мелецкого иль Дмитриева дар
Питал бы творческою силой
В груди моей, как пепл таящийся остылой,
Бесплодный стихотворства жар,
Когда бы, прелестей природы созерцатель,
Умел я, как они, счастливый подражатель,
Их новой прелестью стихов одушевлять,
Иль, тайных чувств сердец удачный толкователь,
Неизъяснимое стихами изъяснять, —
Почувствовавши муз святую благодать,
Пришел бы я с душой, к изящному пристрастной,
Природы красоте учиться при тебе;
Но, заглядевшися на подлинник прекрасный,
Забыл бы, верно, я о списке и себе.

1816

Д. В. ДАВЫДОВУ

(1816 года)

Давыдов! где ты? что ты? сроду
Таких проказ я не видал;
Год канул вслед другому году...
Или, перенимая моду
Певцов конфект и опахал
И причесав для них в угоду
Жеманной музе мадригал,
Скажу: май два раза природу
Зеленым бархатом постлал,
И разогрел дыханьем воду,
И вечных граций хороводу
Резвиться в рощах заказал, —
С тех пор, как от тебя ни строчки,
Ни двоеточия, ни точки
Хоть на смех я не получал.
Чем мне почесть твое забвенье?
Теряюсь я в недоуменье.

Иль, как мундирный идеал,
Под ношей тучных эполетов,
Ты вместо речи и ответов
Плечом да шпорой говоришь,
И лучшего пера не знаешь,
Как то, которым щеголяешь
И гордо с шляпы шевелишь?
Иль дружба, может быть, в отставке,
Отбитая сестрой своей,
Сидит печально на прилавке
У непризнательных дверей.
И для отсутственных друзей
Помина нет в походной ставке
Непостоянных усачей?
Ты наслаждайся с новой гостью,
Но берегись, чтоб наконец,
Платя за хлеб-соль сердца злостью,
Не захозяйничал жилец.
Иль, может быть, мудрец угрюмый,
На светлое свое чело
Ты, розам радостей назло,
Навел бразды спесивой думы;
Оценщик строгий строгих благ,
Страшась любви и дружбы ныне,
От двух сердечных побродяг
Ты держишь сердце в карантине.
Чем не пошутит хитрый враг?
Уж верить ли моим гаданьям?
Сказав *прости* очарованьям,
Назло пленительных грехов,
И упоительным мечтаньям
Весны, веселий и стихов,
Любви призыву ты не внемлешь,
Но в клире нравственных певцов
Перо Хераскова приемлешь
И мысленно заране дремлешь
В академических венках!
В твоем камине на кострах
Пылают: красоты угодник —
Роскошной Душеньки певец,
Теоса мудрый греховодник
И соблазнительный мудрец —

Наставник счастия Гораций;
И окаянного Парни,
Поклонника единых граций,
Которому и ты сродни
(Сказать не в гнев, а мимоходом),
Уж не заставишь в оны дни
Ожить под русским переводом.
Постясь и чувством и умом,
Не знаешь прежних мясоедов,
Ни шумных дружеских обедов,
Ни тайных ужинов вдвоем,
Где с полночи до ранней зори
Веселье бодро спорит с сном.
Теперь живой memento mori,
Мороча и себя и нас,
Не испугавшись Молиера,
Играешь ролю лицемера;
Иль, может... но на этот раз
Моим поклепам и догадкам
И стихотворческим нападкам
Пора мне положить конец.
Лихого Бурцова знакомец,
Тройного хмеля будь питомец —
Вина, и песен, и любви,
Или, мудрец тяжеловесный,
Свой стих веселый протрезви
Водою нравственности пресной, —
До этого мне дела нет:
Рядись как хочешь на досуге,
Но мне на голос дай ответ,
И, помня о старинном друге,
Ты будь Денисом прежних лет!

К ИТАЛЬЯНЦУ, ВОЗВРАЩАЮЩЕМУСЯ В ОТЕЧЕСТВО

(1816)

Под небом голубым Италии прекрасной,
В отечестве надежд и счастья сладких снов,
Где воздух напоен любовью сладострастной,
Где мирт колеблется и блеск златых плодов

В густой тени дерев с лучами дня играет,
Да жизни пред тобой всегда светлеет путь,
Да радость и любовь чело твое венчает,
Но северных снегов не позабудь!

В стране, где гордый Тибр златые катит воды,
Где Капитолиум вознес свою главу,
Воспомни прах Кремля, сей памятник свободы,
Воспомни славную в падении Москву!
Иди, куда тебя отца зовут моленья;
В объятиях согрей ты старческую грудь,
Но в первой радости любви и умиленья
Нас, северных друзей, не позабудь.

* * *

Когда беседникам Державин пред концом
Жилища своего не завещал в наследство,
Он знал их твердые права на желтый дом,
И прочил им соседство.

1816 (?)

* * *

Спасителя рожденьем
Встревожился народ;
К малютке с поздравленьем
Пустился всякий сброд:
Монахи, рифмачи, прелестники, вельможи —
Иной пешком, другой в санях,
Дитя глядит на них в слезах
И вопит: «Что за рожи!»

Совет наш именитый,
И в лентах и в звездах,
Приходит с шумной свитой —
Малютку пронял страх.
«Не бойся, — говорят, — сиди себе в покое,
Не обижаем никого.

Мы, право, право, ничего,
Хоть нас число большое».

Наш Неккер, запыхаясь,
Спасителю сквозь слез,
У ног его валяясь,
Молитву произнес:
«Мой боже, сотвори ты в нашу пользу чудо!
Оно тебе как плюнуть раз,
А без него, боюсь, у нас
Финансам будет худо!

Склонись на просьбу нашу.
Рука твоя легка,
А для тебя я кашу
Начну варить пока.
О мастерстве моем уже днесь всякий сведал,
Я кашу лучше всех варю,
И с той поры, как взят к царю,
Я только то и делал».

Сподвижник знаменитый
Его достойных дел,
Румянами покрытый,
К Марии вдруг подсел.
Он говорит: «Себе подобного не знаю,
Военным был средь мирных лет,
Теперь, когда торговли нет,
Торговлей управляю».

Пронырливый от века
Сибирский лилипут,
Образчик человека,
Явился Пестель тут.
«Что правит бог с небес землей —
ни в грош не ставлю;
Диви, пожалуй, он глупцов,
Сибирь и сам с Невы брегов
И правлю я, и граблю!»

К Христу на новоселье
Несет министр овец

Российское изделье,
Суконный образец!
«Я знаю, — говорит, — сукно мое дрянное,
Но ты носи, любя меня,
И в «Северной» о друге я
Скажу словцо-другое!»

Вдруг слышен шум у входа:
Березинский герой
Кричит толпе народа:
«Раздвиньтесь: я герой!»
«Пропустимте его, — вдруг каждый повторяет, —
Держать его грешно бы нам,
Мы знаем, он других и сам
Охотно пропускает».

Украшенный венками,
Приходит Витгенштейн,
Герою рифмачами
Давно приписан Рейн!
Он говорит: «Бог весть, как с вами очутился,
Летел я к славе налегке,
Летел, летел с мечом в руке,
Но с Люцена я сбился!»

Нос кверху вздернув гордо
И нюхая табак,
Столп государства твердый,
А просто: злой дурак!
Подводит из Москвы полиции когорту;
Христос, ему отбривши спесь,
Сказал: «Тебе не место здесь, —
Ты убирайся к черту!»

Захаров пресловутый,
Присяжный славянин,
Оратор наш надутый,
Беседы исполин,
Марии говорит: «Не занят я житейским,
Пишу наитием благим,
И всё не языком людским,
А самым уж библейским!»

Дородный Карабанов
Младенцу на досуг
Выносит из карманов
Стихов тяжелый пук.
Тот смотрит на него и рвется из пеленок,
Но, хорошенько рассмотрев,
Сказал: «Наш разживает хлев,
К ослу пришел теленок!»

С поэмою холодной
Студеный Шаховской
Приходит в час свободный
Читать акафист свой.
При первых двух стихах дитя прилег головкой.
«Спасибо! — дева говорит. —
Читай, читай, смотри, как спит,
Баюкаешь ты ловко!»

К Христу оратор новый
Подходит, Филарет:
«К услугам вам готовый,
Аз невский Боссюэт!
Мне, право, никогда быть умником не снилось,
Но тот шепнул, другой сказал.
И что я в умники попал,
Нечаянно случилось!»

К Марии благодатной
Растрепанный бежит
Кликушка князь Шахматный,
Бьет об грудь и визжит:
«Святая! будь мне щит, я вовсе погибаю;
Лукавый смысл мой помрачил,
Шишковым я испорчен был,
Очисти! умоляю!»

Хвостовы пред малюткой
Друг с другом входят в бой;
Один с старинной шуткой,
С мешком стихов другой.
Один кричит: «Словцо!» Другой мяучит: «Ода!»
Христос-малютка, их прослушав вздор,

Сказал, возвыся к небу взор:
«Несчастная порода!»

За ними пара Львовых
Выходит из толпы,
Беседы стен Петровых
Надежные столпы.
Прослушавши Христос приветствие их длинно
И смеря с ног до головы,
«Уж не Хвостовы ли и вы?» —
Спросил он их невинно.

Трактат о воспитаньи
Приносит новый Локк:
«В малютке при стараньи,
Поверьте, будет прок.
Отдайте мне его, могу на Нижний смело
Сослаться об уме своем.
В Гишпаньи, не таюсь грехом,
Совсем другое дело!

Горация на шею
Себе я навязал, —
Я мало разумею,
Но много прочитал!
Малютку рад учить всем лексиконам в мире,
Но математике никак,
Боюсь, докажет — я дурак,
Как дважды два четыре!»

К Марии с извиненьем
Подкрался Горчаков,
Удобривая чтеньем
Похвальных ей стихов.
Она ему в ответ: «Прошу, не извиняйся!
Я знаю, ты ругал меня,
Ругай и впредь, позволю я,
Но только убирайся!»

Беседы сын отважный,
Пегаса коновал,
Еров злодей присяжный,
Языков тут сказал:

«Колена преклонив, молю я Иисуса:
Храни, спаси нас от еров,
Как я спасаюсь от чтецов,
От смысла и от вкуса».

Между 1814 и 1817

ДОВЕДЬ

Попавшись в доведи на шашечной доске,
Зазналась шашка пред другими,
Забыв, что из одной она и кости с ними
И на одном сработана станке.
Игрок по прихоти сменил ее другою
И продолжал игру, не думая о ней.
При счастье чванство впрок бывает у людей;
Но что, скажите, в нем, как счастье к нам спиною?

О доведи-временщики
На шахматном паркете!
Не забывайте, что на свете
Игрушки царской вы руки.

1817

УСТАВ СТОЛОВОЙ

(Подражание Панару)

В столовой нет отлик местам.
Как повар твой ни будь искусен,
Когда сажаешь по чинам,
Обед твой лакомый невкусен.
Равно что верх стола, что низ,
Нет старшинства у гастронома:
Куда попал, тут и садись,
Я и в гостях хочу быть дома.

Простор локтям: от тесноты
Не рад и лучшему я блюду;
Чем дале был от красоты,
Тем ближе к ней я после буду.

К чему огромный ряд прикрас,
И блюда расставлять узором?
За стол сажусь я не для глаз,
И сыт желаю быть не взором.

Спаси нас, боже, за столом
От хлопотливого соседа:
Он потчеваньем, как ножом,
Пристанет к горлу в час обеда.
Не в пору друг тошней врага!
Пусть каждый о себе хлопочет,
И сам свой барин и слуга:
По воле пьет и ест как хочет.

Мне жалок пьяница-хвастун,
Который пьет не для забавы:
Какой он чести ждет, шалун?
Одно бесславье пить из славы.
На ум и взоры ляжет тьма,
Когда напьешься без оглядки, —
Вино пусть нам придаст ума,
А не мутит его остатки.

Веселью будет череда;
Но пусть и в самом упоенье
Рассудка легкая узда
Дает веселью направленье.
Порядок есть душа всего!
Бог пиршеств по уставу правит;
Толстой, верховный жрец его,
На путь нас истинный наставит:

Гостеприимство — без чинов,
Разнообразность — в разговорах,
В рассказах — бережливость слов,
Холоднокровье — в жарких спорах,
Без умничанья — простота,
Веселость — дух свободы трезвой,
Без едкой желчи — острота,
Без шутовства — соль шутки резвой.

Первая половина 1817

ПРОЩАНИЕ С ХАЛАТОМ

Прости, халат! товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный,
Но тихий мир, где света блеск и шум
Мне в забытьи, не приходил на ум.
Искусства жить недоученный школьник,
На поприще обычаев и мод,
Где прихоть-царь тиранит свой народ,
Кто не вилял? В гостиной я невольник,
В углу своем себе я господин,
Свой меря рост не на чужой аршин.
Как жалкий раб, платящий дань злодею,
И день и ночь, в неволе изнурясь,
Вкушает рай, от уз освободясь;
Так, сдернув с плеч гостиную ливрею
И с ней ярмо взыскательной тщеты,
Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом.
С тобой меня чуждались суеты,
Ласкали сны и нянчили мечты.
У камелька, где яркою струею
Алел огонь, вечернею порою,
Задумчивость, красноречивый друг,
Живила сон моей глубокой лени.
Минувшего проснувшиеся тени
В прозрачной тьме толпилися вокруг;
Иль в будущем, мечтаньем окриленный,
Я рассекал безвестности туман,
Сближая даль, жил в жизни отдаленной
И, с истиной перемешав обман,
Живописал воздушных замков план.
Как я в твоем уступчивом уборе
В движеньях был портного не рабом,
Так мысль моя носилась на просторе
С надеждою и памятью втроем.
В счастливы дни удачных вдохновений,
Когда легко, без ведома труда,
Стих под перо ложился завсегда,
И рифма, враг невинных наслаждений,
Хлыстовых бич, была ко мне добра;

Как часто, встав с Морфеева одра,
Шел прямо я к столу, где Муза с лаской
Ждала меня с посланьем или сказкой,
И вымыслом, нашептанным вчера.
Домашний мой наряд ей был по нраву:
Прием ее, чужд светскому уставу,
Благоволил небрежности моей.
Стих вылетал свободней и простей;
Писал шутя, и в шутке легкокрылой
Работы след улыбки не пугал.
Как жалок мне любовник муз постылый,
Который нег халата не вкушал!
Поклонник мод, как куколка одетый,
И чопорным восторгом подогретый,
В свой кабинет он входит, как на бал.
Его цветы — румяны и белила,
И, обмакнув в душистые чернила
Перо свое, малюет мадригал.
Пусть грация жеманная в уборной
Дарит его улыбкою притворной
За то, что он выказывал в стихах
Слог расписной и музу в завитках;
Но мне пример: бессмертный сей неряха —
Анакреон, друг красоты и Вакха,
Поверьте мне, в халате пил и пел;
Муз баловень, харитами изнежен,
И к одному веселию прилежен,
Играя, он бессмертие задел.
Не льщусь его причастником быть славы,
Но в лени я ему не уступлю:
Как он, люблю беспечности забавы,
Как он, досуг и тихий сон люблю.
Но скоро след их у меня простынет:
Забот лихих меня обступит строй,
И ты, халат! товарищ лучший мой,
Прости! тебя неверный друг покинет.
Теснясь в рядах прислуженцев властей,
Иду тропой заманчивых сетей.
Что ждет меня в пути, где под туманом
Свет истины не различишь с обманом?
Куда слепец, неопытный слепец,
Я набреду? где странствию конец?

Как покажусь я перед трон мишурный
Владычицы, из своенравной урны
Кидающей подкупленной рукой
Дары свои на богомольный рой,
Толпящийся с кадилами пред нею?
Заветов я ее не разумею, —
Притворства чужд и принужденья враг,
От юных дней ценитель тихих благ.
В неловкости, пред записным проворством
Искусников, воспитанных притворством,
Изобличит меня мой каждый шаг.
И новичок еще в науке гибкой:
Всем быть подчас и вместе быть ничем,
И шею гнуть с запасною улыбкой
Под золотой, но тягостный ярем;
На поприще, где беспрестанной сшибкой
Волнуются противников ряды,
Оставлю я на торжество вражды,
Быть может, след моей отваги тщетной
И неудач постыдные следы.
О мой халат, как в старину приветный!
Прими тогда в объятия меня,
В тебе найду себе отраду я.
Прими меня с досугами, мечтами,
Венчавшими весну мою цветами.
Сокровище благ прежних возврати;
Дай радость мне, уединясь с тобою,
В тиши страстей, с спокойною душою,
И, не краснев пред тайным судиею,
Бывалого себя в себе найти.
Согрей во мне в холодном принужденье
Остывший жар к благодеяньям муз,
И гений мой, освободясь от уз,
Уснувшее разбудит вдохновенье.
Пусть прежней вновь я жизнью оживу,
И, сладких снов в волшебном упоенье
Переродясь, пусть обрету забвенье
Всего того, что видел наяву.

21 сентября 1817
Остафьево

К БАТЮШКОВУ

Шумит по рощам ветр осенний,
Древа стоят без украшений,
Дриады скрылись по дуплам;
И разувенчанная Флора,
Воздушного не слыша хора,
В печали бродит по садам.
Певец любви, поэт игривый
И граций баловень счастливый,
Стыдись! тебе ли жить в полях?
Ты ль будешь в праздности постылой
В деревне тратить век унылый,
Как в келье дремлющий монах?
Нет! быть отшельником от света —
Ни славы в том, ни пользы нет;
Будь терпелив, приспеют лета —
И сам тебя оставит свет.
Теперь, пока еще умильно
Глядят красавицы на нас,
И сердце, чувствами обильно,
Знакомо с счастием подчас,
Пока еще у нас играет
Живой румянец на щеках,
И радость с нами заседает
На шумных Вакховых пирах, —
Не будем, вопреки природы
И гласу сердца вопреки,
Свои предупреждая годы,
Мы добиваться в старики!
Доколе роз в садах не тронет
Мертвящей осени рука,
Любимца Флоры, мотылька,
Ничто от розы не отгонит.
Пример и мы с него возьмем!
Как мотылек весною к розе,
И мы к веселью так прильнем,
Смеяся времени угрозе!
Ах! юностью подорожим!
В свое пусть старость придет время,
Пусть лет на нас наложит бремя —
Навстречу к ней не поспешим.

Любви, небесным вдохновеньям,
Забавам, дружбе, наслажденьям
Дней наших поручая бег,
Судьбе предавшися послушно,
Ее ударов равнодушно
Дождемся мы средь игр и нег.
Когда же смерть нам в дверь заглянет
Звать в заточение свое,
Пусть лучше на пиру застанет,
Чем мертвыми и до нее.

1817

* * *

Наш свет — театр; жизнь — драма; содержатель —
Судьба; у ней в руке всех лиц запас:
Министр, богач, монах, завоеватель
В условный срок выходит напоказ.
Простая чернь, отброшенная знатью,
Мы — зрители, и, дюжинную братью,
В последний ряд отталкивают нас.
Но платим мы издержки их проказ,
И уж зато подчас, без дальних справок,
Когда у них в игре оплошность есть,
Даем себе потеху с задних лавок
За свой алтын освистывать их честь.

<1818>

УХАБ

Над кем судьбина не шутила?
И кто проказ ее не раб?
Слепая приговор скрепила —
И с бала я попал в ухаб!

В ухабе сидя, как в берлоге,
Я на досуге рассуждал,
И в свете, как и на дороге,
Ухабов много насчитал.

Ухабист путь к столице счастья,
Но случай будь на облучке —
Ни ям не бойся, ни ненастья;
Засни — проснешься, сон в руке!

Тебя до места, друг убогий,
Достоинство не довезет;
Наедет случай — и с дороги
Как раз в ухаб тебя столкнет.

Чем груза более в поклаже,
Чем выше ход твоих саней,
Тем путь опасней! Яма та же
В смиренных розвальнях сносней!

Хоть выровнен паркет придворный,
Но встретишь ямы и на нем;
Простяк в них сядет, а проворный
Готов вскарабкаться ползком.

Коварный друг с улыбкой сладкой
Вам руку ласки подает,
А сам, того и жди, украдкой
Другой рукой в ухаб толкнет.

Рифмач! когда в тебе есть совесть,
В чужие сани не садись:
Ты Фаэтона вспомни повесть,
И сесть в ухаб поберегись!

Друзья! для вас моя проказа!
Я приговора жду от вас:
С хребта крылатого Пегаза
В ухаб попал ли в добрый час?

Февраль 1818

ПЕТЕРБУРГ

(ОТРЫВОК)

(1818 года)

Я вижу град *Петров* чудесный, величавый,
По манию Петра воздвигшийся из блат,
Наследный памятник его могущей славы,
Потомками его украшенный стократ!
Повсюду зрю следы великия державы,
И русской славою след каждый озарен.
Се Петр, еще живый в меди красноречивой!
Под ним полтавский конь, предтеча горделивый
Штыков сверкающих и веющих знамен.
Он царствует еще над созданным им градом,
Приосеня его державною рукой,
Народной чести страж и злобе страх немой.
Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом,
Нести к твоим брегам кровавый меч войны,
Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,
Готовый пасть на них с отважной крутизны.
Бегут — и где они? — <и> снежные сугробы
В пустынях занесли следы безумной злобы.
Так, Петр! ты завещал свой дух сынам побед,
И устрашенный враг зрел многие Полтавы.
Питомец твой, громов метатель двоеглавый,
На поприще твоем расширил свой полет.
Рымникский пламенный и Задунайский твердый!
Вас здесь согражданин почтит улыбкой гордой.

Но жатвою ль одной меча страна богата?
Одних ли громких битв здесь след запечатлен?
Иные подвиги, к иным победам ревность
Поведает нам глас красноречивых стен, —
Их юная краса затмить успела древность.
Искусство здесь везде вело с природой брань
И торжество свое везде знаменовало;
Могущество ума — мятеж стихий смиряло,
И мысль, другой Алкид, с трудов взыскала дань.
Ко славе из пелен Россия возмужала,
И из безвестной тьмы к владычеству прешла.
Так ты, о дщерь ее, как манием жезла,

Честь первенства, родясь в столицах, восприяла.
Искусства Греции и Рима чудеса —
Зрят с дивом над собой полночны небеса.
Чертоги кесарей, сады Семирамиды,
Волшебны острова Делоса и Киприды!
Чья смелая рука совокупила вас?
Чей повелительный, назло природе, глас
Содвинул и повлек из дикия пустыни
Громады вечных скал, чтоб разостлать твердыни
По берегам твоим, рек северных глава,
Великолепная и светлая Нева?
Кто к сим брегам склонил торговли алчной крылья,
И стаи кораблей, с дарами изобилья,
От утра, вечера и полдня к нам пригнал?
Кто с древним Каспием Бельт юный сочетал?
Державный дух Петра и ум Екатерины
Труд медленных веков свершили в век единый.
На Юге меркнул день — у нас он рассветал.
Там предрассудков меч и светоч возмущенья
Грозились ринуть в прах святыню просвещенья.
Убежищем ему был Север, и когда
В Европе зарево крамол зажгла вражда,
И древний мир вспылал, склонясь печальной выей,—
Дух творческий парил над юною Россией
И мощно влек ее на подвиг бытия.
Художеств и наук блестящая семья
Отечеством другим признала нашу землю.
Восторгом смелый путь успехов их объемлю
И на рассвете зрю лучи златого дня.
Железо, покорясь влиянию огня,
Здесь легкостью дивит в прозрачности ограды,
За коей прячется и смотрит сад прохлады.
Полтавская рука сей разводила сад!
Но что в тени его мой привлекает взгляд?
Вот скромный дом, ковчег воспоминаний славных!
Свидетель он надежд и замыслов державных!
Здесь мыслил Петр об нас. Россия! здесь твой храм!
О, если жизнь придать бесчувственным стенам
И тайны царских дум извлечь из хладных сводов,
Какой бы мудрости тот глас отзывом был,
Каких бы истин гром незапно поразил
Благоговейный слух властителей народов!

Там зодчий, силясь путь к бессмертию простерть,
Возносит дерзостно красивые громады.
Полночный Апеллес, обманывая взгляды,
Дарует кистью жизнь, обезоружив смерть.
Ваятели, презрев небес ревнивых мщенье,
Вдыхают в вещество мысль, чувство и движенье.
Природу испытав, Невтонов ученик
Таинственных чудес разоблачает лик,
Иль с небом пламенным в борьбе отъемлет, смелый,
Из гневных рук богов молниеносны стрелы!
Мать песней, смелая царица звучных дум,
Смягчает дикий нрав и возвышает ум.
Здесь друг Шувалова воспел Елисавету,
И, юных русских муз блистательный рассвет,
Его счастливее — как русский и поэт —
Екатеринин век Державин предал свету.
Минервы нашей ум Европу изумлял:
С успехом равным он по свету рассылал
Приветствие в Ферней, уставы самоедам,
Иль на пути в Стамбул открытый лист победам.
Полсветом правила она с брегов Невы
И утомляла глас стоустныя молвы.
Блестящий век! и ты познал закат условный!
И твоего певца уста уже безмолвны!
Но нам ли с завистью кидать ревнивый взгляд
На прошлые лета и славных действий ряд?
Наш век есть славы век, наш царь — любовь вселенной!
Земля узрела в нем небес залог священный,
Залог благих надежд, залог святых наград!
С народов сóрвал он оковы угнетенья,
С царей снимает днесь завесу заблужденья
И, с кроткой мудростью свой соглася язык,
С престола учит он народы и владык;
Уж зреет перед ним бессмертной славы жатва!
Счастливый вождь тобой счастливых россиян!
В душах их раздалась души прекрасной клятва:
Петр создал подданных, ты образуй граждан!
Пускай уставов дар и оных страж — свобода,
Обетованный брег великого народа,
Всех чистых доблестей распустит семена.
С благоговеньем ждет, о царь, твоя страна,
Чтоб счастье давший ей дал и права на счастье!

«Народных бед творец — слепое самовластье», —
Из праха падших царств сей голос восстает.
Страстей преступных мрак проникнувши глубоко,
Закона зоркий взгляд над царствами блюдет,
Как провидения недремлющее око.
Предвижу: правды суд — страх сильных, слабых щит —
Небесный приговор земле благовестит.
С чела оратая сотрется пот неволи.
Природы старший сын, ближайший братьев друг
Свободно проведет в полях наследный плуг,
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной.
Как искра под золой, скрывая блеск и жар,
Мысль смелая, богов неугасимый дар,
Молчанья разорвет постыдные оковы.
Умы воспламенит ко благу пламень новый.
К престолу истина пробьет отважный ход.
И просвещение взаимной пользы цепью
Тесней соединит владыку и народ.
Присутствую мечтой торжеств великолепью,
Свободный гражданин свободныя земли!
О царь! судьбы своей призванию внемли.
И Александров век светилом незакатным
Торжественно взойдет на русский небосклон,
Приветствуя, как друг, сияньем благодатным
Грядущего еще не пробужденный сон.

Август 1818

ТОЛСТОМУ

Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого, как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист;
Под бурей рока — твердый камень!

В волненьи страсти — легкий лист!
Куда ж меня нелегкий тащит
И мой раздутый стих таращит,
Как стих того торговца од,
Который на осьмушку смысла
Пуд слов с прибавкой выдает?
Здесь муза брода не найдет:
Она над бездною повисла.
Как ей спуститься без хлопот
И как, не дав толчка рассудку
И не споткнувшись на пути,
От нравственных стихов сойти
Прямой дорогою к желудку?
Но, впрочем, я слыхал не раз,
Что наш желудок — чувств властитель
И помышлений всех запас.
Поэт, политик, победитель,
Все от него успеха ждут:
Судьба народов им решится;
В желудке пища не сварится —
И не созреет славный труд;
Министр объелся: сквозь дремоту
Секретаря прочел работу —
И гибель царства подписал.
Тот натощак бессмертья ищет,
Но он за драмой в зубы свищет —
И свет поэта освистал.
К тому же любопытным ухом
Умеешь всем речам внимать;
И если возвышенным духом
Подчас ты унижаешь знать,
Зато ты граф природный брюхом
И всем сиятельным под стать!
Ты знаешь цену Кондильяку,
В Вольтере любишь шуток дар
И платишь сердцем дань Жан-Жаку,
Но хуже ль лучших наших бар
Ценить умеешь кулебяку
И жирной стерляди развар?
Ну, слава богу! пусть с дороги
Стихомаранья лютый бес

Кидал меня то в ров, то в лес,
Но я, хоть поизбивши ноги,
До цели, наконец, долез.
О кухне речь — о знаменитый
Обжор властитель, друг и бог!
О, если, сочный и упитый,
Достойным быть мой стих бы мог
Твоей щедроты плодовитой!
Приправь и разогрей мой слог,
Пусть будет он, тебе угодный,
Душист, как с трюфлями пирог,
И вкусен, как каплун дородный!
Прочь Феб! и двор его голодный!
Я не прошу себе венка:
Меня не взманит лов бесплодный!
Слепого случая рука
Пусть ставит на показ народный
Зажиточного дурака —
Проситься в дураки не буду!
Я не прошусь закинуть уду
В колодезь к истине сухой:
Ложь лучше истины иной!
Я не прошу у благодати
Втереть меня к библейской знати
И по кресту вести к крестам,
Ни ко двору, ни к небесам.
Просить себе того-другого
С поклонами я не спешу:
Мне нужен повар — от Толстого
Я только повара прошу!

19 октября 1818

* * *

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —
Мне кланяться развалинам бесплодным
Пальмиры, Трои иль Афин?
Пусть дорожит Парнаса гражданин
Воспоминаньем благородным;

Я не поэт, а дворянин,
И лучше в Грузино пойду путем доходным:
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин».

1818

* * *

Иссохлось бы перо твое бесплодно,
Засу́хою скончались бы листы,
Но помогать бедам искусству сродно:
В желчь зависти перо обмокнешь ты, —
И сызнова на месяц-два свободно
С него польются клеветы.

1818

БЫЛЬ

Был древний храм готического зданья,
Обитель сов, унынья и молчанья.
Узрел его художник молодой,
Постиг умом обилье средств, в нем скрытых,
Сломал ряд стен, уж временем подрытых,
И, чародей, испытанной рукой
На груде их, из их развалин новый
Чертог воздвиг. Величье, простота,
Искусство, вкус, красивость, чистота
Дивят глаза, и зодчий... но суровый
Закон судьбы свершился и над ним.
Так решено: на всех не угодим!
И зодчий наш, причастный вечной славы,
Не избежал хулителей трудов.
Враги нашлись; но где ж? — в семействе сов.
Из теплых гнезд изгнанники, в дубравы
Они с стыдом пустились, и в дупла́х,
В досаде злой, в остервененьи диком,
Совиный их ночной ареопаг
Труд зодчего позорил дерзким криком.

———

Язык отцов — тот устарелый храм;
Карамзина сравним с отважным зодчим;
С семьей же сов, друзья! и с прочим, прочим,
Кого и что сравнить — оставлю вам.

1818 (?)

* * *

Ты прав! Сожжем, сожжем его творенья!
Он не по нас! Галиматьи в нем нет!
В нем смелый ум, потомок просвещенья;
Есть жар, есть вкус, сей вечно юный цвет!
Но что нам в них? Он грации улыбкой
Был вдохновен, когда шутя писал,
И слог его, уступчивый и гибкой,
Живой Протей, все измененья брал.
Но что нам в том? Пусть яркий пламень казни
Венец творца и наш позор сожжет!
Но ты, дружок, ты чужд такой боязни!
Как сжечь тебя? Не загорится лед.

1818 (?)

* * *

Надменный нуль, пигмей, крикун картавый,
Ты на меня задорно лезешь в бой!
Тут есть резон: как Эрострат другой,
Бесславьем ты добиться хочешь славы!
Но тщетен труд: я мстительным стихом
Не объявлю об имени твоем;
Язви меня, на вызов твой не выду,
Не раздражишь молчания певца, —
Хочу скорей я претерпеть обиду,
Чем в честь пустить безвестного глупца.

1818 (?)

ЧЕЛОВЕК И МОТЫЛЕК

Над мотыльком смеялся человек:
«Гость утренний! по чести, ты мне жалок! —
Он говорит. — Мгновенье — вот твой век!
И мотыльку могила — куст фиалок».
За годом год торопится вослед,
И старику отсчитано сто лет.
Час смерти бьет! Старик на смертном ложе,
Вздохнув, сказал: «И век мгновенье тоже!»

1819

ДВЕ СОБАКИ

— За что ты в спальне спишь, а зябну я в сенях? —
У мопса жирного спросил кобель курчавый.
— За что? — тот отвечал, — вся тайна в двух словах:
Ты в дом для службы взят, а я взят для забавы.

<1819>

ДВА ЖИВОПИСЦА

В столицу съехались портретны мастера.
Петр плох, но с де́ньгами; соперник Рафаэлю —
Иван, но без гроша. От утра до утра
То женщин, то мужчин малюет кисть Петра;
Иван едва ли кисть и раз возьмет в неделю.
За что ж им от судьбы не равен так дележ?
Портрет Петра был льстив, портрет Ивана — схож.

<1819>

ДВА ЧИЖА

— О чем так тужишь ты? — чиж говорил чижу. —
Здесь в клетке во сто раз приятней жить, чем в поле.
— Так, — молвил тот, — тебе, рожденному в неволе;
Но я, я волю знал, и я о ней тужу.

<1819>

БИТЫЙ ПЕС

Пес лаял на воров; пса утром отодрали —
За то, что лаем смел встревожить барский сон.
Пес спал в другую ночь; дом воры обокрали:
Отодран пес за то, зачем не лаял он.

<1819>

* * *

Вписавшись в цех зоилов строгих,
Будь и к себе ты судия.
Жуковский пишет *для немногих,*
А ты для одного себя.

Январь 1819

* * *

Чтоб полный смысл разбить в творениях певца,
Поодиначке в нем ты стих коварно удишь;
В бессмыслице ж своей тогда уверен будешь,
Когда прочтешь себя с начала до конца.

Январь 1819

ЖРЕЦ И КУМИР

(Басня)

Льстить любят многие; хвалить умеет редкой.
Не в меру похвала опасней брани едкой.
Усердья ложного подать ли образец?
В рассказ мой вслушайтесь: какой-то древний жрец,
К кумиру своему излишне богомольный,
Так уж кадил ему, уж так ему кадил,
Что с ног до головы его он закоптил.
И полно? — Нет! и тем уроком недовольный,

Так размахнулся раз, в пылу слепой руки,
Что он кадильницей расшиб его в куски.

Фортуны баловни! Кумиры черни зыбкой!
Любимцы срочные забывчивой молвы!
Не стрел вражды крутой, но лести гибкой,
Кадильниц берегитесь вы! ..

1819

* * *

Как мастерски пророков злых подсел
Рифмач, когда себя в печать отправил;
Им вопреки, он на своем поставил
И сотню од не про себя пропел:
В наборщиках читателей имел
И цензора одобрить их заставил.

1810-е годы

* * *

В двух дюжинах поэм воспевший предков сечи,
Глаголом ни стиха наш лирик не убил.
Как жалко мне, что он частей и прочих речи,
Как и глаголы, не щадил.

1810-е годы

* * *

Как «Андромахи» перевод
Известен стал у стикских вод,
И наших дней Прадон прославился и в аде.
«Зачем писать ему? — сказал Расин в досаде. —
Пускай бы он меня в покое оставлял,

Творения с женой другие б издавал».
Жена же, напротив, когда он к ней подходит,
Жалеет каждый раз, что он не переводит.

1810-е годы

* * *

Княжнин! К тебе был строг судеб устав,
И над тобой сшутил он необычно:
«Вадим» твой был сожжен публично,
А публику студит холодный твой «Рослав».

1810-е годы

* * *

Один Фаон, лезбосская певица,
Тебе враждой путь к морю проложил;
Другой Фаон, по смерти твой убийца,
Тебя в стихах водяных потопил.

1810-е годы

К КОРАБЛЮ

Куда летишь? К каким пристанешь берегам,
Корабль, несущий по волнам
Судьбы великого народа?
Что ждет тебя? Покой иль бурей непогода?
Погибнешь, иль прейдешь со славою к векам,
Потомок древних сосн, Петра рукою мощной
Во прах низверженных в степях, где Бельт полнощный,
Дивясь, зрел новый град, возникший средь чудес?
Да будет над тобой покров благих небес!
Мы видели тебя игрой сердитой влаги,
Грозой разбитый мачт конец твой предвещал;
Под блеском молний ты носился между скал,

Княжнинъ! святыхъ судебъ уставъ
Съ тобою поступилъ безбожно;
Вадима въ свѣтъ издать не можно,
а напечатанъ твой россказъ!

Какъ Андромахи переводъ,
Извѣстенъ сталъ у Елисейскихъ водъ
~~Дошелъ до Мрака~~
И нашихъ дней Прадонъ безславенъ сталъ въ адъ
Расинъ съ досадою сказалъ:
За чѣмъ писать ему? пускай-бы онъ въ отраду
творенія ~~на свѣтъ~~ съ женой друзьямъ издавалъ!
Жена напротивъ — не когда онъ къ ней подходитъ
Жалѣетъ каждый разъ что онъ не переводитъ

Но силою пловцов, чад славы и отваги,
На якорь опершись, ты твердо устоял.
Недаром ты преплыл погибельные мели,
И тучи над тобой рассек приветный свет;
Обдержанный под бурей бед,
Незримым кормщиком[1] ты призван к славной цели.

Шести морей державный властелин,
Ты стой в лицо врагам, как браней исполин!
Давно посол небес, твой страж, орел двуглавый
На гордом флаге свил гнездо побед и славы.
Пускай почиет днесь он в грозной тишине,
Приосенив тебя своим крылом обширным!
Довольно гром метал ты в пламенной войне
От утренних морей к вечерней стороне.
Днесь путь тебе иной: теки к победам мирным!
Вселенною да твой благословится бег!
Открой нам новый мир за новым небосклоном!
Пловцов ты приведи на тот счастливый брег,
Где царствует в согласии с законом
Свобода смелая, народов божество;
Где рабства нет вериг, оков немеют звуки,
Где благоденствуют торговля, мир, науки,
И счастие граждан — владыки торжество!

Июнь 1819

К В. А. ЖУКОВСКОМУ

(Подражание сатире II Депрео)

О ты, который нам явить с успехом мог
И своенравный ум и беспорочный слог,
В бореньи с трудностью силач необычайный,
Не тайн поэзии, но стихотворства тайны,
Жуковский! от тебя хочу просить давно.
Поэзия есть дар, стих — мастерство одно.
Природе в нас зажечь светильник вдохновенья,
Искусства нам дают пример и наставленья.
Как с рифмой совладеть, подай ты мне совет.

[1] Министры, которые государя не видят, подумают, что я о нем говорю; но тебе скажу, что здесь разумею я провидение.

Не ты за ней бежишь, она тебе вослед;
Угрюмый наш язык как рифмами ни беден,
Но прихотям твоим упор его не вреден,
Не спотыкаешься ты на конце стиха,
И рифмою свой стих венчаешь без греха.
О чем ни говоришь, она с тобой в союзе
И верный завсегда попутчик смелой музе.
Но я, который стал поэтом на беду,
Едва когда путем на рифму набреду;
Не столько труд тяжел в Нерчинске рудокопу,
Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под стопу,
И рифму залучить к перу на острие.
Ум говорит одно, а вздорщица свое.
Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков,
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.
В стихах моих не раз, ее благодаря,
Трус Марсом прослывет, Катоном — льстец царя,
И, словом, как меня в мороз и жар ни мечет,
А рифма, надо мной ругаясь, мне перечит.
С досады, наконец, и выбившись из сил,
Даю зарок не знать ни перьев, ни чернил,
Но только кровь во мне, спокоившись, остынет
И неуспешный лов за рифмой ум покинет,
Нежданная, ко мне является она,
И мной владеет вновь парнасский сатана.
Опять на пытку я, опять бумагу в руки —
За рифмой рифмы ждать, за мукой новой муки.
Еще когда бы мог я, глядя на других,
Впопад и невпопад сажать слова в мой стих;
Довольный счетом стоп и рифмою богатой,
Пестрил бы я его услужливой заплатой.
Умел бы, как другой, паря на небеса,
Я в пляску здесь пустить и горы и леса
И, в самый летний зной в лугах срывая розы,
Насильственно пригнать с Уральских гор морозы.
При помощи таких союзников, как встарь,
Из од своих бы мог составить рифм словарь
И Сумарокова одеть в покрове новом;
Но мой пужливый ум дрожит над каждым словом,
И рифма праздная, обезобразив речь,
Хоть стих и звучен будь, — ему как острый меч.
Скорее соглашусь, смиря свою отвагу,

Стихами белыми весь век чернить бумагу,
Чем слепо вклеивать в конец стихов слова,
И написав их три, из них мараю два.
Проклятью предаю я, наравне с убийцей,
Того, кто первый стих дерзнул стеснить границей,
И вздумал рифмы цепь на разум наложить.
Не будь он — мог бы я спокойно век дожить,
Забот в глаза не знать и, как ...... жирный,
Спать ночью, днем дремать в объятьях тени мирной.
Ни тайный яд страстей, ни зависти змия
Грызущею тоской не трогают меня.
Вельможеских палат не знаю переходов,
Корысть меня не мчит к брегам чужих народов.
Довольный тем, что есть, признательный судьбе,
Не мог бы в счастьи знать и равного себе,
Но, заразясь назло стихолюбивым ядом,
Свой рай земной сменил я добровольным адом.
С тех пор я сам не свой: прикованный к столу,
Как древле изгнанный преступник на скалу
Богами брошен был на жертву хищной власти,
Насытить не могу ненасытимой страсти.
То оборот мирю с упрямым языком,
То выживаю стих, то строфу целиком,
И, силы истоща в страдальческой работе,
Тем боле мучусь я, что мучусь по охоте.
Блаженный Николев! ты этих мук не знал.
Пока рука пером водила, ты писал,
И полка книжная, твой знаменуя гений,
Трещит под тяжестью твоих стихотворений.
Пусть слог твой сух и вял, пусть холоден твой жар,
Но ты, как и другой, Заикину товар.
Благодаря глупцам не залежишься в лавке!
«Где рифма налицо, смысл может быть в неявке!»
Так думал ты — и том над томом громоздил;
Но жалок, правилам кто ум свой покорил.
Удачный выбор слов невежде не помеха;
Ему что новый стих, то новая потеха.
С листа на лист, резвясь игривою рукой,
Он в каждой глупости любуется собой.
Напротив же, к себе писатель беспристрастный,
Тщась беспорочным быть, — в борьбе с собой всечасной.
Оправданный везде, он пред собой неправ;

Всем нравясь, одному себе он не на нрав.
И часто, кто за дар прославлен целым светом,
Тот проклинает день, в который стал поэтом.
Ты, видя подо мной расставленную сеть,
Жуковский! научи, как с рифмой совладеть.
Но если выше сил твоих сия услуга,
То от заразы рифм избавь больного друга!

Август 1819

СИБИРЯКОВУ

Рожденный мирты рвать и спящий на соломе,
В отечестве поэт, кондитор в барском доме!
Другой вельможам льстит; а я пишу к тебе,
Как смел, Сибиряков, ты, вопреки судьбе,
Опутавшей тебя веригами насилья, —
Отважно развернуть воображенью крылья?
И, званьем раб, душой — к свободе вознестись?
«Ты мыслить вздумал? ты? дружок! перекрестись, —
Кричит тебе сын тьмы, сиятельства наследник, —
Не за перо берись: поди, надень передник;
Нам леденцы вкусней державинских стихов.
О век! Злосчастный век разврата и грехов!
Всё гибнет, и всему погибель просвещенье:
С трудом давно ль скреплял в суде определенье
Приявший от небес дворянства благодать,
А ныне: уж и чернь пускается в печать!
Нет! нет! дворянских глаз бесчестить я не буду.
Другой тебя читай: я чести не забуду.
Нам памятен еще примерный тот позор,
Как призрен был двором беглец из Холмогор.
Пожалуй, и тебе, в сей век столь ненавистный,
В вельможах сыщется заступник бескорыстный,
И мимо нас, дворян, как дерзкий тот рыбарь,
Ты попадешь и в честь, и в адрес-календарь».
Так бредит наяву питомец предрассудка
За лакомым столом, где тяжестью желудка
Отяжелела в нем пустая голова.
Тебя, Сибиряков! не тронут те слова.
Стыдя спесь общества, ты оправдал природу;

В неволе ты душой уразумел свободу,
И целью смелою начертанный твой стих
Векам изобличит гонителей твоих.
Свобода не в дворцах, неволя не в темницах;
Достоинство в душе — пустые званья в лицах.
Пред взором мудреца свет — пестрый маскерад,
Где жребием слепым дан каждому наряд;
Ходули подхватя, иной глядит вельможей,
А с маскою на бал он выполз из прихожей.
Сорви одежду? — пыль под мишурой честей,
И первый из вельмож последний из людей.
Природа не знаток в науке родословной
И раздает дары рукой скупой, но ровной.
Жалею я, когда судьбы ошибкой злой
Простолюдин рожден с возвышенной душой,
И свойств изящных блеск в безвестности тускнеет;
Но злобою мой ум кипит и цепенеет,
Когда на казнь земле и небесам в укор
Судьба к честям порок возводит на позор.
Кто мыслит, тот могущ, а кто могущ — свободен.
Пусть рабствует в пыли лишь тот, кто к рабству сроден.
Свобода в нас самих: небес святый залог,
Как собственность души, ее нам вверил бог!
И не ее погнет ярмо земныя власти;
Одни тираны ей: насильственные страсти.
Пусть дерзостный орел увяз в плену силка,
Невольник на земле, он смотрит в облака;
Но червь презрительный, отверженец природы,
Случайно взброшенный порывом непогоды
В соседство к небесам, на верх кавказских гор
Ползет и в гнусный прах вперяет робкий взор.
И ты, Сибиряков, умерь прискорбья пени,
Хотя ты в обществе на низшие ступени
Засажен невзначай рождением простым,
Гордись собой! а спесь ты предоставь другим.
Пусть барин чванится дворянским превосходством,
Но ты довольствуйся душевным благородством.
Взгляни на многих бар, на гордый их разврат,
И темный жребий свой благослови стократ.
Быть может, в их среде светильник дарованья
Потухнул бы в тебе под гнетом воспитанья.

Утратя бодрость чувств, заимствовал бы ты,
Быть может, праздность их и блажь слепой тщеты.
Ты стал бы, как они, в бесчувствии глубоком
На участь братиев взирать холодным оком
И думать, что творец на то и создал знать,
Чтоб кровью ближнего ей нагло торговать;
Что черни дал одни он спины, барству — души,
Как дал рога быку, а зайцу только уши;
Что жизнь он в дар послал для бар и богача,
Другим взвалил ее, как ношу на плеча;
И что всё так в благом придумано совете,
Чтоб был немногим рай, а многим ад на свете.
Счастлив, кто сам собой взошел на высоту:
Рожденный на верхах всё видит на лету;
Надменность или даль его туманит зренье,
За правду часто он приемлет заблужденье;
Обманываясь сам, страстями ослеплен,
Доверчивость других обманывает он.
Но ты страшись его завидовать породе,
Ты раб свободный, он — раб жалкий на свободе.

Август 1819

ПЕРВЫЙ СНЕГ

(В 1817-м году)

Пусть нежный баловень полуденной природы,
Где тень душистее, красноречивей воды,
Улыбку первую приветствует весны!
Сын пасмурных небес полуночной страны,
Обыкший к свисту вьюг и реву непогоды,
Приветствую душой и песнью первый снег.
С какою радостью нетерпеливым взглядом
Волнующихся туч ловлю мятежный бег,
Когда с небес они на землю веют хладом!
Вчера еще стенал над онемевшим садом
Ветр скучной осени, и влажные пары
Стояли над челом угрюмыя горы
Иль мглой волнистою клубилися над бором.
Унынье томное бродило тусклым взором
По рощам и лугам, пустеющим вокруг.

Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг.
Пугалище дриад, приют крикливых вранов,
Ветвями голыми махая, древний дуб
Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп,
И воды тусклые, под пеленой туманов,
Дремали мертвым сном в безмолвных берегах.
Природа бледная, с унылостью в чертах,
Поражена была томлением кончины.
Сегодня новый вид окрестность приняла,
Как быстрым манием чудесного жезла;
Лазурью светлою горят небес вершины;
Блестящей скатертью подернулись долины,
И ярким бисером усеяны поля.
На празднике зимы красуется земля
И нас приветствует живительной улыбкой.
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной сосне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдистыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сравнялся в берегах.
Забавы ожили; пренебрегая страх,
Сбежались смельчаки с брегов толпой игривой
И, празднуя зимы ожиданный возврат,
По льду свистящему кружатся и скользят.
Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой, —
На бегство робкого нескромный снег донес;
С неволи спущенный за жертвой хищный пес
Вверяется стремглав предательскому следу,
И довершает нож кровавую победу.
Покинем, милый друг, темницы мрачный кров!
Красивый выходец кипящих табунов,
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью,
Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит.
Украшен твой наряд лесов сибирских данью,
И соболь на тебе чернеет и блестит.
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы,
Румяных щек твоих свежей алеют розы,

И лилия свежей белеет на челе.
Как лучшая весна, как лучшей жизни младость,
Ты улыбаешься утешенной земле,
О, пламенный восторг! В душе блеснула радость,
Как искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!
Кто в тесноте саней с красавицей младой,
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой,
Жал руку, нежную в самом сопротивленье,
И в сердце девственном впервой любви смятенья,
И думу первую, и первый вздох зажег,
В победе сей других побед прияв залог.
Кто может выразить счастливцев упоенье?
Как вьюга легкая, их окриленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг.
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит!
Напрасно прихотям вверяется различным;
Вдаль увлекаема желаньем безграничным,
Пристанища себе она нигде не зрит.
Счастливые лета! Пора тоски сердечной!
Но что я говорю? Единый беглый день,
Как сон обманчивый, как привиденья тень,
Мелькнув, уносишь ты обман бесчеловечный!
И самая любовь, нам изменив, как ты,
Приводит к опыту безжалостным уроком
И, чувства истощив, на сердце одиноком
Нам оставляет след угаснувшей мечты.
Но в памяти души живут души утраты.
Воспоминание, как чародей богатый,
Из пепла хладного минувшее зовет
И глас умолкшему и праху жизнь дает.
Пусть на омытые луга росой денницы
Красивая весна бросает из кошницы
Душистую лазурь и свежий блеск цветов;
Пусть, растворяя лес очарованьем нежным,
Влечет любовников под кровом безмятежным
Предаться тихому волшебству сладких снов! —

Не изменю тебе воспоминаньем тайным,
Весны роскошныя смиренная сестра,
О сердца моего любимая пора!
С тоскою прежнею, с волненьем обычайным,
Клянусь платить тебе признательную дань;
Всегда приветствовать тебя сердечной думой,
О первенец зимы, блестящей и угрюмой!
Снег первый, наших нив о девственная ткань!

Ноябрь 1819

ПОСЛАНИЕ К ТУРГЕНЕВУ С ПИРОГОМ

Из Пёриге гость жирный и душистый,
Покинутый судьбы на произвол,
Ступай, пирог, к брегам полночи льдистой!
Из мест, где Ком имеет свой престол
И на народ взирает благосклонней,
Где дичь вкусней и трюфли благовонней
И пьяный Вакх плодит роскошный дол...
Иль, отложив балясы стихотворства
(Ты за себя сам ритор и посол),
Ступай, пирог, к Тургеневу на стол,
Достойный дар и дружбы и обжорства!
А ты, дитя, не тех угрюмых школ,
Где натощак воспитанный рассудок
К успехам шел через пустой желудок,
Но лучших школ прилежный ученик;
Ты, ревностный последник Эпикуру;
Ты, уголок между почетных книг
Оставивший поварни трубадуру,
Который нам за лакомым столом
Искусство есть преподавал стихом
И, *своего исполненный предмета,*
Похитил лавр обжоры и поэта,—
Ты, друг, прими, в знак дружбы, мой пирог,
Как древле был приемлем хлеб с солонкой.
Друзей сзови; но двери на замок
От тех гостей, которых запах тонкой,
Издалека пронюхав сочный дух,

И навыком уж изощренный слух,
Прослышавши позывный звон тарелок,
Ведут к столу — вернее лучших стрелок;
Лицо их, в дверь явясь, как на заказ,
Вам говорит, который в доме час.
Честь велика, когда почетный барин
К нам запросто приходит есть хлеб-соль,
Но за столом нас от честей уволь:
Незваный гость досадней, чем татарин.
В пословицах народов ум живет,
А здесь и ум обеденных Солонов.
В гостиных нас закон приличий жмет;
Но за столом, чужд ига, враг забот,
Бросаю цепь стеснительных законов.
Чиновный гость иль приторный сосед
Вливает яд в изящнейший обед.
Нет! нет! прошу, мне в честь и благодарность,
Одних друзей сзови на мой пирог:
Прочь знатного враля высокопарность
И подлеца обсахаренный слог!
Пусть старшинством того почтит пирушка,
У коего всегда порожней кружка,
И с языка вздор острый, без затей,
Как блестки искр, срывается быстрей.
Ему воздай отличие верховно;
Но не деспо́т, а общества глава
Над обществом пусть царствует условно
И делит с ним законные права.
Пусть, радуясь его правленью, каждый
Покорностью почтит властей дележ,
И в свой черед балует прихоть жажды
И языка болтливого свербеж.
Уже мечтой я заседаю с вами,
Я мысленно перелетаю даль:
Я вижу свой прибор между друзьями;
Вином кипит сияющий хрусталь.
Пусть сбудется воображенья шаль;
Пусть поживлюсь мечтательной поимкой,
Когда судьбы жестокий приговор,
Мне вопреки, лишь только невидимкой
Дает присесть за дружеский прибор.

Но тот, кому я близок и заочно,
Пусть будет есть и пить за трезвый дух;
Нельзя умней придумать и нарочно:
Тургенев мой, ты будешь есть за двух!

Конец 1819

УНЫНИЕ

Уныние! вернейший друг души!
С которым я делю печаль и радость,
Ты легким сумраком мою одело младость,
И расцвела весна моя в тиши.

Я счастье знал, но молнией мгновенной
Оно означило туманный небосклон,
Его лишь взвидел взор, блистаньем ослепленный,
Я не жалел о нем: не к счастью я рожден.

В душе моей раздался голос славы:
Откликнулась душа волненьям на призыв;
Но, силы испытав, я дум смирил порыв,
И замерли в душе надежды величавы.

Не оправдала ты честолюбивых снов,
О слава! Ты надежд моих отвергла клятву,
Когда я уповал пожать бессмертья жатву
И яркою браздой прорезать мглу веков!

Кумир горящих душ! меня не допустила
Судьба переступить чрез твой священный праг,
И, мой пожравшая уединенный прах,
Забвеньем зарастет безмолвная могила.

Но слава не вотще мне голос подала!
Она вдохнула мне свободную отвагу,
Святую ненависть к бесчестному зажгла —
И чистую любовь к изящному и благу.

Болтливыя молвы не требуя похвал,
Я подвиг бытия означил тесным кругом;

Пред алтарем души в смиреньи клятву дал
Тирану быть врагом и жертве верным другом.

С улыбкою любви, в венках из свежих роз,
На пир роскошества влекли меня забавы;
Но сколько в нектар их я пролил горьких слез,
И чаша радости была сосуд отравы.

Унынье! всё с тобой крепило мой союз;
Неверность льстивых благ была мне поученьем;
Ты сблизило меня с полезным размышленьем
И привело под сень миролюбивых муз.

Сопутник твой, сердечных ран целитель,
Труд, благодатный труд их муки усыпил.
Прошедшего — веселый искупитель!
Живой источник новых сил!

Всё изменило мне! ты будь не безответен!
С утраченным мое грядущее слилось;
Грядущее со мною разочлось,
И новый иск на нем мой был бы тщетен.

Сокровищницу бытия
Я истощил в одном незрелом ощущеньи,
Небес изящное наследство прожил я
В неполном шумном наслажденьи.

Наследство благ земных холодным оком зрю.
Пойду ль на поприще позорных состязаний
Толпы презрительной соперником, в бою
Оспоривать успех, цель низких упований?

В победе чести нет, когда бесчестен бой.
Раскройте новый круг, бойцов сзовите новых,
Пусть лавр, не тронутый корыстною рукой,
Пусть мета высшая самих венков лавровых

Усердью чистому явит достойный дар!
И честолюбие, источник дел высоких,
Когда не возмущен грозой страстей жестоких,
Вновь пламенной струей прольет по мне свой жар.

Но скройся от меня, с коварным обольщеньем,
Надежд несбыточных испытанный обман!
Почто тревожишь ум бесплодным сожаленьем
И разжигаешь ты тоску заснувших ран?

Унынье! с коим я делю печаль и радость,
Единый друг обманутой души,
Под сумраком твоим моя угасла младость,
Пускай и полдень мой прокрадется в тиши.

1819

НЕГОДОВАНИЕ

К чему мне вымыслы? к чему мечтанья мне
И нектар сладких упоений?
Я раннее прости сказал младой весне,
Весне надежд и заблуждений!
Не осушив его, фиал волшебств разбил;
При первых встречах жизнь в обманах обличил
И призраки принес в дань истине угрюмой;
Очарованья цвет в руках моих поблек,
И я сорвал с чела, наморщенного думой,
Бездушных радостей венок.
Но, льстивых лжебогов разоблачив кумиры,
Я правде посвятил свой пламенный восторг;
Не раз из непреклонной лиры
Он голос мужества исторг.
Мой Аполлон — негодованье!
При пламени его с свободных уст моих
Падет бесчестное молчанье
И загорится смелый стих.
Негодование! огонь животворящий!
Зародыш лучшего, что я в себе храню,
Встревоженный тобой, от сна встаю
И, благородною отвагою кипящий,
В волненьи бодром познаю
Могущество души и цену бытию.
Всех помыслов моих виновник и свидетель,
Ты от немой меня бесчувственности спас;

В молчаньи всех страстей меня твой будит
глас:
Ты мне и жизнь и добродетель!
Поклонник истины в лета,
Когда мечты еще приятны, —
Взывали к ней мольбой и сердце и уста,
Но ветер разносил мой глас, толпе невнятный.
Под знаменем ее владычествует ложь;
Насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство председит в собрании вельмож.
Отцов народов зрел господствующих страхом,
Советницей владык — губительную лесть;
Печальную главу посыпав скорбным прахом,
Я зрел: изгнанницей поруганную честь,
Доступным торжищем — святыню правосудья,
Служенье истине — коварства торжеством,
Законы, правоты священные орудья,
Щитом могучему и слабому ярмом.
Зрел промышляющих спасительным глаголом,
Ханжей, торгующих учением святым,
В забвеньи бога душ — одним земным
престолам
Кадящих трепетно, одним богам земным.
Хранители казны народной,
На правый суд сберитесь вы;
Ответствуйте: где дань отчаянной вдовы?
Где подать сироты голодной?
Корыстною рукой заграбил их разврат.
Презрев укор людей, забыв небес угрозы,
Испили жадно вы средь пиршеских прохлад
Кровавый пот труда и нищенские слезы;
На хищный ваш алтарь в усердии слепом
Народ имущество и жизнь свою приносит;
Став ваших прихотей угодливым рабом,
Отечество от чад вам в жертву жертвы
просит.
Но что вам? Голосом алкающих страстей
Мать вопиющую вы дерзко заглушили;
От стрел раскаянья златым щитом честей
Ожесточенную вы совесть оградили.

Дни ваши без докук и ночи без тревог.
Твердыней, правде неприступной,
Надменно к облакам вознесся ваш чертог,
И непорочность, зря дней ваших блеск
преступный,
Смущаясь, говорит: «Где ж он? где ж казни
бог?
Где ж судия необольстимый?
Что ж медлит он земле суд истины изречь?
Когда ж в руке его заблещет ярый меч
И поразит порок удар неотразимый?»
Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в вышнем сане
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?
Для вас отечество — дворец,
Слепые властолюбья слуги!
Уступки совести — заслуги!
Взор власти — всех заслуг венец!
Нет! нет! не при твоем, отечество! зерцале
На жизнь и смерть они произнесли обет:
Нет слез в них для твоих печалей,
Нет песней для твоих побед!
Им слава предков без преданий,
Им нем заветный гроб отцов!
И колыбель твоих сынов
Им не святыня упований!
Ищу я искренних жрецов
Свободы, сильных душ кумира —
Обширная темница мира
Являет мне одних рабов.
О ты, которая из детства
Зажгла во мне священный жар,
При коей сносны жизни бедства,
Без коей счастье — тщетный дар,
Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал;
И звучным строем песней новых
Будил молчанье скал суровых
И слух ничтожных устрашал,

В век лучший вознесясь от мрачной сей
юдоли,
Свидетель нерожденных лет —
Свободу пел одну на языке неволи,
В оковах был я, твой поэт!
Познают песнь мою потомки!
Ты свят мне был, язык богов!
И мира гордые обломки
Переживут венцы льстецов!
Но где же чистое горит твое светило?
Здесь плавает оно в кровавых облаках,
Там бедственным его туманом обложило,
И светится едва в мерцающих лучах.
Там нож преступный изуверства
Алтарь твой девственный багрит;
Порок с улыбкой дикой зверства
Тебя злодействами честит.
Здесь власть в дремоте закоснелой,
Даров небесных лютый бич,
Грозит цепьми и мысли смелой,
Тебя дерзающей постичь.
Здесь стадо робкое ничтожных
Витии поучений ложных
Пугают именем твоим;
И твой сообщник — просвещенье
С тобой, в их наглом ослепленье,
Одной секирою разим.
Там хищного господства страсти
Последнею уловкой власти
Союз твой гласно признают;
Но под щитом твоим священным
Во тьме народам обольщенным
Неволи хитрой цепь куют.
Свобода! о младая дева!
Посланница благих богов!
Ты победишь упорство гнева
Твоих неистовых врагов.
Ты разорвешь рукой могущей
Насильства бедственный устав
И на досках судьбы грядущей
Снесешь нам книгу вечных прав,

Союз между граждан и троном,
Вдохнешь в царей ко благу страсть,
Невинность примиришь с законом,
С любовью подданного власть.
Ты снимешь роковую клятву
С чела поникшего к земле
И пахарю осветишь жатву,
Темнеющую в рабской мгле.
Твой глас, будитель изобилья,
Нагие степи утучнит,
Промышленность распустит крылья
И жизнь в пустыне водворит;
Невежество, всех бед виновник,
Исчезнет от твоих лучей,
Как ночи сумрачный любовник
При блеске утренних огней.
Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!
Но мне ли медлить? Грязную их братью
Карающим стихом я ныне поражу;
На их главу клеймо презренья положу
И обреку проклятью.
Пусть правды мстительный Перун
На терпеливом небе дремлет,
Но мужественный строй моих свободных струн
Их совесть ужасом объемлет.
Пот хладный страха и стыда
Пробьет на их челе угрюмом,
И честь их распадется с шумом
При гласе правого суда.
Страж пепла их, моя недремлющая злоба
Их поглотивший мрак забвенья разорвет
И, гневною рукой из недр исхитив гроба,
Ко славе бедственной их память прикует.

Ноябрь 1820

ПОСЛАНИЕ К М. Т. КАЧЕНОВСКОМУ

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил.
Как оный вечный огнь при алтаре весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил,
В груди несчастного неугасимо тлеет.
На нем чужой успех, как ноша, тяготеет;
Счастливца свежий лавр — колючий терн ему;
Всегда он ближнего довольством недоволен
И, вольный мученик, чужим здоровьем болен.
Где жертв не обрекла господству своему
Слепая зависть, дочь надменности ничтожной?
Известности боясь, змиею осторожной
Ползет, роняя вслед яд гнусной клеветы.
В шатрах, в дому царей, в уборной красоты
Свирепствует во тьме коварная зараза;
Но в мирной муз семье, средь всадников Пегаза
Господствует она свирепей во сто крат;
В Элизий скромных дев внесен мятежный ад.
Будь музы сестры, так! но авторы не братья;
Им с Каином равно на лбу печать проклятья
У многих врезала ревнивая вражда.
Достойным похвала — ничтожеству обида.
«Скучаю слушать я, как он хвалим всегда!» —
Вопрошенный, сказал гонитель Аристида.
Не зная, как судить, ничтожные бранят,
И, понижая всех, возвыситься хотят.
От Кяхты до Афин, от Лужников до Рима
Вражда к достоинству была непримирима.
Она в позор железа от почестей двора
Свергает Миниха, сподвижника Петра,
И, обольщая ум Екатерины пылкой,
Радищева она казнит почетной ссылкой.
На Велисария дерзает меч простерть,
И старцу-мудрецу в тюрьме подносит смерть.
Внемлите, как теперь *пугливые невежды* [1]
Поносят клеветой высоких душ надежды.
На светлом поприще гражданского ума
Для них лежит еще предубеждений тьма,

---

[1] Прекрасное выражение Ломоносова.

Враги того, что есть, и новых бед пророки,
Успехам наших дней старинных лет пороки
Дерзают предпочесть в безумной слепоте,
И правдой жертвовать обманчивой тщете.
В превратном их уме свобода — своевольство!
Глас откровенности — бесстыдное крамольство!
Свет знаний — пламенник кровавый мятежа!
Паренью мысли есть извечная межа,
И, к ней невежество приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.
«Заброшен я в пыли, как старый календарь, —
Его наперерыв читают чернь и царь;
Разнообразен он в роскошестве таланта —
Я сухостью сожжен бесплодного педанта.
Чем отомщу ему? Орудьем клеветы!» —
Сказал поденный враль и тискать стал листы.
Но может ли вредить ревнивый пустомеля?
Пусть каждый следует примеру Фонтенеля:
«Взгляни на сей сундук, — он другу говорил,
Которого враньем ругатель очернил. —
Он полон на меня сатир и небылицы,
Но в них я ни одной не развернул страницы».
Зачем искать чужих примеров? — скажешь ты, —
Нас учит Карамзин презренью клеветы.
На вызов крикунов — со степени изящной
Сходил ли он в ряды, где битвой рукопашной
Пред праздною толпой, как жадные бойцы,
Свой унижают сан прекрасного жрецы?
Нет! презря слабых душ корыстные управы,
Он мелкой личностью не затмевает славы;
Пусть скукой и враньем торгующий зоил,
Бессильный поражать плод зрелый зрелых сил,
Что день, под острие кладет тупого жала
Досугов молодых счастливые начала;
Пусть сей оценщик слов и в азбуке знаток
Теребит труд ума с профессорских досок,
Как поседевшая в углах архивы пыльной
Мышь хартии грызет со злостью щепетильной.
На славу оперщись, не занятый молвой,
Он с площадным врагом не входит в низкий бой;
На рубеже веков наш с предками посредник,
Заветов опыта потомкам проповедник,

О суточных вралях ему ли помышлять?
Их жалкий жребий — чернь за деньги забавлять;
Его — в потомстве жить, взывая к жизни древность.
Ты прав. — Еще пойму соперничества ревность:
Корнелию бы мог завидовать Расин,
Жуковский Байрону, Фонвизину Княжнин.
В безбрежных областях надоблачной державы
Орел не поделит с другим участка славы;
На солнце хочет он один отважно зреть;
Иль смерть, иль воздуха господство бессовместно,
И при сопернике ему под небом тесно.
У льва кровавый тигр оспоривает снедь.
Но кто, скажите мне, видал, чтоб черепаха
Кидалась тяжело с неловкого размаха
И силилась орлу путь к солнцу заслонить?
Нам должно бы умней тупых животных быть,
А каждый день при нас задорные пигмеи,
В союзе с глупостью, сообразя затеи,
Богатырей ума зовут на бой чернил,
Нахальством ополчась за недостатком сил.
Ошибки замечай: ошибки людям сродны;
Но в поучении пусть голос благородный
И благородство чувств показывает нам.
Ты хочешь исправлять, но будь исправен сам.
Уважен будешь ты, когда других уважишь.
Когда ж и правду ты языком злости скажешь,
То правды светлый луч, как в зеркале кривом,
Потускнет под твоим завистливым пером.
Случалось и глупцу отыскивать пороки,
Но взвесить труд ума лишь может ум высокий.
Насмешки резкие — сатиры личной зло:
Цветами увивал их стрелы Боало.
В ком нравиться есть дар, тот пусть один злословит.
Пчела и жалит нас и сладкий мед готовит;
Но из вреда вредить комар досадный рад.
Докучного ушам, презренного на взгляд,
Его без жалости охотно давит каждый.
Слепцы! к чему ведет тоска завистной жажды,
Какой богатый плод приносит вам раздор?
Таланту блеск двойной, а вам двойной позор,
Успех есть общая достоинств принадлежность;
К нему вожатые — дар свыше и прилежность.

Врагов не клеветой, искусством победи;
Затми их светлый лавр, и лавр твой впереди:
Соревнованья жар источник дел высоких,
Но ревность — яд ума и страсть сердец жестоких.
Лишь древо здравое дать может здравый плод,
Лишь пламень чистый в нас таланта огнь зажжет.
Счастлив, кто мог сказать: «Друзей я в славе нажил,
Врагов своих не знал, соперников уважил.
Искусства нас в одно семейство сопрягли,
На ровный жребий благ и бедствий обрекли.
Причастен славе их, они моей причастны:
Их днями ясными мои дни были ясны».
Так рядом щедрая земля из влажных недр
Растит и гордый дуб и сановитый кедр.
Их чела в облаках, стопы их с адом смежны;
Природа с каждым днем крепит союз надежный,
И сросшийся в один их корень вековый
Смеется наглости бунтующих стихий.
Столетья зрят они, друг другом огражденны,
Тогда как в их тени, шипя, змеи презренны,
Междоусобных ссор питая гнусный яд,
Нечистой кровию подошвы их багрят.

1820

* * *

Василий Львович милый! здравствуй!
Я бью челом на новый год!
Веселье, мир с тобою царствуй,
Подагру черт пусть поберет.
Пусть смотрят на тебя красотки
Как зá двадцать смотрели лет,
И говорят — на зов твой ходки —
Что не стареется поэт.
Пусть цедится рукою Вакха
В бокал твой лучший виноград,
И будешь пить с *Толстым*[1] без страха,
Что за плечами Гипократ.

---

[1] Который, между прочим, женился на своей цыганке.

Пусть Феб умножит в двадцать первый
На рифмы у тебя расход,
И кляп наложится Минервой
Всем русским Вральманам на рот.
Пусть Вестник, будто бы Европы,
По-европейски говорит,
И разных глупостей потопы
Рассудка солнце осушит.
Пусть нашим цензорам дозволят
Дозволить мысли вход в печать;
Пусть баре варварства не холят
И не невежничает знать.
Будь в этот год, другим не равный:
Все наши умники умны,
Менандры невские забавны,
А Еврипиды не смешны,
Исправники в судах исправны,
Полковники не палачи,
Министры не самодержавны,
А стражи света не сычи.
Пусть щук поболе народится,
Чтоб не дремали караси;
Пусть белых негров прекратится
Продажа на святой Руси.
Но как ни будь и в слове прыток,
Всего нельзя спустить с пера;
Будь в этот год нам в зле убыток
И прибыль в бюджете добра.

Конец 1820

* * *

Пусть остряков союзных тупость
Готовит на меня свой нож:
Против меня глупцы! — так что ж?
Да за меня их глупость.

1820

ПОЖАР

Небрежностью людей иль прихотью судьбы
В один и тот же час, и рядом,
От свечки вспыхнули обои здесь; там на дом
Выкидывало из трубы!
— Чего же было ждать? — сказал советник зрелый,
Взирая на пожар. — Вам нужен был урок;
Я от такой беды свой домик уберег.
— А как же так? — спросил хозяин погорелый.
— Не освещаю в ночь, а в зиму не топлю.
— О, нет! Хоть от огня я ныне и терплю,
Но костенеть впотьмах здесь человек не сроден;
В расчетах прибыли ущербу место дам;
Огонь подчас во вред, но чаще в пользу нам,
А твой гробовый дом на то лишь только годен,
Чтоб в нем волков морить и гнезда вить сычам!

1820

КАТАЙ-ВАЛЯЙ

(Партизану-поэту)

Какой-то умник наше тело
С повозкой сравнивать любил,
И говорил всегда: «В том дело,
Чтобы вожатый добрый был».
Вожатым шалость мне досталась,
Пускай несет из края в край,
Пока повозка не сломалась,
Катай-валяй!

Когда я приглашен к обеду,
Где с чванством голод за столом,
Или в ученую беседу,
Пускай везут меня шажком.
Но еду ль в круг, где ум с фафошкой,
Где с дружбой ждет меня Токай,
Иль вдохновенье с женской ножкой, —
Катай-валяй!

По нивам, по коврам цветистым
Не тороплюсь в дальнейший путь:
В тени древес, под небом чистым
Готов беспечно я заснуть, —
Спешит от счастья безрассудный!
Меня, о время, не замай;
Но по ухабам жизни трудной
Катай-валяй!

Издатели сухих изданий,
Творцы, на коих Север спит,
Под вьюком ваших дарований
Пегас как вкопанный стоит.
Но ты, друг музам и Арею,
Пегаса на лету седлай
И к славе, как на батарею,
Катай-валяй!

Удача! шалость! правьте ладно!
Но долго ль будет править вам?
Заимодавец-время жадно
Бежит с расчетом по пятам!
Повозку схватит и с поклажей
Он втащит в мрачный свой сарай.
Друзья! покамест песня та же:
Катай-валяй!

1820 (?)

* * *

Для славы ты здоровья не жалеешь,
Но берегись, недолго до греха;
Над рифмою ты целый век потеешь,
А там, как раз, прозябнешь от стиха.

<1821>

* * *

Благословенный плод проклятого терпенья
За цену сходную он отдает в печать;
Но, к большей верности, зачем не досказать:
За цену, сходную с достоинством творенья.

<1821>

ХАРАКТЕРИСТИКА

Недаром, мимо всех живых и мертвецов,
Он русским гением пожалован в Париже:
Отделкой языка, сказать и я готов,
Он к Сумарокову из всех новейших ближе,
А творчеством, огнем и полнотой стихов
Он разве малым чем Хераскова пожиже.

<1821>

НАДПИСИ К ПОРТРЕТАМ

1

N. N. вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке.
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе
Он щеголяет ханжеством.

2

Кутейкин, в рясах и с скуфьею,
Храм знаний обратил в приход,
И в нем копеечной свечою
Он просвещает наш народ.

Август 1821
Остафьево

СТОЛ И ПОСТЕЛЯ

Полюбил я сердцем Леля,
По сердцу пришел Услад!
Был бы стол, была б постеля —
Я доволен и богат.

Пусть боец в кровавом деле
Пожинает лавр мечом;
Розы дышут на постеле,
Виноградник за столом.

Одами поэт Савелий
Всех пленяет кротким сном;
Век трудится для постели
Он за письменным столом.

Бедствий меньше бы терпели,
Если люди, страстны к злу,
Были верны в ночь постели,
Верны днем, как я, столу.

За столом достигнув цели,
На постель я часто шел,
Завтра, может быть, с постели
Понесут меня на стол.

<1821>

МОСКВА

29-го декабря 1821 года

Благодарю вас за письмо,
Ума любезного трюмо,
О вы, которые издавна
Екатерина Николавна,
По-русски просто говоря,
А на грамматику смотря,
Так Николаевна — но что же?
Ведь русский стих, избави боже!

Какой пострел, какая шаль!
Ведь русский стих не граф Лаваль;
Он не стоит на курьих ножках.
Как слон, на стопы опершись,
Его не сломишь, как ни рвись!
Что о собаках и о кошках
Пословицы нам говорят,
То скажем также с смыслом правым
И о стихах с рассудком здравым:
В них ненадолго виден лад,
В них мира нет, а перемирье;
Всё гладко кажется, а там
И вскочут глупости, как чирья
По краснопюсовым носам.
Вот вам пример, да и примерный, —
Я сóврал, как питомец верный,
Кому кормилец — Аполлон,
Тремя помноженный Антон,
Да на закуску Прокопович!
Здесь рифма мне Василий Львович!
Что вам могу сказать о нем?
Сидит с подагрой он вдвоем;
Но ваш Тургенев преподобный —
Ему подагры самой злобной
Еще убийственней сто раз:
Взялся его он в добрый час
Привесть в печатанную веру;
Но христианскому примеру
Он следуя наоборот,
Закоренелый греховод,
Где б должно дунуть, — в ус не дунул,
А там на Пушкина же плюнул,
Отрекшись от всех дел его.
Но ради бого самого
Скажите, Пушкин дьявол, что ли?
А здесь под рифму мне Горголи!
Он под перо мое скользнул,
Как пред несчастием кот черный!
Нет! нет! я тут слуга покорный
И крикну разве: караул!
Да, кстати, сделав три поклона,

Я вас поздравлю с сыном Крона,
Иль с Новым годом, всё равно!
Пусть жребий с счастьем заодно
Прядет в нем ваши дни из шелка,
Пусть прыткой жизни одноколка
По свежим бархатным лугам
Везет вас к пристани покойной!
И на заре и в полдень знойный
Пусть бережет вас добрый дух!
И не перечит вам дороги
Исподтишка ни случай строгий,
Ни граф Хвостов с стихами вслух!

ВСЯКИЙ НА СВОЙ ПОКРОЙ

Портных у нас в столице много,
Все моде следуют одной:
Шьют ровной, кажется, иглой,
Но видишь, всматриваясь строго,
Что каждый шьет на свой покрой.

Портными нас всех можно счислить:
Покрой у каждого есть свой,
И тот, кто мастер сам плохой,
Других принудить хочет мыслить
И поступать на свой покрой.

Дай бог покойнику здоровье!
Вольтер чудесный был портной:
В стихах, записочке простой,
В истории, в сказках, в баснословье —
Везде найдешь его покрой.

Уча, нас комик забавляет:
Денис тому пример живой;
Но Вралькин сам себе большой,
И на смех прочим одевает
Он Талию на свой покрой.

Старик Федул, муж правил строгих,
Быть хочет в доме головой;

Жена пред ним равна с травой,
Но голове, не хуже многих,
Наряды шьет на свой покрой.

Язык наш был кафтан тяжелый
И слишком пахнул стариной;
Дал Карамзин покрой иной.
Пускай ворчат себе расколы!
Все приняли его покрой.

Пускай баллады — бабьи сказки,
Пусть черт качает в них горой;
Но в них я вижу слог живой,
Воображенье, чувство, краски, —
Люблю Жуковского покрой.

Пусть мне дурачество с любовью
Дурацкий шьют колпак порой;
Лишь Парк бы только причет злой
Не торопился по условью
Убрать меня на свой покрой!

<1822>

ОТЛОЖЕННЫЕ ПОХОРОНЫ

Холодный сон моей души
С сном вечности меня сближает;
В древесной сумрачной тиши
Меня могила ожидает.
Амуры! ныне вечерком
Земле меня предайте вы тайком!

К чему обряды похорон?
Жрецов служенье пред народом?
Но к грациям мне на поклон
Позвольте сбегать мимоходом.
Малютки! к ним хочу зайти,
Чтоб им сказать последнее *прости*.

О, как я вас благодарю!
Очаровательная радость!

Перед собой в восторге зрю
Стыдливость, красоту и младость!
Теперь, малютки, спора нет,
От глаз моих сокройте днéвный свет,

Попарно с факелом в руке
Ступайте, я иду за вами!
Но отдохните в цветнике:
Пусть полюбуюсь я цветами!
Амуры! с Флорой молодой
Проститься мне в час должно смертный свой.

Вот здесь, под тенью ив густых,
Приляжем, шуму вод внимая;
В знак горести на ивах сих
Висит моя свирель простая.
Малютки! с Фебом, кстати, я
В последний раз прощусь здесь у ручья.

Теперь пойдем! Но, на беду,
Друзей здесь застаю пирушку, —
К устам моим в хмельном чаду
Подносят дедовскую кружку.
Хоть рад, хоть нет, но должно пить.
Малютки! мне друзей грешно сердить!

Я поклялся оставить свет
И помню клятву неизменну;
Но к вам доверенности нет!
Вы населяете вселенну,
Малютки! вашим ли рукам
На упокой пустить меня к теням?

Вооружите вы меня —
И к мрачному за Стиксом краю
Отправлюсь сам без страха я.
Но что, безумный, я вещаю?
Малютки! в свете жить без вас —
Не та же ль смерть, и смерть скучней
в сто раз?

Но дайте слово наперед
Не отягчать меня гробницей,

Пусть на земле моей цветет
Куст роз, взлелеянный денницей!
Тогда, амуры! я без слез
Пойду на смерть под тень душистых роз.

Постойте! здесь глядит луна,
Зефир цветы едва целует,
Мирт дремлет, чуть журчит волна,
И горлица любовь воркует.
Амуры! здесь, на стороне,
Покойный одр вы изготовьте мне!

Но дайте вспомнить! Так, беда!
Назад воротимся к Цитере.
В уме ли был своем тогда?
Забыл сказаться я Венере.
Амуры! к маменьке своей,
Прошу, меня сведите поскорей.

Смерть не уйдет, напрасен страх!
А может быть, Венеры взоры,
С широкой чашей пьяный Вакх,
Цевница Феба, розы Флоры,
Амуры! смерть велят забыть
И с вами вновь, мои малютки, жить.

<1822>

ЦВЕТЫ

Спешите в мой прохладный сад,
Поклонники прелестной Флоры!
Здесь всюду манит ваши взоры
Ее блистающий наряд.

Спешите красною весной
Набрать цветов как можно боле:
Усей цветами жизни поле!
Вот мудрости совет благой.

По вкусам, лицам и годам
Цветы в саду своем имею;

Невинности даю лилею,
Мак сонный приторным мужьям,

Душистый ландыш полевой
Друзьям смиренным Лизы бедной,
Нарцис несчастливый и бледный —
Красавцам, занятым собой.

В тени фиалка притаясь,
Зовет к себе талант безвестный;
Любовник встретит мирт прелестный,
Спесь барскую надутый князь.

Дарю иную госпожу
Пучком увядших пустоцветов,
Дурманом многих из поэтов,
А божьим деревом ханжу.

К льстецам, прислужникам двора,
Несу подсолнечник с поклоном;
К временщику иду с пионом,
Который был в цвету вчера;

Злых вестовщиц и болтунов
Я колокольчиком встречаю;
В тени от взоров сокрываю
Для милой розу без шипов.

<1822>

ГУСЬ

(Басня)

В каштанах по уши, у барина в дому
Гусь жирный хвастался судьбой пред уткой дикой;
Он знаки щедростей, оказанных ему,
Считал своих заслуг наградой и отликой.
«И жалко, и смешно смотреть на эту спесь, —
Дикарки был ответ, — тут есть ошибка в счете;
Живем мы про себя, вы про других живете;
Мы кормимся, а вас откармливают здесь».

<1823>

МУДРОСТЬ

(Басня)

Когда бессмертные пернатых разобрали,
Юпитер взял орла, Венере горлиц дали,
А бдительный петух был Мудрости удел.
Но бдительность его осталась без удачи:
Нашли, что он имел некстати нрав горячий,
Что неуступчив он, криклив и слишком смел.
А пуще на него все жаловались боги,
Что сам он мало спит и спать им не дает.
Минерве от отца указ объявлен строгий,
Что должность петуха сова при ней займет.

Что ж можно заключить из этой были-сказки? —
Что мудрецу верней быть мудрым без огласки.

<1823>

МОЛОТОК И ГВОЗДЬ

— По милости твоей я весь насквозь расколот, —
Кирпич пенял гвоздю, — за что такая злость?
— За то, что в голову меня колотит молот, —
Сказал с досадой гвоздь.

<1823>

ЯЗЫК И ЗУБЫ

(Восточный аполог)

Один султан пенял седому визирю,
Что твердой стойкости он не имел во нраве.
«За недостаток сей судьбу благодарю!
Им удержался я и в почести и в славе, —
Сказал визирь ему, — и при дворе твоем
Средь частых перемен он был моим щитом.
Мне шестьдесят пять лет, — прибавил он
с улыбкой, —

Из твердых тех зубов, которые имел,
Ты видишь — редкий уцелел;
Но все их пережил один язык мой гибкой».

<1823>

МОИ ЖЕЛАНИЯ

Пусть всё идет своим порядком
Иль беспорядком — всё равно!
На свете — в этом зданьи шатком —
Жить смирно значит жить умно.
Устройся ты как можно тише,
Чтоб зависти не разбудить;
Без нужды не взбирайся выше,
Чтоб после шеи не сломить.

Пусть будут во владеньи скромном
Цветник, при ручейке древа,
Алтарь любви в пределе темном,
Для дружбы стул, а много два;
За трапезой хлеб-соль простая,
С приправой ласк младой жены;
В подвале — гость с холмов Токая,
Душистый вестник старины.

Две-три картины не на славу;
Приют мечтанью — камелек
И, про домашнюю забаву,
Непозолоченный гудок;
Книг дюжина — хоть не в сафьяне,
Не рук, рассудка торжество,
И деньга лишняя в кармане
Про нищету и сиротство.

Вот всё, чего бы в скромну хату
От неба я просить дерзал;
Тогда б к хранителю-Пенату
С такой молитвою предстал:
«Я не прошу о благе новом;

Мое мне только сохрани,
И от злословца будь покровом,
И от глупца оборони».

<1823>

ВОЛИ НЕ ДАВАЙ РУКАМ

Воли не давай рукам! —
Говорили наши предки;
Изменяли тем словам
Лишь тогда, как стрелы метки
Посылали в грудь врагам.

Мы смеемся старикам,
Мы не просим их советов;
По Парнасу, по судам,
От архонтов до поэтов,
Волю все дают рукам.

Волю беглым дав рукам,
Карп стихи, как сено, косит,
Пальцы с ртутью пополам,
В голове зато лишь носит
Он свинец на горе нам.

Загляни к Фемиде в храм:
Пусть слепа, да руки зрячи;
Знает вес давать вескам:
Гладит тех, с кого ждет дачи,
Бедных бьет же по рукам.

Но не всё ж злословить нам,
Живо в памяти народной,
Как в сенате, в страх врагам,
Долгоруков благородный
Смело волю дал рукам.

Мой Пегас под стать ослам,
Крыльев нет, не та замашка;

Жмут оглобли по бокам,
Лишь лягается бедняжка,
Крепко прибранный к рукам.

<1823>

ДАВНЫМ-ДАВНО

Давно ли ум с фортуной в ссоре,
А глупость счастия зерно?
Давно ли искренним быть — горе,
Давно ли честным быть смешно?
Давно ль тридцатый год Изоре?
Давным-давно.

Когда Эраст глядел вельможей,
Ты, Фрол, дышал с ним заодно.
Вчера уж не в его прихожей
Вертелось счастья веретно;
Давно ль с ним виделся? — «О боже!
Давным-давно».

«Давно ль в ладу с здоровьем, силой
Честил любовь я и вино?» —
Раз говорил подагрик хилый;
Жена в углу молчала, но...
В ответ примолвил вздох унылый:
Давным-давно.

Давно ль знак чести на позорном
Лишь только яркое пятно,
Давно ль на воздухе придворном
Вдруг и тепло и студено,
И держат правду в теле черном?
Давным-давно.

<1823>

ПЕСНЯ ЗЕВАКИ

Из новой оперы-водевиль: «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», данной в первый раз в Москве 24 января 1824 года. Музыка г-на Верстовского.

Жизнь наша сон! Всё песнь одна:
Или ко сну, или со сна!

Одно всё водится издавна:
Родятся люди, люди мрут
И кое-как пока живут.
Куда всё это как забавно!

Как не зевать! всем песнь одна:
Или ко сну, или со сна!

Иной зевает от безделья,
Зевают многие от дел;
Иной зевает, что не ел,
Другой зевает, что с похмелья!

Как не зевать! всё песнь одна:
Или ко сну, или со сна!

Актер в своей зевает роле;
Зевотой зритель давит свист!
Зевая, пишет журналист,
А сускрибент зевает боле!

Как не зевать! всё песнь одна:
Или ко сну, или со сна!

Я холост был — зевал без счета,
Подумал завестись домком,
И взял жену, чтоб жить вдвоем, —
И вдвое забрала зевота!

Как не зевать! всё песнь одна:
Или ко сну, или со сна!

(После каждого куплета должно зевать под музыку)

Конец 1823

ЦЕНЗОР

(Басня)

Когда Красовского отпряли парки годы,
Того Красовского, который в жизни сам
Был паркою ума, и мыслей, и свободы,
Побрел он на покой к Нелепости во храм.
— Кто ты? — кричат ему привратники святыни. —
Яви, чем заслужил признательность богини?
Твой чин? твой формуляр? занятья? мастерство?
— Я при Голицыне был цензор, — молвил он.
И вдруг пред ним чета кладет земной поклон,
И двери растворились сами!

Между 1822 и 1824

ОТВЕТ ДРЕВНЕГО МУДРЕЦА

В больнице общей нам, где случай, врач-слепец,
Развел нас наобум и лечит наудачу,
Скажи, что делаешь, испытанный мудрец? —
«С безумными смеюсь, с страдающими плачу!»

<1824>

ПРЕЛЕСТИ ДЕРЕВНИ

(С французского)

Не раз хвалили без ума
Деревню, пристань всем весельям.
Затей в поэтах наших тьма;
Не знать цены их рукодельям —
И боже нас оборони!
Но, воспевая рощи, воды
И дикие красы природы,
Нередко порют дичь они!

Лесок распишут ли? Как раз
И вечный соловей поспеет!
Лужок расстелют? На заказ

И роза вечная алеет!
Поверь их песне — вдоль полей
Растут репейники с крапивой
И слышен галок хор крикливый,
И хор индеек и гусей!

С собачкой стадо у реки:
Вот случай мне запеть эклогу!
Но что ж? — Бодаются быки,
А шавка мне кусает ногу!
Кто ж пастушок? Прямой пастух!
Под тяжестью густой овчинки
Он скрыпом хриплыя волынки
Немилосердно режет слух!

Сиянье томное луны
Влечет к задумчивой дремоте;
Но гонит прочь мечтаний сны
Лягушек кваканье в болоте.
Хочу заснуть без метафо́р,
Но мне и в том успеха мало:
Комарий писк и мухи жало
На сон мой входят в загово́р!

Нет, воля ваша, господа!
Но деревенские забавы
Найду без лишнего труда,
Не отлучаясь от заставы.
Злой враль не тот же ли комар?
Репейники цветут в журналах,
Гусей встречаю в самохвалах,
А спесь индеек в спеси бар.

<1824>

ТОГО-СЕГО

Того-сего пленительную смесь
Всегда люблю, везде желаю;
Однообразием скучаю,
И за столом прошу и здесь
Того-сего.

Старик Вольтер дар угождать имел
Царям, философам, повесам,
Он рассыпался мелким бесом
И кстати подносить умел
Того-сего.

Фирс жил в гостях; теперь домком живет.
Фирс, верно, получил наследство?
Нет! он нашел вернее средство:
В суде устроился насчет
Того-сего.

Куда как пуст Лужницкого журнал!
Какой он тощий и тяжелый,
Ни то ни се в тетради целой,
Хотя он в ней и обобрал
Того-сего.

Смотрите: льстец в сенях у бар больших,
Вертится он, как флюгер гибкой,
Торгует вздохами, улыбкой,
Всегда придерживаться лих
Того-сего.

И сам Зевес, дав волю процветать
Злым, добрым, хмелю и крапиве,
Хотел, чтоб на житейской ниве
Пришлося нам поиспытать
Того-сего.

<1824>

НЕДОВОЛЬНЫЙ

(С французского)

Каких нам благ просить от бога?
Фортуны? — Слишком быстронога,
Едва придет и пропадет!
Чинов? — За ними рой забот!
Высоких титлов? — Тщетны звуки!
Богатства? — Не запас от скуки!

С мешками будешь сам мешок!
Великодушия? — Порок
Воюет с ним открытой бранью!
Похвал? — Глупцам бывают данью!
Достоинств? — Зависти змия
Вопьется яростно в тебя!
Познаний? — В кладезе глубоком
Неверным и туманным оком
Не сыщешь дна, не видишь зги!
Любви? — Не уживешься с нею!
Жены? — Попытка в лотерею!
Друзей? — Опасные враги!
Вина? — Но грустно протрезвиться!
Роскошных яств? — В аптеках рыться!
Горячей крови? — Разожжет!
Холоднокровья? — Будешь лед!
Ума? — Вожатый ненадежный,
Болтун подчас неосторожный!
Союза мудрости? — Она
Без зва под старость посещает,
Когда нам боле не нужна,
И каждый мудрецом бывает
С убытком счастья пополам!
Покоя? — И к монастырям
Ему заложена дорога! —
Каких же благ просить от бога?

<1824>

К ЖУРНАЛЬНЫМ БЛИЗНЕЦАМ

Цып! цып! сердитые малютки!
Вам злиться, право, не под стать.
Скажите: стоило ль из шутки
Вам страшный писк такой поднять?
Напрасна ваших сил утрата!
И так со смехом все глядят,
Как раздраженные цыплята
Распетушились невпопад.

1824

* * *

Клеврет журнальный, аноним,
Помощник пре́зренный ничтожного бессилья,
Хвалю тебя за то, что под враньем твоим
Утаена твоя фамилья!
С бесстыдством страх стыда желая согласить,
Ты доказал, вдвойне кривнув душою,
Что если рад себя бесчестить под рукою,
То именем своим умеешь дорожить.

<1825>

* * *

Педантствуй сплошь, когда охота есть,
В глаза невежд кидай школярной пылью,
В цитатах весь старайся Рим известь,
Чтоб пособить природному бессилью;
Но не острись! Приемля вчуже боль,
Мы чувствуем, твои читая шутки,
Как на руке, над ними мучась сутки,
Тугим пером ты натрудил мозоль.

<1825>

* * *

Жужжащий враль, едва заметный слуху!
Ты хочешь выслужить удар моей руки?
Но знай! на ястребов охотятся стрелки;
А сам скажи: как целить в муху?

<1825>

ЧЕРТА МЕСТНОСТИ

Прочесть ли вам любовное посланье?
«Рад слушать вас!» — Прошу советов я!
Дом, где сидит владычица моя!

«Позвольте мне вам сделать замечанье:
Я б не сказал — сидит, да уж и дом,
Мне кажется, не ладит со стихом.
Не лучше ли: живет иль обитает,
И дом сменить на храм или чертог?
Любовь во храм и хату претворяет,
К тому ж к стихам идет высокий слог!»
Так, спесь и мне наречья муз знакома;
Но здесь в стихе есть местная черта:
Несчастная, младая красота
Сидит в стенах смирительного дома!

<1825>

* * *

Пред хором ангелов семья святая
Поет небесну благодать,
А здесь семья земная
По дудке нас своей заставит всех плясать.

1825 (?)

АЛЬБОМ

Альбом, как жизнь, противоречий смесь,
Смесь доброго, худого, пустословья:
Здесь дружбы дань, тут светского условья,
Тут жар любви, там умничанья спесь.
Изящное в нем наряду с ничтожным,
Ум с глупостью, иль истинное с ложным —
Идей и чувств пестреет маскарад;
Все счетом, все в обрез и по наряду;
Частехонько ни складу нет, ни ладу,
Здесь рифм набор, а там пустой обряд.
Как в жизни, так не точно ль и в альбоме
Плоды души сжимает светский лед,
Под свой аршин приличье всех гнетет,
И на цепи, как узник в желтом доме,

Которого нам видеть смех и жаль,
Иль тот зверок, что к колесу привязан,
В одном кругу вертеться ум обязан
И, двигаясь, не подвигаться в даль?
Пусть отомстит мне пчел альбомных жало,
Но я еще сравненье им припас:
Поэзии и меда в жизни мало,
А в сих стихах и менее подчас.
К цветным листкам альбомов стих болтливый
Рад применить пестреющие дни:
Есть светлые, как радуги отливы,
Есть темные, померкшие в тени!
Как на веку день на день не придется,
И будни вслед за праздником; равно
В альбоме то ж: здесь сердце улыбнется,
А там зевнет с рассудком заодно.
Иной листок для памяти сердечной
Дороже нам поэмы долговечной,
И день иной нам памятней, чем ряд
Бесплодных лет, что выдохлись, как чад.
Счастлив, кому, по милости фортуны,
Отсчитан день для сердца вечно юный!
Счастлив и тот, чей стих, любовь друзей,
Как сердца звук на сердце отзовется, —
Тот без молвы стотрубной обойдется
И без прислуг журнальных трубачей!
Боясь в дверях бессмертья душной давки,
Стремглав не рвусь к ступеням книжной лавки,
И счастья жду в смиренном уголке.
Пусть гордый свет меня купает в Лете,
Лишь был бы я у дружбы на примете
И жив у вас на памятном листке.

<1825>

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

«День черный — *пятница*», — кричит
Нам суевер, покорный страху,
И поверяет жизни быт
По Брюсовскому альманаху.

Счастливцу каждый день хорош!
Но кто у счастья в черном теле,
По неудачам тот и сплошь
Сочтет семь пятниц на неделе.

«Уж был я в пятницу дурак!» —
Как, будто в пятницу? — «Как в ящик,
Меня упрятали впросак
Жена, приятель и приказчик!»
Мой друг, нейдет попытка в счет:
Бар многих вижу я отселе,
У коих дома круглый год
Твоих семь пятниц на неделе.

«Женюсь! Нет, путь женатых скользк.
Подам в отставку! Нет, ни слова!
В Париж поеду! Нет, в Тобольск!
Прочту Сенеку! Нет, Графова!» —
Так завсегда по колесу
Вертятся мысли в пустомеле,
Вот что зовется — на часу
Иметь семь пятниц на неделе.

Устроив флюгер из пера,
Иной так пишет, как подует:
У тех, на коих врал вчера,
Сегодня ножки он целует.
Флюгарин иль Фиглярин, тот
Набил уж руку в этом деле;
Он и семь совестей сочтет,
Да и семь пятниц на неделе.

У должников и знатных бар
Дню *ныне* — *завтра* не наместник:
День *завтра* часто очень стар,
И не упомнишь, чей ровесник;
Он день отменный, и сравню
Его я с первым днем в апреле:
Кто верит завтрашнему дню,
Тот знай семь пятниц на неделе.

«Эрнест в бреду: вдруг слезы льет,
Вдруг пляшет, то клянет, то молит,

То волоса с себя дерет,
То он их в кудри вьет и холит!»
Сей бред по имени зови,
Когда слыхал о хитром Леле;
Эрнест влюблен, а у любви
Всегда семь пятниц на неделе.

Семь пирамид, семь мудрецов
И семь чудес нам древность славит,
Владыке снилось семь коров,
Рим семь холмов подошвой давит,
Семь городов входили в спор
О славной грекам колыбеле,
Да и везде, как на подбор,
Семь пятниц на одной неделе.

Пригнали в пятницу меня
К брегам попутные желанья;
Друзья, из буднишнего дня
Будь праздник светлого свиданья!
Играй вино на чистом дне,
Как кровь играет в юном теле!
О небо, ввек даруй ты мне
Таких семь пятниц на неделе.

<1825>

К МНИМОЙ СЧАСТЛИВИЦЕ

Мне грустно, на тебя смотря;
Твоя не верится мне радость,
И розами твоя увенчанная младость
Есть дня холодного блестящая заря.

Нет прозаического счастья
Для поэтической души:
Поэзией любви дни наши хороши,
А ты чужда ее святого сладострастья.

Нет, нет — он не любим тобой;
Нет, нет — любить его не можешь;

В стихии спорные одно движенье вложишь,
С фальшивым верный звук сольешь в согласный
строй;

Насильством хитрого искусства
Стесненная, творит природа чудеса,
Но не позволят небеса,
Чтоб предрассудков власть уравнивала чувства.

Сердцам избра́нным дан язык,
Непосвященному невнятный;
Кто в таинства его с рожденья не проник,
Тот не постигнет их награды благодатной.

Где в двух сердцах нет тайного сродства,
Поверья общего, сочувствия, понятья,
Там холодны любви права,
Там холодны любви объятья!

Товарищи в земном плену житейских уз,
Друг другу чужды вы вне рокового круга:
Не промысл вас берег и прочил друг для друга,
Но света произвол вам наложил союз.

Я знаю, ты не лицемеришь;
Как свежая роса, душа твоя светла;
Но, суеверная, рассудку слепо веришь
И сердце на его поруку отдала.

Ты веришь, что, как честь, насильственным обетом
И сердце вольное нетрудно обложить,
И что ему под добровольным гнетом
Долг может счастье заменить!

О женщины, какой мудрец вас разгадает?
В вас две природы, в вас два спорят существа.
В вас часто любит голова
И часто сердце рассуждает.

Но силой ли души, иль слепотой почесть,
Когда вы жизни сей, дарами столь убогой,

Надежды лучшие дерзаете принесть
На жертвенник обязанности строгой?

Что к отреченью вас влечет? Какая власть
Вас счастья призраком дарит на плахе счастья?
Смиренья ль чистого возвышенная страсть,
Иль безмятежный сон холодного бесстрастья?

Вы совершенней ли, иль хладнокровней нас?
Вы жизни выше ли, иль, как в избранный камень
От Пигмальоновой любви, равно и в вас
Ударить должен чистый пламень?

Иль, в тяжбе с обществом и с силою в борьбе,
Страшась испытывать игру превратных долей,
Заране ищете убежища себе
В благоразумьи и неволе?

Умеренность — расчет, когда начнут от лет
Ум боле поверять, а сердце меней верить,
Необходимостью свои желанья мерить —
Нам и природы глас и опыта совет.

Но в возраст тот, когда печальных истин свиток
В мерцаньи радужном еще сокрыт от нас,
Для сердца жадного и самый благ избыток
Есть недостаточный запас.

А ты, разбив сосуд волшебный
И с жизни оборвав поэзии цветы,
Чем сердце обольстишь, когда рукой враждебной
Сердечный мир разворожила ты?

Есть к счастью выдержка в долине зол и плача,
Но в свет заброшенный небесный сей залог
Не положительный известных благ итог,
Не алгеброй ума решенная задача.

Нет, вдохновением дается счастье нам,
Как искра творчества живой душе поэта,

Как розе свежий фимиам,
Как нега звучная певцу любви и лета.

И горе смертному, который в слепоте
Взысканьям общества сей вышний дар уступит,
Иль, робко жертвуя приличью и тщете,
Земные выгоды его ценою купит.

Мне грустно, на тебя смотря;
Твоя не верится мне радость,
И розами твоя увенчанная младость
Есть дня холодного блестящая заря.

С полудня светлого переселенец милый,
Цветок, предчувствие о лучшей стороне,
К растенью севера привитый гневной силой,
Цветет нерадостно, тоскуя по весне.

Иль, жертва долгая минуты ослепленья,
Младая пери, дочь воздушныя семьи,
Из чаши благ земных не почерпнет забвенья
Обетованных ей восторгов и любви.

Любуйся тишиной под небом безмятежным,
Но хлад рассудка, хлад до сердца не проник;
В нем пламень не потух; так под убором снежным
Кипит невидимо земных огней тайник.

В сердечном забытьи, а не во сне спокойном,
Еще таишь в себе мятежных дум следы;
Еще тоскуешь ты о бурях, небе знойном,
Под коим зреют в нас душевные плоды.

Завидуя мученьям милым
И бурным радостям, неведомым тебе,
Хотела б жертвовать ты счастием постылым
Страстей волненью и борьбе.

<1825>

НАРВСКИЙ ВОДОПАД

Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!
Над тишиной окрестной ревом
Господствуй, бурный исполин!

Жемчужною, кипящей лавой,
За валом низвергая вал,
Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!

Дождь брызжет от упорной сшибки
Волны, сразившейся с волной,
И влажный дым, как облак зыбкий,
Вдали их представляет бой.

Всё разъяренней, всё угрюмей
Летишь, как гений непогод;
Я мыслью погружаюсь в шуме
Междоусобно-бурных вод.

Но как вокруг всё безмятежно,
И, утомленные тобой,
Как чувства отдыхают нежно,
Любуясь сельской тишиной!

Твой ясный берег чужд смятенью,
На нем цветет весны краса,
И вместе миру и волненью
Светлеют те же небеса.

Но ты, созданье тайной бури,
Игралище глухой войны,
Ты не зерцало их лазури,
Вотще блестящей с вышины.

Противоречие природы,
Под грозным знаменем тревог,

В залоге вечной непогоды
Ты бытия приял залог.

Ворвавшись в сей предел спокойный,
Один свирепствуешь в глуши,
Как вдоль пустыни вихорь знойный,
Как страсть в святилище души.

Как ты, внезапно разразится,
Как ты, растет она в борьбе,
Терзает лоно, где родится,
И поглощается в себе.

Лето 1825

О. С. ПУШКИНОЙ

Нас случай свел; но не слепцом меня
К тебе он влек непобедимой силой:
Поэта друг, сестра и гений милый,
По сердцу ты и мне давно родня.

Так, в памяти сердечной без заката
Мечта о нем горит теперь живей:
Я полюбил в тебе сначала брата;
Брат по сестре еще мне стал милей.

Удел его — блеск славы вечно льстивой,
Но часто нам сияющий из туч;
И от нее ударит яркий луч
На жребий твой, в беспечности счастливый.

Но для него ты благотворней будь;
Свети ему звездою безмятежной,
И в бурной мгле отрадой, дружбой нежной
Ты услаждай тоскующую грудь.

Лето 1825

СТАНЦИЯ

(Глава из путешествия в стихах; писана 1825 года)

Sta viator!

Досадно слышать: «Sta viator!»
Иль, изъясняяся простей:
«Извольте ждать, нет лошадей», —
Когда губернский регистратор,
Почтовой станции диктатор
(Ему типун бы на язык!),
Сей речью ставит вас в тупик.
От этого-то русским трактом
Езда не слишком веселит;
Как едешь, действие кипит,
Приедешь — стынет за антрактом.
Да и скакать — дождись пути.
Заметить должно мне в прибавку,
Чтобы точней в журнал внести
Топографическую справку, —
Дороги наши — сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль — проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Приезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: *для проходящих!*
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам* или *Мак-Ева* —
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым,
Или когда поля проймет
Такая знойная засýха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха.
Что ж делать? время есть всему:

Гражданству, роскоши, уму.
Рукой степенной ход размерен:
Итог в успехах наших верен,
Пождем — и возрастет итог.
Давно ль могучий *Петр* природу,
Судьбу и смертных перемог,
Прошел сквозь мрак, сквозь огнь
и воду,
И следом богатырских ног
Давно ли вдоль и поперек
Протоптана его Россия?
Исполнятся судьбы земные,
И мы не будем без дорог.
Зато военную дорогу
Прокладывать умеем мы:
В Париже были, слава богу,
И, может, не боясь чумы,
Ни Магомета стражи райской,
За славной тенью Задунайской,
За тенью царственной жены
Мы доберемся до луны;
За греков молвим речь в Стамбуле
И меж собой, без дальних ссор,
Миролюбиво кончим спор,
Когда-то жаркий при Кагуле.
«Так лошадей мне нет у вас?» —
— Смотрите в книге: счет тут ясен.
«Их в книге нет, я в том согласен;
В конюшне нет ли?» — Тройка с час
Последняя с курьером вышла,
Две клячи на дворе и есть,
Да их хоть выбылыми счесть:
Не ходит ни одна у дышла.
«А долго ли прикажешь мне,
Платя в избе терпенью дани,
Истории *тьму-таракани*
Учиться по твоей стене?»
— Да к ночи кони придут, нет ли,
Тут их покормим час иль два.
Ей-ей, кружится голова;
Приходит жутко, хоть до петли!
И днем и ночью всё разгон,

А всего-навсего пять троек;
Тут как ни будь смышлен и боек,
А полезай из кожи вон!

Стой, путник, стой! — что ж молвить
больше,
Когда подвинуться нельзя?
Зачем не странствую я в Польше,
Мои любезные друзья!
Судьба по трактам европейским
(Что мне, признаться, очень жаль)
Меня не завозила вдаль.
Я только польским да еврейским
Почтовым ларам бил челом.
Как я ни рвался чувством жарким,
Как ни загадывал умом
Полюбоваться небом ярким
И мира светлой полосой,
Как я ни залетал мечтой
В мир божий из глуши далекой,
Где след мой темный, одинокой
Сугробом снежным занесен,
Как ни раскидывал сквозь сон,
Всегда обманчивый и краткий,
Своей кочующей палатки
Среди блестящих городов,
Среди базаров просвещенья, —
Но от латинских оных слов
Оглоблями воображенья
Я поворачивал домой,
И жду: схвачу ли сон рукой?
О Польше речь была; но с речи
Бог весть зачем, бог весть куда
Сбиваюсь от горячей встречи
Нежданных мыслей. Господа!
Простите раз мне навсегда.
По Польше и езда веселье,
И остановка не в наклад:
Иной бы и зажиться рад,
Как попадет на новоселье;
Затем, что пара бойких глаз,
Искусных в проволочке польской

(От коих он пылал и гас,
Был смел и робок в тот же час),
Так заведет дорогой скользкой,
Так закружит в нем дурь и хмель,
Что шуткой с первого присеста
Она его, не тронув с места,
Промчит за тридевять земель.
Так, помню польские ночлеги:
Тут есть для отдыха и неги
На что взглянуть, где лечь, что
съесть, —
Грешно б о наших речь завесть.
И чтоб не дать себя проклятью
Патриотических улик,
Патриотической печатью
Не лучше ли скрепить язык?
Певец, который ведал горе,
Сказал: «Nessun maggior dolore»
И прочее; не прав ли он?
Смотрю на память с двух сторон:
Благоприятной и враждебной.
Она, как в древности кумир,
На ликах носит брань и мир.
То злобный дух, то друг волшебный,
Она нам в казнь или в любовь;
Иль дразнит благом, уж заочным,
Иль говорит: условьем срочным
Что было, может быть и вновь.
По крайней мере, память ныне,
Смотря приветливым лицом,
Мне светит в зе́ркальной святыне
Своим волшебным фонарем.
Голодный, стол окинув взглядом,
И видя в разных племенах
Живой обед со мною рядом
На двух и четырех ногах,
Голодный, видя к злой обиде,
Как по ногам моим со сна,
С испуга, в первобытном виде
Семейно жмется ветчина,
Я не грущу: пусть квас и молод,
А хлеб немного пожилой,

Я убаюкиваю голод
Надеждой, памяти сестрой.
Постясь за полдником крестьянским,
Отрадно мне себе сказать:
Я трюфли запивал шампанским,
Бог даст, и буду запивать.
Итак, ваш путевой нотарий,
Из русской почтовой избы
Вам польской почты инвентарий
Я подношу назло судьбы.
Жена иль дочка *комиссаржа*
Полячка, — словом всё сказал:
Тут и портрет и мадригал;
Притом цыплята, раки, спаржа,
Или технически скажу
И местность красок удержу:
«Kurczeta, raczki i szparagi»
(Чего не стерпит лист бумаги
И рифма под моим пером?),
Гитара на стене крестом
С оружьем старопольской славы,
Кумиры чести и забавы
Патриотической четы;
На окнах свежие цветы,
Сарматской флоры дар посильный;
Там в рамках за стеклом черты
Героев Кракова и Вильны,
На полке — чтенье красоты,
Роман трагическо-умильный
И с ним Дмушевского листы,
В которых летописец верный
С неутомимостью примерной
Изо дня в день, из часу в час
Ведет историю Варшавы,
На всё вперяя зоркий глаз:
Спектакли, выезды в заставы,
Продажа книг, побег собак,
Проказы, добрых дел примеры,
Волненье мод и атмосферы,
Движенья жизни — смерть и брак;
Движенья биржи — курс, банкруты;
Дела веков, дела минуты, —

Всё сгоряча в сырой листок
Передает печать прилежно,
Уездам и потомству впрок.
Как я заслушивался нежно
Тебя, варшавский вестовщик,
Когда в душе, во дни разлуки,
Будил замолкнувшие звуки
Словоохотный твой язык.
На голос дружного привета
Ответ созвучный я давал:
Поэзией была газета,
И над афишкой я мечтал.

Я волю дал широким перьям
Залетной памяти моей,
Мечтой коснулся я преддверьям
Чертогов прелестей и фей.
Влетел в Варшаву — и, бессильный,
Засел я в сети прежних дней.
Здесь тайна. Критик щепетильный,
Ты не поймешь моих речей.
«Umizgai się'» — за это слово,
Хотя ушам оно сурово,
Я рад весь наш словарь отдать:
На нем хранится талисманом
Могущей прелести печать;
Обворожительным дурманом
Щекотит голову и грудь
Того, кто воздухом Варшавы
Был упоен когда-нибудь,
Кто из горнушек *Вейской кавы*
Пил нектар *медленной отравы,*
Или в *Беляны* знает путь.
«Umizgai się!» — в сем слове милом,
Как в сердце, Польша вся живет,
И в хороводе легкокрылом
Своих соблазнов рой влечет.
При этом слове я в Варшаве,
И сон минувший снится въяве:
При блеске свеч передо мной
Взвились, зажглись чета с четой,
Цепь вьется и мазурки знойной

Кипит и гаснет вихорь стройный
Под гул отрывистых смычков.
Или день праздничный: косцёлы
Пустеют; полдень: будто пчелы,
Из ульев набожных трудов,
Расправя крылья золотые,
Спешат святоши молодые.
Пестреют улицы, кипят;
Глазам раздолье и мученье,
Но средоточится волненье —
И рой за роем хлынул в сад.
В аллею сжался город тесный.
Вот в лицах старины мечты:
Вот сейм державный, сейм прелестный,
Вот *Посполита* красоты.
Здесь блещет знаменьем утешным
И мнений и одежд успех;
Чин с чином, с знатью скромный цех
Сравнялись равенством безгрешным
(Хотя оно и вводит в грех)
Пригожих лиц и ножек стройных,
Мой Пушкин, строф твоих достойных,
И так обутых, что едва ль
Их обнажить любви не жаль.
Или в театре *народо́вом,*
Где окриляют польским словом
Патриотический порыв,
Стихи Немцевича забыв,
Глас старца, убежденья полный,
Которым движет и живит
Он зыбкого партера волны,
И увлекает и разит.
Смотрю я на другую сцену,
Где страсти действуют живьем,
Где в представлении немом
Актерам зрители на смену.
Тут *романтическая* связь:
Единства места не держась,
Из кресел в ложи и обратно
Огнем чуть зримым, перекатно
Живая нить игры живой
Завязкой тайною снуется,

А там развязкой распрядется,
Как следует, своей чредой.

Теперь для критики судейской
Словцо ученое: глагол
«Umizgai się», глагол житейской;
Ему нас учит женский пол.
Он жемчуг польского наречья,
Его понятья без увечья
В другой язык не передашь,
Как в словарях других ни рыться;
Faire la cour [1] и *волочиться*
Смешно напоминает блажь
Маркизов чопорного века,
Иль заставляет заключить,
Что волокита должен быть
Или подагрик иль калека.

Могло б досадно быть ушам,
Когда читатели-зоилы
Завóпят: «Sťa viator! Нам
Тащиться за тобой нет силы».
Но к притязаньям дерзких лиц
В нас, к счастью, самолюбье глухо,
И золотом, как у девиц,
Завешено поэта ухо.

Итак, пока нет лошадей,
Пером досужным погуляю...
. . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

В наш исследовательный и отчетливый век примечáния, дополнения, указания нужны не только в путешествии, но и в сказке, в послании. На слово никому и ничему верить не хотят. Поэт волею или неволею должен быть педантом или Кесарем: писать комментарии на самого себя и на свои дела. Тем лучше: более случая поговорить, более бумаги в расходе и книги дороже. Нельзя

[1] Ухаживать (франц.). — *Ред.*

и мне не следовать за потоком. Только признаюсь, не люблю стихов занумерованных: цифры и поэзия — пестрота, которая неприятно рябит в глаза. Пускай читатель даст себе труд отыскивать сам соотношения между стихами и примечаниями.

Эта глава путешествия точно писана за несколько лет. Sta viator! Стой, путник! взято из латинской эпитафии.

В стихах всего высказать невозможно: часто говори не то, что хочешь, а что велит мера и рифма. В прозе я был бы справедливее к русским дорогам; сказал бы, что в некоторых губерниях они и теперь уже улучшаются, что петербургское шоссе утешительный признак государственной просвещенной роскоши и проч. Полустишие: *для проходящих* взято из прекрасной басни И. И. Дмитриева. По имени изобретателя называется *Макадам,* или по английскому произношению: *Мекедем,* новое устройство битой дороги, ныне в большом употреблении в Англии как в городах, так и по трактам.

Данте говорит:

> Nessun maggior dolore,
> Che ricordarsi del tempo felice
> Nella miseria...

то есть, что *нет ничего горестнее, как вспоминать в бедствии о благополучном времени.* Россини придал всю поэзию своей музыки этим словам в опере «Отелло». В нотах его есть мрачность и глубокость Данта.

Описание польской станции не вымысел стихотворца и не ложь путешественника. На многих станциях я находил всё то, что описал; я мог бы подтвердить свои стихи выписками из своей дорожной, памятной книжки, но боюсь показаться уже чересчур педантом. Замечу только, что цыплята, раки и спаржа имеют точно какую-то национальность в польской кухне.

Дмушевский, варшавский актер, издавал в Варшаве ежедневную газету. По выезде своем из Варшавы я любил проходить наизусть по его листкам прежнее свое житье-бытье.

Не имея пред глазами Словаря *Линде,* не могу сказать, как переводит он польский глагол, приведенный мною; но если читатель дал себе труд прочитать стихи до конца, то он узнал смысл этого выражения, которое на польском языке имеет смысл обширный.

Wiejska Kawa — деревенский, сельский (хотя и внутри города) кофейный дом в Варшаве, весьма часто и всеми сословиями и полами посещаемый. Кто видал в праздничный день на очаге его ряд

кофейников и горнушек со сливками кипячеными, тот может вывесть экономико-политическое заключение, сколько Наполеонова антиколониальная система должна была быть вредна для Польши и горька для поляков, которых тогда поили цикорным кофе.

Кто-то отговаривал Вольтера от употребления кофе, потому что он яд. «Может быть, — отвечал он, — но видно медленный: я пью его более шестидесяти лет». Переложив этот ответ в *медленную отраву,* я сбит был рифмою: лучше было бы сказать: *медленный яд.* В повторении известных изречений должно сохранять простоту и точность сказанного. Утешаюсь тем, что примечание мое назидательнее хорошего стиха.

Беляны — монастырь на Висле близ Варшавы; тут в роще бывает блистательное гулянье, вроде наших гуляний 1-го мая.

По воскресеньям и праздничным дням после обедни собираются в саду Красицком.

Польский театр называется в Варшаве *народным,* или национальным театром, и в некотором отношении заслуживает сие имя, хотя драматическая польская литература имеет мало народности и, как наша, более слеплена по французскому образцу. Но и в самых подражаниях отделяется какой-то цвет отечественности. Если недостает народности в авторах, то много народности в партере. В Польше театр не то, что у нас, прививное увеселение; там он настоящая потребность народа. Там есть какой-то театральный патриотизм, согревающий представление. Некоторые родные слова возбуждают постоянно восторг рукоплесканий: одним словом, там есть театр.

Имя Немцевича знакомо и у нас. Поэт, историк, гражданин, семидесятилетнею жизнью своею он достиг до почетнейшего места в ряду своих современников и соотечественников. Хотя здесь упомянуто о нем и по шуточному поводу, но, платя ему дань уважения за характер его, за ум его, еще столь теплый, столь цветущий под холодом седин, и дань признательности за лестную его приязнь ко мне, сердце мое исполняет приятную и священную обязанность. Оговорку, похожую на эту, могу отнести вообще и к Варшаве. Если я себя хорошо выразил в стихах своих, то сквозь шутки должно пробиваться чувство благодарности и сердечной привязанности.

На замечание, что глава моя очень длинна, и то еще один отрывок, имею честь донести, что я слишком семь часов просидел на станции в ожидании лошадей.

1825

ДВЕ ЛУНЫ

(Застольная песня)

Посмотрите, как полна
Златоликая луна!
Словно чаша круговая
Посреди ночных огней,
Словно скатерть голубая
Расстилается под ней.
Посмотрите, как светла
Чаша чистого стекла!
Златом гроздий благовонных
Как сияет нам она,
Полуночников бессонных
Беззакатная луна!
Хороша небес луна —
Но надежна ли она?
Нет, в красотке вероломной
Постоянства не найти:
То сидит за тучкой темной,
То убудет — и прости!
А застольная луна
Постоянно нам верна,
Всё по мере жажды краше
С погребов встает она:
Застраховано нам в чаше
Полнолуние вина.
Про небесную луну
Я и то упомяну:
На нее глаза таращишь,
Да и только! как тут быть?
Но с небес ее не стащишь,
Но зубами не схватить.
А ручная-то луна
Словно нежная жена!
Так и льнет к губам любовно,
Как домашняя, своя!
В душу так и льется, словно
Закадышная, струя!

1825 (?)

ЗАПРЕТНАЯ РОЗА

Прелестный цвет, душистый, ненаглядный,
Московских роз царица и краса!
Вотще тебя свежит зефир прохладный,
Заря златит и серебрит роса.
Судьбою злой гонимая жестоко,
Свой красный день ты тратишь одиноко,
Ты про себя таишь дары свои:
Румянец свой, и мед, и запах сладкой,
И с завистью пчела любви, украдкой,
Глядит на цвет, запретный для любви.
Тебя, цветок, коварством бескорыстным
Похитил шмель, пчеле и розе враг;
Он оскорбил лобзаньем ненавистным,
Он погубил весну надежд и благ.
Счастлив, кто, сняв с цветка запрет враждебный
И возвратив *ее* пчеле любви,
Ей скажет: цвет прелестный! цвет волшебный!
Познай весну и к счастью оживи!

<1826>

КОЛЯСКА

(Отрывок из путешествия, в стихах)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Томясь житьем однообразным,
Люблю свой страннический дом,
Люблю быть деятельно-праздным
В уединеньи кочевом.
Люблю, готов сознаться в том,
Ярмо привычек свергнув с выи,
Кидаться в новые стихии
И обновляться существом.
Боюсь примерзнуть сиднем к месту
И, волю осязать любя,
Пытаюсь убеждать себя,

Что я не подлежу аресту.
Прости, шлагбаум городской,
И город, где всегда на страже
Забот бессменных пестрый строй,
А жизнь бесцветная всё та же;
Где бредят, судят, мыслят даже
Всегда по таксе цеховой.
Прости, блестящая столица!
Великолепная темница,
Великолепный желтый дом,
Где сумасброды с бритым лбом,
Где пленники слепых дурачеств,
Различных званий, лет и качеств,
Кряхтят и пляшут под ярмом.
Не раз мне с дела и с безделья,
Не раз с унынья и с веселья,
С излишества добра и зла,
С тоски столичного похмелья
О четырех колесах келья
Душеспасительна была.
Хоть телу мало в ней простору,
Но духом на просторе я.
И недоступные обзору
Из глаз бегущие края,
И вольный мир воздушной степи,
Свободный путь свободных птиц,
Которым чужды наши цепи;
Рекой, без русла, без границ,
Как волны льющиеся тучи;
Здесь лес обширный и дремучий,
Там море жатвы золотой —
Всё тешит глаз разнообразно
Картиной стройной и живой,
И мысль свободно и развязно,
Сама, как птица на лету,
Парит, кружится и ныряет
И мимолетом обнимает
И даль, и глубь, и высоту.
И всё, что на душе под спудом
Дремало в непробудном сне,
На свежем воздухе, как чудом,
Всё быстро ожило во мне.

Несется легкая коляска,
И с ней легко несется ум,
И вереницу светлых дум
Мчит фантастическая пляска.
То по открытому листу,
За подписью воображенья,
Переношусь с мечты в мечту;
То на ночлеге размышленья
С собой рассчитываюсь я:
В расходной книжке бытия
Я убыль с прибылью сличаю,
Итог со страхом проверяю
И контролирую себя.
Так! отъезжать люблю порою,
Чтоб в самого себя войти,
И говорю другим: прости!
Чтоб поздороваться с собою.
Не понимаю, как иной
Живет и мыслит в то же время,
То есть живет, как наше племя
Живет, — под вихрем и грозой.
Мне так невмочь двойное бремя:
Когда живу, то уж живу,
Так что и мысли не промыслить;
Когда же вздумается мыслить,
То умираю наяву.
Теперь я мертв, и слава богу!
Таюсь в кочующем гробу,
И муза грешная рабу
Приулыбнулась на дорогу.
Глупцы! не миновать уж вам
Моих дорожных эпиграмм!
Сатиры бич в дороге кстати:
Им вас огрею по ушам,
Опричники журнальной рати,
С мечом гусиным по бокам.
Писать мне часто нет охоты,
Писать мне часто недосуг:
Ум вянет от ручной работы,
Вменяя труд себе в недуг;
Чернильница, бумага, перья —
Всё это смотрит ремеслом;

Сидишь за письменным столом
Живым подобьем подмастерья
За цеховым его станком.
Я не терплю ни в чем обузы,
И многие мои стихи —
Как быть? — дорожные грехи
Праздношатающейся музы.
Равно движенье нужно нам,
Чтобы расторгнуть лени узы:
Люблю по нивам, по горам
За тридевять земель, как
в сказке,
Летать за музой по следам
В стихоподатливой коляске;
Земли не слышу под собой,
И только на толчке, иль в яме,
Или на рифме поупрямей
Опомнится ездок земной.
Друзья! посу́дите вы строже
О неоседлости моей:
Любить разлуку точно то же,
Что не любить своих друзей.
Есть призрак правды в сей посылке;
Но вас ли бегаю, друзья,
Когда по добровольной ссылке
В коляске постригаюсь я?
Кто лямку тянет в светской службе,
Кому та лямка дорога,
Тот и себе уже и дружбе
Плохой товарищ и слуга.
То пустослова слушай сказки,
То на смех сердцу и уму
Сам дань плати притворной ласки
Бог весть кому, бог весть к чему;
Всю жизнь окрась в чужие краски,
И как ни душно, а с лица
Сначала пытки до конца
Ты не снимай обрядной маски;
Учись, как труженик иной,
Безмолвней строгого трапписта,
С колодой вечных карт в руках
Доигрывает роберт виста

И роберт жизни на крестах;
Как тот в бумагах утопает
И, Геркулес на пустяки,
Слонов сквозь пальцы пропускает,
А на букашке напирает
Всей силой воли и руки.
Приписанный к приличьям в крепость,
Ты за нелепостью нелепость
Вторь, слушай, делай и читай,
И светской барщины неволю
По отмежеванному полю
Беспрекословно исправляй.
Где ж тут за общим недосугом
Есть время быть с собой, иль
с другом;
Знакомый песнью нам пострел
Смешным отказом гнать умел
Заимодавцев из прихожей;
Под стать и нам его ответ,
И для самих себя нас тоже,
Как ни спросись, а дома нет!
По мне, ошибкой моралисты
Твердят, что люди эгоисты.
Где эгоизм? кто полный *я?*
Кто не в долгу пред этим словом?
Нет, *я* глядит в изданьи новом
Анахронизмом словаря.
Держася круговой поруки,
Среди *житейской* кутерьмы,
Забав, досад, вражды и скуки
Взаимно вкладчиками мы.
Мы, выжив *я* из человека,
Есть слово нынешнего века;
Всё *мы* да *мы;* наперечет
Все на толкучем рынке света
Судьбой отсчитанные лета
Торопимся прожить в народ.
Как будто стыдно поскупиться
И днем единым поживиться
Из жизни, отданной в расход.
Всё для толпы — и вечно жадной
Толпою всё поглощено.

Сил наших хищник беспощадный
Уносит нас волною хладной
Иль топит без вести на дно;
Дробь мелкой дроби в общей смете
Вся жизнь, затерянная в свете,
Как бурей загнанный ручей
В седую глубь морских зыбей,
Кипит, теснится, в сшибках стонет,
Но, не прорезав ни следа,
В пучине вод глубоких тонет
И пропадает навсегда.
Но между тем как стихотворный
Скакун, заносчивый подчас,
Мой избалованный Пегас,
Узде строптиво-непокорный,
Гулял, рассудка не спросясь,
И по проселкам своевольно
Бесился подо мной довольно,
Прекрасным всадником гордясь.
Пегаса сродники земные,
Пегасы просто почтовые
Меня до почты довезли.
Да чуть и мне уж не пора ли
Свернуть из баснословной дали
На почву прозы и земли!
Друзья! боюсь, чтоб бег мой дальный
Не утомил вас, если вы,
Простя мне пыл первоначальный,
Дойдете до конца главы
Полупустой, полуморальной,
Полусмешной, полупечальной,
Которой бедный Йорик ваш
Открыл журнал сентиментальный,
Куда заносит дурь и блажь
Своей отваги повиральной.
Все скажут: с ним двойной подрыв,
И с ним что далее, то хуже;
Поэт болтливый, он к тому же
Как путешественник болтлив!
Нет, дайте срок: стихов разбега

Не мог сперва я одолеть,
Но обещаюсь присмиреть.
Теперь до нового ночлега
Простите... (*продолженье впредь*).

<1826>

МОРЕ

Как стаи гордых лебедей,
На синем море волны блещут,
Лобзаются, ныряют, плещут
По стройной прихоти своей.
И упивается мой слух
Их говором необычайным,
И сладко предается дух
Мечтам пленительным и тайным.

Так! древности постиг теперь
Я баснословную святыню:
О волны! красоты богиню
Я признаю за вашу дщерь!
Так, верю: родилась она
Из вашей колыбели зыбкой,
И пробудила мир от сна
Своею свежею улыбкой.

Так, верю: здесь явилась ты,
Очаровательница мира!
В прохладе влажного сафира,
В стихии светлой чистоты.
Нам чистым сердцем внушены
Прекрасных таинств откровенья:
Из лона чистой глубины
Явилась ты, краса творенья.

И в наши строгие лета,
Лета существенности лютой,
При вас одних, хотя минутой,
Вновь забывается мечта!

Не смели изменить века
Ваш образ светлый, вечно юный,
Ни смертных хищная рука,
Ни рока грозного перуны!

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной.

И если смертный возмутит
Весь мир преступною отвагой,
Вы очистительною влагой
Спешите смыть мгновенный стыд.
Отринутый из чуждых недр,
Он поглощаем шумной бездной;
Так пятна облачные ветр
Сметает гневно с сени звездной!

Людей и времени раба,
Земля состарилась в неволе;
Шутя ее играют долей
Владыки, веки и судьба.
Но вы всё те ж, что в день чудес,
Как солнце первое в вас пало,
О вы, незыблемых небес
Ненарушимое зерцало!

Так и теперь моей мечте
Из лона зе́ркальной пустыни
Светлеет лик младой богини
В прозрачно-влажной красоте.
Вокруг нее, как радуг блеск,
Вершины волн горят игривей,
И звучный ропот их и плеск
Еще душе красноречивей!

Над ней, как звезды, светят сны,
Давно померкшие в тумане,
Которые так ясно ране
Горели в небе старины.
Из волн, целующих ее,
Мне веют речи дивной девы;
В них слышно прежнее бытье,
Как лет младенческих напевы.

Они чаруют и целят
Тоску сердечного недуга;
Как мировое слово друга,
Все чувства меж собой мирят.
В невыразимости своей
Сколь выразителен сей лепет:
Он пробудил в душе моей
Восторгов тихих сладкий трепет.

Как звучно льнет зефир к струнам,
Играя арфою воздушной,
Так и в душе моей послушной
Есть отзыв песням и мечтам.
Волшебно забывает ум
О настоящем, мысль гнетущем,
И в сладострастьи стройных дум
Я весь в протекшем, весь
в грядущем.

Сюда, поэзии жрецы!
Сюда, существенности жертвы!
Кумиры ваши здесь не мертвы,
И не померкли их венцы.
Про вас поэзия хранит
Свои преданья и поверья;
И здесь, где море вам шумит,
Святыни светлыя преддверья!

Лето 1826

БАЙРОН

(Отрывок)

«Если я мог бы дать тело и выход из груди своей тому, что наиболее во мне, если я мог бы извергнуть мысли свои на выражение и таким образом душу, сердце, ум, страсти, чувство слабое или мощное, всё, что я хотел бы некогда искать, и всё, что ищу, ношу, знаю, чувствую и *выдыхаю,* еще бросить в одно слово, и будь это *одно* слово перун, то я высказал бы его; но, как оно, теперь живу и умираю, не расслушанный, с мыслью совершенно безголосною, влагая ее как меч в ножны...»

(«Чайльд Гарольд». Песнь 3, стрф. XCVII)

Поэзия! твое святилище природа!
Как древний Промефей с безоблачного свода
Похитил луч живой предвечного огня,
Так ты свой черпай огнь из тайных недр ея.
Природу заменить вотще труда усилья;
Наука водит нас, она дает нам крылья
И чадам избранным указывает след
В безвестный для толпы и чудотворный свет.
Счастлив поэт, когда он внял от колыбели
Ее таинственный призыв к заветной цели.
Счастлив, кто с первых дней приял, как лучший дар,
Волненье, смелый пыл, неутолимый жар;
Кто детских игр беглец, объятый дикой думой,
Любил паденью вод внимать с скалы угрюмой,
Прокладывал следы в заглохшие леса,
Взор вопрошающий вперял на небеса
И, тайною тоской и тайной негой полный,
Любил скалы, леса, и облака, и волны.
В младенческих глазах горит души рассвет,
И мысли на челе прорезан ранний след,
И чувствам чуждая душа, еще младая,
Живет в предчувствии, грядущим обладая.

Счастлив он, сын небес, наследник высших благ!
Поведает ему о чуде каждый шаг.
Раскрыта перед ним природы дивной книга;
Воспитанник ее, он чужд земного ига;
Пред ним отверстый мир: он мира властелин!
Чем дале от людей, тем мене он один.
Везде он слышит глас, душе его знакомый:
О страшных таинствах ей возвещают громы,
Ей водопад ревет, ласкается ручей,
Ей шепчет ветерок и стонет соловей.
Но не молчит и он: певец, в пылу свободы,
Поэзию души с поэзией природы,
С гармонией земли гармонию небес
Сливает песнями он в звучный строй чудес,
И стих его тогда, как пламень окрыленный,
Взрывает юный дух, еще не пробужденный,
В нем зажигая жар возвышенных надежд;
Иль, как Перуна глас, казнит слепых невежд,
В которых, под ярмом презрительных желаний,
Ум без грядущего и сердце без преданий.
Таков, о Байрон, глас поэзии твоей!
Отважный исполин, Колумб новейших дней,
Как он предугадал мир юный, первобытный,
Так ты, снедаемый тоскою ненасытной
И презря рубежи боязненной толпы,
В полете смелом сшиб Иракловы столпы:
Их нет для гения в полете непреклонном!
Пусть их лобзает чернь в порабощеньи сонном,
Но он, вдали прозрев заповедну́ю грань,
Насильства памятник и суеверья дань,
Он жадно чрез нее стремится в бесконечность!
Стихия высших дум — простор небес и вечность.
Так, Байрон, так и ты, за грань перескочив
И душу в пламенной стихии закалив,
Забыл и дольный мир, и суд надменной черни;
Стезей высоких благ и благодатных терний
Достиг ты таинства, ты мыслью их проник,
И чудно осветил ты ими свой язык.
Как страшно-сладостно в наречьи сердцу новом
Нас пробуждаешь ты молниеносным словом,
И мыслью, как стрелой перунного огня,

Вдруг освещаешь ночь души и бытия!
Так вспыхнуть из тебя оно было готово —
На языке земном несбыточное слово,
То слово, где б вся жизнь, вся повесть благ
и мук
Сосредоточились в единый полный звук;
То слово, где б слились, как в верный отголосок,
И жизни зрелый плод и жизни недоносок,
Весь пыл надежд, страстей, желаний, знойных дум,
Что создали мечты и ниспровергнул ум,
Что намекает жизнь и не доскажет время,
То слово — тайное и роковое бремя,
Которое тебя тревожило и жгло,
Которым грудь твоя, как Зевсово чело,
Когда им овладел недуг необычайный,
Тягчилась под ярмом неразрешенной тайны!
И если персти сын, как баснословный бог,
Ту думу кровную осуществить не мог,
Утешься: из среды души твоей глубокой
Нам слышалась она, как гул грозы далекой,
Не грянувшей еще над нашею главой,
Но нам вещающей о тайне страшной той,
Пред коей гордый ум немеет боязливо,
Которую весь мир хранит красноречиво!
Мысль всемогуща в нас, но тот, кто мыслит, слаб;
Мысль независима, но времени он раб.
Как искра вечности, как пламень беспредельный,
С небес запавшая она в сосуд скудельный,
Иль гаснет без вести, или сожжет сосуд.
О Байрон! над тобой свершился грозный суд!
И лучших благ земли и поздних дней достойный,
Увы! не выдержал ты пыла мысли знойной,
Мучительно тебя снедавшей с юных пор.
И гроб, твой ранний гроб, как Фениксов костер,
Благоухающий и жертвой упраздненный,
Бессмертья светлого алтарь немой и тленный,
Свидетельствует нам весь подвиг бытия.
Гроб, сей Ираклов столп, один был грань твоя,
И жизнь твоя гласит, разбившись на могиле:
Чем смертный может быть, и чем он быть не в силе.

Между 1824 и 1827

ТЕПЕРЬ МНЕ НЕДОСУГ

Делец пришел к начальнику с докладом,
Графиня ждет от графа денег на дом,
На бале граф — жену до петухов,
Бедняк — давно обещанного места,
Купец — долгов, невеста — женихов,
Пилад — услуг от верного Ореста;
Им всем ответ: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Но звать приди вельможу на пирушку,
Явись в приказ со вкладчиною в кружку,
Хвалить в глаза писателя начни,
Иль подвергать соперников разбору,
Будь иль в ходу, иль ходокам сродни, —
Гость дорогой всегда, как деньги, в пору!
Не слышишь ты: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Чтоб улестить взыскательную совесть,
И многих лет замаранную повесть
Хоть обложить в красивый переплет,
Ханжа твердит: «Раскаяться не поздно!»
Когда ж к нему раскаянье придет
И в злых делах отчета просит грозно,
Он ей в ответ: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Брак был для них венцом земного блага,
Их сопрягла взаимная присяга,
Их запрягла судьба за тот же гуж;
Нет года: брак не роз, уж терний жатва;
Жены ль вопрос, жену ли спросит муж:
«А где ж любовь, а где ж на счастье клятва?»
Ответ как тут: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Когда возьмет меня запой парнасской
И явится схоластика с указкой,
Сказав мне: «Стих твой вольничать привык;

Будь он хоть пошл, но у меня в границах,
Смирись, пока пострела не настиг
Журнальный рунд деепричастий в лицах!»
Я ей в ответ: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Есть гостья: ей всегда все настежь двери —
Враждебный дух иль счастливая пери
Въезжает в дом на радость иль на страх;
Как заскрыпит ее повозки полоз
У молодой беспечности в дверях,
Когда подаст она счастливцу голос,
Не скажешь ей: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг!»

<1827>

ВЫДЕРЖКА

Мой ум — колода карт. «Вот вздор!
Но, знать, не первого разбора!» —
Прибавит, в виде приговора,
Журнальной партьи *матадор.*
Вам, господа, и книги в руки!
Но с вашей легкой мне руки,
Спасибо вам, могу от скуки
Играть в *носки* и в *дураки.*

В моей колоде по мастям
Рассортированы все люди:
Сдаю я желуди иль *жлуди*
По вислоухим игрокам;
Есть *бубны* — славным за горами;
Вскрываю *вины* для друзей;
Живо-усопшими творцами
Я вдоволь лакомлю *червей.*

На выдержку ль играть начну,
Трещит *банк* глупостей союзных,
И банкомет, из самых грузных,
Не усидит, когда загну;

Сменяются, берут с испуга
Вновь дольщиков в игру свою...
Бог помощь им топить друг друга,
А я их гуртом всех топлю.

Что мысли? Выдержки ума! —
А у кого задержки в этом? —
Тот засдается, век с лабетом
В игре и речи и письма;
Какой ни сделает попытки,
А глупость срежет на просак!
Он проиграется до нитки
И выйдет начисто дурак.

Вот партьи дамской игрочки,
Друзья, два бедные Макара:
На них от каждого удара
Валятся шишки и щелчки;
Один, с поблекшими цветами,
С *последней жертвой*, на мель стал;
Тот мелом, белыми стихами,
Вписал свой проигрыш в журнал.

Игра честей в большом ходу,
В нее играть не всем здорово:
Играя на честно́е слово,
Как раз наскочишь на беду.
Тот ставит свечку злому духу,
Впрок не пойдет того казна,
Кто легкоумье ловит в *муху,*
Чтоб делать из нее слона.

Не суйтеся к большим тузам,
Вы мне под пару недоростки;
Игрушки кошке, мышке слезки —
Давно твердит рассудок нам;
Поищем по себе игорку,
Да игроков под нашу масть:
Кто не по силам лезет в *горку,*
Тот может и впросак попасть.

А как играть тому сплеча,
Кто заручился у фортуны;
Он лука натяни все струны
И бей все взятки сгоряча.
Другой ведет расчет, и строгий,
Но за бессчетных счастье бог,
И там, где умный *выиграл ноги,*
Там дурачок всех срезал с ног.

Бедняк, дурак и нам с руки,
Заброшенный в народной давке,
У счастья и у всех в отставке,
Клим разве мог играть в *плевки;*
Теперь он стер успехов губкой
Всё, чем обчелся в старину,
В игре коммерческой с прикупкой
Он вскрыл удачно на жену.

Друзья! кто хочет быть умен,
Тот по пословице поступит:
Продаст он книги, карты купит;
Так древле нажил ум Семен.
Ум в картах — соглашусь охотно!
В ученом мире видим сплошь:
Дом книгами набит, и плотно,
Да карт не сыщешь ни на грош.

Памфил, пустая голова!
Ты игроком себя не числи:
Не вскроешь ты на козырь
мысли,
Как ни тасуй себе слова.
Не такова твоя порода,
Игрой ты не убьешь бобра:
Твой ум и полная колода,
Я знаю, но не карт игра.

<1827>

К ИЛЛИЧЕВСКОМУ

И за письмо и за подарок
Стихами наскоро плачу.
Пред Фебом ты зажег огарок,
А не огромную свечу;
Но разноцветен он и ярок,
И музе нашей по плечу;
Пылает он потешным блеском,
Подсыпан порохом слегка,
Звездой рассыпчатой со треском
Взрывается исподтишка
И мечет, за народным плеском,
Шутихи под нос дурака.
Пальбой огней своих потешных
Пугай глупцов и радуй нас;
Не кайся в шалостях безгрешных;
То поделом, то для проказ
И встречных ты и поперечных
Коли и в бровь и прямо в глаз.
Задорной музы собеседник,
Когда-то знал я твой язык.
Но нет! ты мне не ученик,
А разве заживо наследник.

1827

1828 ГОД

Друзья! вот вам из отдаленья
В стихах визитный мой билет,
И с Новым годом поздравленья
На много радостей и лет.
Раздайся весело будильник
На новой, годовой заре,
И всех благих надежд светильник
Зажгись на новом алтаре.

Друзья! по вздоху, полной чаше
За старый год! и по тройной
За новый! Будущее наше

Спит в колыбели роковой.
Год новый! Каждый, новой страстью
Волнуясь, молит новых благ:
Кто рад испытанному счастью,
Кто от приволья ни на шаг.

Судьба на алчное желанье
В нас обрекла жрецов и жертв.
Желанье есть души дыханье:
Кто не желает, тот уж мертв.
Оно — в лампаде жизни масло;
Как выгорит — хоть выкинь прочь!
Жар и сиянье — всё погасло;
Зевнув, скажи: покойна ночь!

На всё тогда гляди бесстрастно
И чувство в *убылых* пиши;
Огнивой жизни бьешь напрасно
В кремень бесплаunion души:
Не выбьешь искры вдохновенной,
Не бросишь звука в мертвый слух,
Во тьме святыни упраздненной,
Без жизни — жертвенник потух.

Во мне еще живого много,
И сердце полно через край;
Но опытность нас учит строго:
Иного про себя желай!
И так в признаньях задушевных
Я сердца не опорожню,
А из желаний ежедневных
Коё-что бегло начерню.

Будь в этот год — бедам помеха,
А на добро — попутный ветр;
Будь меньше слез, а боле смеха;
Будь всё на *ясном* барометр!
Будь счастье в скорби сердобольно;
Будь скорбь в смирении горда;
Будь торжество не своевольно,
А слабость совестью тверда.

Будь, как у нас бывало древле,
На православной стороне:
Друг и шампанское дешевле,
А совесть, ум и рожь — в цене.
Будь искренность не горьким блюдом;
В храм счастья — чистое крыльцо,
Рубли и мысли — не под спудом,
А сор и вздор — не налицо.

Будь в этот год, другим неравный,
Все наши умники — умны,
Мольеры русские забавны,
А Кребильоны не смешны.
Будь наши истины не сказки,
Стихи не проза, свет не тьма,
И не тенета ближних ласки,
И чувства не игра ума.

Назло безграмотных нахалов
И всех, кто только им сродни,
Дай бог нам более журналов:
Плодят читателей они.
Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо;
Где грамота — там просвещенье;
Где просвещенье — там добро.

Козлов и Пушкин с Баратынским!
Кого ж еще бы к вам причесть?
Дай вам подрядом исполинским,
Что день, стихов нам ставить десть!
А вам, поставщикам всех бредней
На мельницах поэм и од,
Дай муза рифмою последней
Вам захлебнуться в Новый год!

Дай бог за скрепой и печатью
Свершиться прочной мировой:
У пишущих — с капризной *ятью,*
У сердца — с гордой головой;
У отцветающих красавиц —
С красавицами в цвете дней;

У юридических пиявиц —
С поживкой тяжебных сетей.

Но как ни бегай рифмой прыткой,
Рифм ко всему прибрать нельзя.
К новорожденному попыткой
С одной мольбой пойдем, друзья:
Пусть всё худое в вечность канет
С последним вздохом декабря,
И всё прекрасное проглянет
С улыбкой первой января.

Декабрь 1827

* * *

Кто будет красть стихи твои?
Давно их в Лете утопили;
Иль — их, забывшися, прочли,
Иль — прочитавши, позабыли!

<1827>

КРОХОБОРАМ

Сорвавшейся с пера ошибкою моею
Живете, скромники, вы несколько уж лет;
Я вашей трезвости ценить пример умею
И каюсь, что с меня больших вам взяток нет;
Но критикам верней ваш навык хлебосольный,
И с вашего стола для жадных им потреб,
От щедрой глупости, к несчастным сердобольной,
Идет насущный хлеб.

<1827>

* * *

Двуличен он! избави боже!
Напрасно поклепал глупца;
На этой откровенной роже
Нет и единого лица.

<1828>

ПОСЛАНИЕ К А. А. Б.

ПРИ ПОСЫЛКЕ ПОРТРЕТА

На каждом веке отпечаток
Каких-нибудь причуд в чести;
Одна стареется, в задаток
Спешит другая подрасти.
Державин, веку дав заглавье,
Сказал: *«Весь век стал бригадир»*.
Теперь заброшен на бесславье
Высокородия кумир,
И бригадирство не в помине;
Но в свой черед мы скажем ныне:
Литографирован весь мир.
Теперь кто только нос имеет
Посереди лица, тот сплошь
Его прославить не робеет,
Хотя будь нос и нехорош.
Не мудрено тут вывесть справку:
Взойти в кондитерскую лавку,
Иль в лавку к Слёнину — кругом
Висят бессмертья кандидаты,
Кто с шпагою, а кто с пером,
А кто и так, из малой платы.
То своекоштный кандидат,
В рядах бессмертья рекрут вольный:
На камне, взятом напрокат,
Он камень свой краеугольный
Во храме славы основал
И в лица без лица попал.
Какие личные загадки
Археол́огам дальних дней!

И те, чьи рожи — опечатки
В живом издании людей,
Теперь благим изобретеньем
В свет изданы вторым тисненьем,
Хотя и первое внаклад.
Тем лучше! выдумке я рад.
В наш век народность, повсеместность,
Молва и слава дешева;
И на всемирную известность
В наш век доступнее права.
Бывало, слава — монополья
Немногих лиц, немногих дел;
Теперь мы дождались раздолья,
И славу каждый подсмотрел.
Век литографий, пароходов,
Fac simile, *Записок* век!
В тебе и без больших расходов
Десятерится человек.
Сосредоточилось всё в мире,
Везде удобства и успех,
И жизнь, как дважды два четыре,
Задача легкая для всех.
Я рад, что мне судьбы велели
Родиться в выгодные дни,
Когда желанья ближе к цели
И тайны счастья не в тени.
Когда нет мер людским границам,
И, мастерство благодаря,
Под стать неживописным лицам,
Литографирован и я.
Вы мой портрет иметь хотите,
Подарок этот в прибыль мне:
Не в памяти, так на стене
Мой образ дома утвердите.
Ценить умею эту честь
Умом и чувством непритворно,
И своего лица покорно
Спешу вам экземпляр поднесть.
Мне извинительно пристрастье
К литографическим трудам,
Когда иметь я буду счастье
Быть и заочно близок к вам.

В ваш кабинет сей дар смиренный
Не много блеска принесет
И вам на ум ваш просвещенный
Высоких дум не наведет;
Он чародейством благосклонным
Не расщекотит головы,
Ни славы дымом благовонным,
Ни сладким запахом молвы.
Нет! этот лоскуток бумажный,
Где личное мое клеймо,
Будь вам хоть акт и маловажный
Или заемное письмо
В моем воспоминаньи нежном,
В желаньи видеть, слышать вас,
И в уваженьи, с дружбой смежном,
Когда мне в дружбе не отказ;
А что сей вексель не обманчив,
Порука вы: веселый нрав,
Ваш взор, который так приманчив,
И ум так запросто лукав.
Всё, что сказал нелицемерно,
Пусть подтвердит вам мой портрет,
И я за скрепой сердца вслед
Прибавлю: с подлинником верно.

<1828>

ПРОСТОВОЛОСАЯ ГОЛОВКА

Простоволосая головка,
Улыбчивость лазурных глаз,
И своенравная уловка,
И блажь затейливых проказ —

Всё в ней так молодо, так живо,
Так не похоже на других,
Так поэтически игриво,
Как Пушкина веселый стих.

Пусть спесь губернской прозы трезвой,
Чинясь, косится на нее,

Поэзией живой и резвой
Она всегда возьмет свое.

Она пылит, она чудесит,
Играет жизнью, и, шутя,
Она влечет к себе и бесит,
Как своевольное дитя.

Она дитя, резвушка, мальчик,
Но мальчик, всем знакомый нам,
Которого лукавый пальчик
Грозит и смертным и богам.

У них во всем одни приемы,
В сердца играют заодно:
Кому глаза ее знакомы,
Того уж сглазил он давно.

Ее игрушка — *сердцеловка,*
Поймает сердце и швырнет;
Простоволосая головка
Всех поголовно поберет!

Июль 1828

ЧЕРНЫЕ ОЧИ

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На́ небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

Тайным восторгом сердце объято,
В вашем сгорая огне;
Звуков Петрарки, песней Торквато.
Ищешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы!
В сердце нет песней, увы!
Южные очи северной девы,
Нежных и страстных, как вы!

1828

ЗИМНИЕ КАРИКАТУРЫ

(ОТРЫВКИ ИЗ ЖУРНАЛА ЗИМНЕЙ ПОЕЗДКИ В СТЕПНЫХ ГУБЕРНИЯХ. 1828)

Русская луна

Русак, поистине сказать,
Не полунощник, не лунатик:
Не любит ночью наш флегматик
На звезды и луну зевать.

И если в лавках музы русской
Луной торгуют наподхват,
То разве взятой напрокат
Луной немецкой иль французской.

Когда ж в каникулы зимы
Горит у нас мороз трескучий,
И месяц на небе без тучи,
Наверно, мерзнет, как и мы.

«Теперь-то быть в дороге славно!» —
Подхватит тут прямой русак.
Да, черта с два! как бы не так,
Куда приятно и забавно!

Нет, воля ваша, господа!
Когда мороз дерет по коже,
Мне теплая постель дороже,
Чем ваша прыткая езда.

Кибитка

Что за медвежие набеги
Сам-друг с медведем на спине?

Нет, нет, путь зимний не по мне:
Мороз, ухабы, вьюги, снеги.

А подвижной сей каземат,
А подвижная эта пытка,
Которую зовут: кибитка,
А изобрел нам зимний ад.

Неволя, духота и холод;
Нос зябнет, а в ногах тоска,
То подтолкнет тебя в бока,
То головой стучишь, как молот.

И всё, что небо обрекло
На сон вещественныя смерти,
Движеньем облекают черти
Страдальцу горькому назло.

Подушки, отдыха приюты,
Неугомонною возней
Скользят, вертятся под тобой,
Как будто в них бесенок лютый,

Иль шерстью с зверя царства тьмы
Набил их адский пересмешник,
И, разорвав свой саван, грешник
Дал ведьмам наволки взаймы.

И в шапке дьявол колобродит:
То лоб теснит, то с лба ползет,
То голова в нее уйдет,
То с головы она уходит.

Что в платье шов, то уж рубец,
В оковах словно руки, ноги,
И, снаряжая для дороги,
Твой камердинер был кузнец.

Дремота липнет ли к реснице,
Твой сон — горячки бред шальной:
То обопрется домовой
На грудь железной рукавицей;

То хочешь ты без крыл лететь,
То падаешь в пучину с моста,
То вдруг невиданного роста
Идет здороваться медведь;

То новый враг перед страдальцем:
С тетрадью толстой рифмодул
Стихами в петлю затянул,
Схватя за петлю мощным пальцем.

Метель

День светит; вдруг не видно зги,
Вдруг ветер налетел размахом,
Степь поднялася мокрым прахом
И завивается в круги.

Снег сверху бьет, снег веет снизу,
Нет воздуха, небес, земли;
На землю облака сошли,
На день насунув ночи ризу.

Штурм сухопутный: тьма и страх!
Компас не в помощь, ни кормило:
Чутье заглохло и застыло
И в ямщике и в лошадях.

Тут выскочит проказник леший,
Ему раздолье в кутерьме:
То огонек блеснет во тьме,
То перейдет дорогу пеший,

Там колокольчик где-то бряк,
Тут добрый человек аукнет,
То кто-нибудь в ворота стукнет,
То слышен лай дворных собак.

Пойдешь вперед, поищешь сбоку,
Всё глушь, всё снег, да *мерзлый пар.*
И божий мир стал снежный шар,
Где как ни шаришь, всё без проку.

Тут к лошадям косматый враг
Кувыркнется с поклоном в ноги,
И в полночь самую с дороги
Кибитка на бок — и в овраг.

Ночлег и тихий и с простором:
Тут тараканам не залезть,
И разве волк ночным дозором
Придет проведать — кто тут есть?

Ухабы. Обозы

Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,
    Какой свирепый ураган
Стоячей качкою, волнами без движенья
    Изрыл сей снежный океан?

Кибитка-ладия шатается, ныряет:
То вглубь ударится со скользкой крутизны,
То дыбом на хребет замерзнувшей волны
    Ее насильственно кидает.

Хозяйство, урожай, плоды земных работ,
В народном бюджете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот,
Но жаль, что портите вы зимние дороги.

На креслах у огня, не хуже чем Дюпень,
Движенья сил земных я радуюсь избытку;
Но рад я проклинать, как попаду в кибитку,
Труды, промышленность и пользы деревень.

Обозы, на Руси быть *зимним судоходством* [1]
Вас русский бог обрек, — и милость велика:
Помещики от вас и с деньгой и с дородством,
Но в проезжающих болят от вас бока.

Покажется декабрь — и тысяча обозов
Из пристаней степных пойдут за барышом,

---

[1] Подражание князю Потемкину, который называл жидов судоходством Польши.

И путь, уравненный от снега и морозов,
Начнут коверкать непутем;

Несут к столицам ненасытным
Что целый год росло, а люди в день съедят:
Богатства русские под видом первобытным
Гречихи, ржи, овса и мерзлых поросят,

И сельских прихотей запас разнообразный,
Ко внукам бабушек гостинцы из села,
И городским властям невинные соблазны:
Соленые грибы, наливки, пастила.

Как муравьи, они копышатся роями,
Как муравьям, им счета не свести;
Как змии длинные, во всю длину пути
Перегибаются ленивыми хребтами.

То разрывают снег пронзительным ребром,
И застывает след, прорезанный глубоко;
То разгребают снег хвостом,
Который с бока в бок волочится широко.

Уж хлебосольная Москва
Ждет сухопутные флотильи,
В гостеприимном изобильи
Ее повыбились права.

Всю душу передав заботливому взору,
К окну, раз десять в день, подходит бригадир,
Глядит и думает: придет ли помощь в пору?
Задаст ли с честью он свой именинный пир?

С умильной радостью, с слезой мягкосердечья
Уж исчисляет он гостей почетных съезд,
И сколько блюд и сколько звезд
Украсят пир его в глазах Замоскворечья.

Уж предначертан план, как дастся сытный бой,
Чтоб быть ему гостей и дня того достойным;
Уж в тесной зале стол большой
Рисуется пред ним покоем беспокойным.

Простор локтям! — изрек французской кухни суд,
Но нам он не указ, благодарим покорно!
Друг друга поприжав, нам будет всем просторно;
Ведь люди в тесноте живут.

И хриплым голосом, и брюхом на виду
Рожденный быть вождем в служительских фалангах,
Дворецкий с важностью в лице и на ходу
Разносит кушанья по табели о рангах.

Дверь настежь: с торжеством, как витязь на щитах,
Толпой рабов осетр выносится картинно;
За ним, салфеткою спеленутую чинно,
Несут вдову Клико, согретую в руках.

Молю, в желанный срок да не придет обоз,
И за мои бока молю я мщенья! мщенья!
А если и придет, да волей провиденья
День именин твоих днем будет горьких слез.

Испорченный судьбой, кухмистром и дворецким,
Будь пир твой в стыд тебе, гостям твоим во вред!
Будь гость, краса и честь пирам замоскворецким,
Отозван на другой обед!

Но, если он тебя прибытьем удостоит,
Пусть не покажется ему твоя хлеб-соль,
И что-нибудь нечаянно расстроит
Устроенный ему за месяц рокамболь.

1828

РУССКИЙ БОГ

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,

Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.

Бог грудей и <. . .> отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.

Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.

К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.

1828

К НИМ

За что служу я целью мести вашей,
Чем возбудить могу завистливую злость?
За трапезой мирской, непразднуемый гость,
Не обойден ли я пирующею чашей?
Всмотритесь, истиной прочистите глаза:
Она утешит вас моею наготою,
Быть может язвами, которыми гроза
Меня прожгла незримою стрелою.

И что же в дар судьбы́ мне принесли?
В раскладке жребиев участок был мне нужен.
Что? две-три мысли, два-три чувства, не
из дюжин,
Которые в ходу на торжищах земли,
И только! Но сей дар вам не был бы по нраву,
Он заколдован искони;
На сладость тайную, на тайную отраву
Ему подвластные он обрекает дни.

Сей дар для избранных бывает мздой и казнью,
Его ношу в груди, болящей от забот,
Как мать преступная с любовью и боязнью
Во чреве носит тайный плод.
Еще до бытия приял, враждой закона,
Он отвержения печать;
Он гордо ближними от их отринут лона,
Как бытия крамольный тать.

И я за кровный дар перед толпой краснею,
И только в тишине, и скрытно от людей,
Я бремя милое лелею
И промысл за него молю у алтарей.
Счастливцы! Вы и я, мы служим двум фортунам.
Я к вашей не прошусь; моя мне зарекла
Противопоставлять волненью и перунам
Мир чистой совести и хладный мир чела.

1828 или 1829

ТРИ ВЕКА ПОЭТОВ

Когда поэт еще невинен был,
Он про себя, иль на ухо подруге,
Счастливец, пел на воле, на досуге,
И на заказ стихами не служил.
Век золотой! тебя уж нет в помине,
И ты идешь за баснословный ныне.
Тут век другой настал вослед ему.
Поэт стал горд, стал данник общежитью,
Мечты свои он подчинил уму,
Не вышнему, земному внял наитью,
И начал петь, мешая с правдой ложь,
Высоких дам и маленьких вельмож.
Им понукал и чуждый, и знакомый;
Уж сын небес — гостинный человек:
Тут в казнь ему напущены альбомы,
И этот век — *серебряный был век.*
Урок не впрок: всё суетней, всё ниже,
Всё от себя подале, к людям ближе,
Поэт совсем был поглощен толпой,
И неба знак смыт светскою волной.
Не отделен поэт на пестрых сходках
От торгашей игрушек, леденцов,
От пленников в раскрашенных колодках,
От гаеров, фигляров, крикунов.
Вопль совести, упреки бесполезны;
Поэт заснул в губительном чаду,
Тут на него напущен *век железный*
С бичом своим, в несчастную череду.
Лишился он последней благодати;
Со всех сторон, и кстати и некстати,
В сто голосов звучит в его ушах:
«Пожалуйте стихи в мой альманах!»
Бедняк поэт черкнет ли что от скуки, —
За ним, пред ним уж Бриарей сторукий,
Сей хищник рифм, сей альманашный бес,
Хватает всё, и, жертва вечных страхов,
По лютости разгневанных небес,
Поэт в сей век — оброчник альманахов.

<1829>

СЛЕЗЫ

Сколько слез я пролил,
Сколько тайных слез
Скрыться приневолил
В дни сердечных гроз!

Слезы, что пробились,
Позабыты мной;
Чувства освежились
Сладкой их росой.

Слезы, что отсели
На сердечном дне,
К язвам прикипели
Ржавчиной во мне.

<1829>

СЛЕЗА

Когда печали неотступной
В тебе подымется гроза
И нехотя слезою крупной
Твои увлажатся глаза,

Я и в то время с наслажденьем,
Еще внимательней, нежней
Любуюсь милым выраженьем
Пригожей горести твоей.

С лазурью голубого ока
Играет зыбкий блеск слезы,
И мне сдается: перл Востока
Скатился с светлой бирюзы.

<1829>

ДОРОЖНАЯ ДУМА

Колокольчик однозвучный,
Крик протяжный ямщика,
Зимней степи сумрак скучный,
Саван неба, облака!
И простертый саван снежный
На холодный труп земли!
Вы в какой-то мир безбрежный
Ум и сердце занесли.

И в бесчувственности праздной,
Между бдения и сна,
В глубь тоски однообразной
Мысль моя погружена.
Мне не скучно, мне не грустно, —
Будто роздых бытия!
Но не выразить изустно,
Чем так смутно полон я.

<1830>

СВЯТОЧНАЯ ШУТКА

Скажите ж, видели ль вы черта?
Каков он? Немец иль русак?
Что на ноге его: ботфорта
Иль камер-юнкерский башмак?
Черноволос ли, белобрыс ли,
В усах ли, иль не дует в ус?
Что, каковы в нем чувства, мысли,
Что за приемы, речи, вкус?
Что от него вы переняли,
Иль не его ль учили вы?
Черт, как ни черт, но всё едва ли
Хитрей он женской головы.
Черт хоть уж ладана боится,
И то одно спасенье есть;
Но кто от женщин защитится,
Но женщин как и чем провесть?

Сжигал я ладан перед ними,
Но сердце с ладаном прожег,
И я с убытками одними,
А откуриться всё не мог.
Что, говорил ли он стихами,
Иль чертовщину прозой драл,
Не хуже, как и между нами,
Дерет ее иной журнал?
Он романтический прелестник,
Или классический ворчун?
Кто сват его: Европы ль Вестник,
Или Онегин, наш шалун?
Что, всё ли он ума палата,
Или *старам стала глупам?*
Я с чертом жил запанибрата
В бедах и счастье пополам,
Меня он жаловал, мой милый,
Грешно мне укорить его,
Я крепок был под вражьей силой
И не страшился ничего.
Но ныне уж другое время:
С летами черт ко мне не тот,
И, по несчастью, злое семя,
Как прежде, цвета не дает.
Не говоря худого слова,
Черт, хоть и добрая душа,
Но, как любви, ему обнова
Для перемены хороша.
Он с молодежью куралесит,
А нас морочит непутем,
И ныне бес меня лишь бесит
И дразнит ангельским лицом.

<1830>

ЛЕСА

Хотите ль вы в душе проведать думы,
Которым нет ни образов, ни слов, —
Там, где кругом густеет мрак угрюмый,
Прислушайтесь к молчанию лесов;

Там в тишине перебегают шумы,
Невнятный гул беззвучных голосов.
В сих голосах мелодии пустыни;
Я слушал их, заслушивался их,
Я трепетал, как пред лицом святыни,
Я полон был созвучий, но немых,
И из груди, как узник из твердыни,
Вотще кипел, вотще мой рвался стих.

<1830>

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Жизнь живущих неверна,
Жизнь отживших неизменна.
Жуковский

Поэзия воспоминаний,
Дороже мне твои дары
И сущих благ и упований,
Угодников одной поры.

Лишь верно то, что изменило,
Чего уж нет и вновь не знать,
На что уж время наложило
Ненарушимую печать.

То, что у нас еще во власти,
Что нам дано в насущный хлеб,
Что тратит жизнь — слепые страсти
И ум, который горд и слеп, —

То наше, как волна в пучине,
Скользящая из жадных рук,
Как непокорный ветр в пустыне,
Как эха бестелесный звук.

В воспоминаниях мы дома;
А в настоящем — мы рабы
Незапной бури, перелома
Желаний, случаев, судьбы.

Одна в убежище безбурном
Нам память мир свой бережет,
Пока детей своих с Сатурном
Сама в безумьи не пожрет.

Кто может хладно, равнодушно
На дом родительский взглянуть?
В ком на привет его послушно
Живей не затрепещет грудь!

Влеченьем сердца, иль случайно
Увижу стены, темный сад,
Где ненарушимо и тайно
Зарыт минувшей жизни клад, —

Я, как скупец, сурово хладный
К тому, чем пользуется он,
И только к тем богатствам жадный,
На коих тленья мертвый сон,

Я от минуты отрекаюсь,
И, охладев к тому, что есть,
К тому, что было, прилепляюсь,
Чтоб сердца дань ему принесть.

Ковчег минувшего, где ясно
Дни детства мирного прошли
И волны жизни безопасно
Над головой моей текли;

Где я расцвел под отчей сенью
На охранительной груди,
Где тайно созревал к волненью,
Что мне грозило впереди;

Где искры мысли, искры чувства
Впервые вспыхнули во мне
И девы звучного искусства
Мне улыбнулись в тайном сне;

Где я узнал по предисловью
Жизнь сердца, род его эпох,

Тоску, зажженную любовью,
Улыбку счастья, скорби вздох,

Всё, чем страстей живые краски
Одели после пестротой
Главы загадочной той сказки,
Которой автор — жребий мой.

Дом, юности моей преддверье,
Чем медленней надежд порыв,
Тем детства сердца суеверье
И давней памяти прилив

Меня к тебе уносит чаще;
Чем жизнь скупее на цветы,
Тем умилительней и слаще
Души обратные мечты.

Пусть в сей упра́здненной святыне
Нет сердцу образов живых,
И в отчем доме был бы ныне
Пришелец я в семье чужих;

Но неотъемлемый, душевный
Мой целый мир тут погребен,
Волненьем жизни ежедневной
Не тронут он, не возмущен.

Призванью памяти покорный,
Он возникает предо мной
С своей красою благотворной,
С своей лазурною весной,

С дарами на запас богатый,
Которых жизнь не сберегла,
И с тем и теми, коих траты
Душа моя пережила.

Как часто в распре своевольной
С судьбою, жизнью и собой,
Чтоб обуздать раздор крамольный
И ропот немощи слепой,

Покинув света хаос бурный,
Вхожу в сей тихий саркофаг,
И мыслью вопрошаю урны,
Где пепел лет, друзей и благ.

Целебной скорбью, грустью нежной
Тогда очистясь, гаснет вдруг
Души то робкой, то мятежной
Обуревающий недуг,

Пробьются умиленья слезы,
Смиряя смутный пыл в груди;
Так в воспаленном небе грозы
Разводят свежие дожди.

Сближая в мыслях с колыбелью
Гробницы ближних и друзей,
Жизнь проясняется пред целью,
Которой не избегнуть ей.

Вчера, сегодня, завтра — звенья
Предвечной цепи бытия,
Которой в тьме недоуменья
Таятся чудные края.

Рожденье, смерть, из урны рока
С неодолимой быстриной,
Как волны одного потока,
Нас уносящие с собой,

Скорбь, радость, буря, ветр попутный
И всё, что испытали мы,
И всё, чем в нас надеждой смутной
Еще волнуются умы;

Всё то, что разнородным свойством,
Враждуя, развлекало нас,
Всё равновесия спокойством
Почиет в этот светлый час.

На той стене, где означаем
Свои неверные следы,

Где улыбаемся, вздыхаем,
Подъемлем битвы и труды, —

До нас прошли, до нас сражались
В шуму падений и побед,
До нас невольно увлекались
Порывом дум, страстей и бед.

Одни надежды и сомненья,
Одни задачи бытия,
Которых тайные решенья,
Как недоступные края,

Обетованные мечтанью,
Но запрещенные уму,
Нас манят, и во мзду исканью
Ввергают снова в хлад и тьму;

Одни веселья и печали
Нас, и которых след остыл,
Равно томили и ласкали
Средь колыбелей и могил.

Почтим же мы любовью нежной
До нас свершивших оный путь,
И мысль о них во мгле мятежной
Звездой отрадной нашей будь!

Когда ж придется нам, прохожим,
Доспехи жизни сбросить с плеч,
И посох странника отложим,
И ратоборца тяжкий меч, —

Пусть наша память, светлой тенью
Мерцая на небе живых,
Не будет чуждой поколенью
Грядущих путников земных.

<1830>

ОСЕНЬ 1830 ГОДА

> Il faisait beau en effet. Comment une idée sinistre aurait elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ce beau soleil, ce ciel si pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul.
>
> *Le dernier jour d'un condamné.* [1]

Творец зеленых нив и голубого свода!
Как верить тяжело, чтобы твоя природа,
Чтобы тот светлый мир, который создал ты,
Который ты облек величьем красоты,
Могли быть смертному таинственно враждебны;
Чтоб воздух, наших сил питатель сей целебный,
Внезапно мог на нас предательски дохнуть
И язвой лютою проникнуть в нашу грудь;
Чтобы земля могла, в благом твоем законе,
Заразой нас питать на материнском лоне!

Как осень хороша! как чисты небеса!
Как блещут и горят янтарные леса
В оттенках золотых, в багряных переливах!
Как солнце светится в волнах, на свежих нивах!
Как сердцу радостно раскрыться и дышать,
Любуяся кругом на божью благодать.
Средь пиршества земли, за трапезой осенней,
Прощальной трапезой, тем смертным драгоценней,
Что зимней ночи мрак последует за ней,
Как веселы сердца доверчивых гостей.

---

[1] Всё вокруг в самом деле было прекрасно. Каким образом мрачная мысль могла бы возникнуть среди всех этих очаровательных впечатлений? Всё представлялось мне теперь в другом свете. Это прекрасное солнце, это ясное небо, этот прелестный цветок, — всё стало белым и бледным, как саван. *Последний день осужденного* (франц.). — *Ред.*

Но горе! тайный враг, незримый, неизбежный,
Средь празднества потряс хоругвию мятежной.
На ней начертано из букв кровавых: Мор.
И что вчера еще увеселяло взор,
Что негу чистую по сердцу разливало:
Улыбчивых небес лазурное зерцало,
Воздушной синевы прозрачность, и лугов
Последней зеленью играющий покров,
И полные еще дыханьем благовонным
Леса, облитые как золотом червонным, —

Весь этот пышный храм, святилище красот,
Не изменившийся, сегодня уж не тот;
Не в радость пестрый лес и ярких гор вершина,
Печальным облаком омрачена картина:
Тень грозной истины лежит на ней. Она
В хладеющую грудь проникнула до дна.
Из истин, истина единая живая,
Смерть воцарилась, жизнь во лжи изобличая,
И сердце, сжатое боязнью и тоской,
Слабеет и падет под мыслью роковой.

Не верьте небесам: им чувство доверялось,
Но сардонически и небо улыбалось.
Есть солнце на небе, а бедствует земля.
Сияньем праздничным одеяны поля,
И никогда пышней не зрелся нам мир божий;
Но светлых сих полей владетель и прохожий,
Земного царства царь, в владении своем,
Один под бич поник униженным челом,
Один, среди богатств цветущего наследства,
Он предан на земле в добычу зла и бедства.

Скорбь в разных образах грозит ему. В борьбе
С Протеем нет ему убежища в себе.
Один в минувшем он и в будущем несчастен,
Один предвидит зло и забывать не властен,
Один не страждущий, он страждет о других;
То слез своих родник, то в доле слез чужих;
Иль жертвой падает, иль из своих объятий
На лютый жертвенник он отпускает братий.

Во дни кровавые народных непогод,
Когда предускорён природы мерный ход,

Когда с небес падет карательная клятва,
И смерти алчущей сторицей зреет жатва
Под знойной яростью убийственных страстей, —
Так в жертвах, преданных секирам палачей,
Последняя стоит, в живой кончине страха,
И очереди ждет, чтоб упразднилась плаха.
Отсрочка ей не жизнь, судьбы коварный дар;
И вместо, чтоб пресек в ней жизнь один удар,
Над нею смерть, свои удары помножая,
Страданий лестницей ведет на край от края.

1830

К ЖУРНАЛЬНЫМ БЛАГОПРИЯТЕЛЯМ

К чему, скажите ради бога,
Журнальный Марс восстал с одра
И барабанная тревога
Гусиных витязей пера?
К чему вы тяжко развозились,
За что так на меня озлились,
Мои нежданные враги,
Которых я люблю, как душу?
К чему с плеча и от ноги
Вы через влагу, через сушу,
Чрез влагу пресных эпиграмм,
Чрез сушу прозы вашей пыльной,
Несетесь по моим пятам
Ордой задорной и бессильной?
Спроситесь средств своих и сил,
Себя изведав, осмотритесь,
Одумайтесь, прохолодитесь
Хотя на льду своих чернил.
В вас две причины: хлад и пламень,
Пыл гнева и таланта лед;
Сей в гору сгоряча несет,
Тот сдуру тащит вниз, как камень.
Останьтесь в равновесном сне;

И, чувствуя свою природу,
Не обжигайтесь на огне,
Когда вас так и тянет в воду.
И как идти вам на меня?
Неблагодарные! Не я ли
Из хаоса небытия
Вас вывел в жизнь! Вы прозябали,
Вы были мертвы. В добрый час
Не я ли в люди вывел вас
Из глазуновского кладбища,
Живых покойников жилища,
Где вас смертельный сон настиг;
И где заглавья многих книг
Гласят в замену эпитафий,
Что тут наборщика рукой
На лобном месте типографий
Казнен иль тот, или другой.
Скажите, скольких мимоходом
Из вас я повил пред народом[1]
Под мой насмешливый свисток,
Взлелеял вас под шапкой пестрой,
И скольких выкормил я впрок
На копьях эпиграммы острой?
Тогда вас только свет и знал,
В тени таившихся малюток,
Когда под качку резвых шуток
Мой стих вас на смех подымал.
Пигмея выровнил мой хлыстик,
А там под ним, другим в пример,
Свернувшийся в журнальный листик
Развился мелкий эфемер;
Задавленный под глыбой снежной
Своих комедий ледяных,
Иной ждал смерти неизбежной
И костенел уж, как свой стих;
Его отрыл я музой чуткой
И на ноги поднять успел,
И раздражительною шуткой
Его оттер и отогрел.
Кто, на стихе моем повиснув,

---

[1] См. «Песнь о полку Игореве».

Вскарабкавшись, с поэмой всплыл;
Кого, живой водою спрыснув,
Я от угара протрезвил.
Калек, замерзших и утопших,
Полуживых, полуусопших,
Слепых, хромых, без рук, без ног,
Расслабленных и слабоумных,
Сухоточных, опухлых, чумных, —
Я призрел всех, я всех сберег.
Без просьбы, без лицеприятья
Имеет вся меньшая братья
Заступника в лице моем:
В моей сатире хлебосольной,
Заботой музы сердобольной,
Открыт страннолриимный дом.
Есть богадельня при больнице;
Дверь настежь: милости прошу,
И тотчас каждого в таблице
С отметкой имя запишу.
И что ж? В угаре своеволья,
Забыв и долг, и честь, и связь,
Против опеки сердоболья
Больница буйно поднялась.

1830

ХАНДРА

(Песня)

Сердца томная забота,
Безымянная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.

Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.

Ей предавшись с сладострастьем,
Благодарно помню я,

Что сироткой под ненастьем
Разрослась любовь моя;

Дочь туманного созвездья,
Красных дней и ей не знать,
Ни сочувствий, ни возмездья
Бесталанной не видать.

Дети тайны и смиренья,
Гости сердца моего
Остаются без призренья
И не просят ничего.

Жертвы милого недуга,
Им знакомого давно,
Берегут они друг друга
И горюют заодно.

Их никто не приголубит,
Их ничто не исцелит...
Поглядишь: хандра всё любит,
А любовь всегда хандрит.

<1831>

ТОСКА

(В. И. Бухариной)

Не знаю я — кого, чего ищу,
Не разберу, чем мысли тайно полны;
Но что-то есть, о чем везде грущу,
Но снов, но слез, но дум, желаний волны
Текут, кипят в болезненной груди,
И цели я не вижу впереди.

Когда смотрю, как мчатся облака,
Гонимые невидимою силой, —
Я трепещу, меня берет тоска,
И мыслю я: «Прочь от земли постылой!
Зачем нельзя мне к облакам прильнуть
И с ними вдаль лететь куда-нибудь?»

Шумит ли ветр? мне на ухо души
Он темные нашептывает речи
Про чудный край, где кто-то из глуши
Манит меня приветом тайной встречи;
И сих речей отзывы, как во сне,
Твердит душа с собой наедине.

Когда под гром оркестра пляски зной
Всех обдает веселостью безумной,
Обвитая невидимой рукой,
Из духоты существенности шумной
Я рвусь в простор иного бытия,
И до земли уж не касаюсь я.

При блеске звезд в таинственный тот час,
Как ночи сон мир видимый объемлет
И бодрствует то, что не *наше* в нас,
Что *жизнь души* — а *жизнь земная* дремлет, —
В тот час один сдается мне: живу,
И сны одни я вижу наяву.

Весь мир, вся жизнь загадка для меня,
Которой нет обещанного слова.
Всё мнится мне: я накануне дня,
Который жизнь покажет без покрова;
Но настает обетованный день,
И предо мной всё та же, та же тень.

<1831>

РАЗГОВОР 7 АПРЕЛЯ 1832 ГОДА

(Графине Е. М. Завадовской)

Нет-нет, не верьте мне: я пред собой лукавил,
Когда я вас на спор безумно вызывал;
Ваш май, ваш Петербург порочил и бесславил,
И в ваших небесах я солнце отрицал.

Во лжи речей моих глаза уликой были:
Я вас обманывал — но мог ли обмануть?
Взглянули б на меня, и первые не вы ли
К тому, что мыслю я, легко нашли бы путь?

Я Петербург люблю, с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной,
И с свежей зеленью младых его садов.

Я Петербург люблю, к его пристрастен лету:
Так пышно светится оно в водах Невы;
Но более всего как не любить поэту
Прекрасной родины, где царствуете вы?

Природы северной любуяся зерцалом,
В вас любит он ее величье, тишину,
И жизнь цветущую под хладным покрывалом,
И зиму яркую, и кроткую весну.

Роскошен жаркий юг с своим сияньем знойным
И чудно-знойными глазами жен и дев —
Сим чутким зеркалом их думам беспокойным,
В котором так кипят любви восторг и гнев.

Обворожительны их прелестей зазывы,
Их нега, их тоска, их пламенный покой,
Их бурных прихотей нежданные порывы,
Как вспышки молнии из душной тьмы ночной.

Любовь беснуется под воспаленным югом;
Не ангелом она святит там жизни путь —
Она горит в крови отравой и недугом,
И уязвляет в кровь болезненную грудь.

Но сердцу русскому есть красота иная,
Сын севера признал другой любви закон:
Любовью чистою таинственно сгорая,
Кумир божественный лелеет свято он.

Красавиц северных он любит безмятежность,
Чело их, чуждое язвительных страстей,
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность,
И пламень голубой их девственных очей.

Он любит этот взгляд, в котором нет обмана,
Улыбку свежих уст, в которой лести нет,

Величье стройное их царственного стана
И чистой прелести ненарушимый цвет.

Он любит их речей и ласк неторопливость,
И в шуме светских игр приметные едва,
Но сердцу внятные — чувствительности живость
И, чувством звучные, немногие слова.

Красавиц северных царица молодая!
Чистейшей красоты высокий идеал!
Вам глаз и сердца дань, вам лиры песнь живая
И лепет трепетный застенчивых похвал!

1832

К СТАРОМУ ГУСАРУ

Эй да служба! эй да дядя!
Распотешил старина!
На тебя, гусар мой, глядя,
Сердце вспыхнуло до дна.

Молодые ночи наши
Разгорелись в ярких снах;
Будто пиршеские чаши
Снова сохнут на губах.

Будто мы не устарели —
Вьется локон вновь в кольцо;
Будто дружеской артели
Все ребята налицо.

Про вино ли, про свой ус ли,
Или прочие грехи
Речь заводишь — словно гусли,
Разыграются стихи.

Так и скачут, так и льются,
Крупно, звонко, горячо,
Кровь кипит, ушки смеются,
И задергало плечо.

Подмывает, как волною.
Душу грешника прости!
Подпоясавшись, с тобою
Гаркнуть, топнуть и пройти.

Черт ли в *тайнах идеала,*
В *романтизме* и *луне* —
Как усатый запевала
Запоет по старине.

Буйно рвется стих твой пылкий,
Словно пробка в потолок,
Иль *Моэта* из бутылки
Брызжет хладный кипяток!

С одного хмельного духа
Закружится голова,
И мерещится старуха,
Наша сверстница Москва.

Не Москва, что ныне чинно
В шапке, в теплых сапогах,
И проводит дни *невинно*
На воде и на водах, —

Но Двенадцатого года
Веселáя голова,
Как сбиралась непогода,
А ей было трын-трава!

Но пятнадцатого года,
В шумных кликах торжества,
Свой пожар и блеск похода
Запивавшая Москва!

Весь тот мир, вся эта шайка
Беззаботных молодцов
Ожили, мой ворожайка!
От твоих волшебных слов.

Силой чар и зелий тайных
Ты из старого кремня

Высек несколько случайных
Искр остывшего огня.

Бью челом, спасибо, дядя!
Спой еще когда-нибудь,
Чтобы мне, тебе подладя,
Стариной опять тряхнуть.

1832

ПОРУЧЕНИЕ В РЕВЕЛЬ

(Николаю Николаевичу Карамзину)

Николай!
Как Олай
Заторчит пред тобой,
Поклонись ты ему,
Изувеченному
В поединке с грозой!

Николай!
Слушай лай —
Моря вой, будто пса
На цепи, под скалой,
Что ворчит в час ночной,
Как дразня небеса!

Николай!
Окликай
Старика за меня,
И седому хрычу —
Лысачу-усачу
Молви: «Доброго дня!»

От души
Почеши
Мокрый ус, то-то страсть!
И погладь, и похоль,
Как заморщится голь,
Как запенится пасть.

Экой черт!
С борта в борт
Как начнет он хлестать
Корабли наподхват —
Затопить землю рад,
Небеса заплевать!

Если ж тих —
Как жених,
Как невеста-краса;
Улыбается он,
Сквозь задумчивый сон,
И глядит в небеса...

Светел, чист,
Серебрист,
Чуть волнуется грудь —
Миловать бы его,
Целовать бы всего
И на нем бы заснуть!

Стонет он, —
А сей стон
Так душе постижим,
Звуки так хороши,
Что все звуки души
В песнь сливаются с ним!

Я стоял,
Я внимал
Этой музыке волн, —
И качалась душа
По волнам, чуть дыша,
Как на якоре челн.

А маяк?
Точно в мрак
Втиснут красный янтарь;
Позадернется вдруг,
То запышет вокруг,
Как волшебный фонарь.

А скалы?
Как скулы
Этой пасти морской!
Штрихберг, Вимс, Тишерт, Фаль!
Дай мне кисть, Рюисдаль,
Дай сравниться с тобой!

Чудный мир,
Вечный пир!
Бог с тобою, земля!
Я в соленой воде
Как в родимом гнезде —
Будто брат корабля!

<1833>

* * *

Надо помянуть, непременно помянуть надо
Трех Матрен
Да Луку с Петром.
Помянуть надо и тех, которые, например:
Бывшего поэта Панцербитера,
Нашего прихода честного пресвитера,
Купца Риттера,
Резанова, славного русского кондитера,
Всех православных христиан города
Санкт-Питера,
Да покойника Юпитера
Надо помянуть, непременно надо:
Московского поэта Вельяшева,
Его превосходительство генерала Ивашева
И двоюродного братца вашего и нашего.
Нашего Вальтера-Скотта Масальского,
Дона Мигуеля короля Португальского
И господина городничего города Мосальского.
Надо помянуть, помянуть надо, непременно надо:
Покойной Беседы члена Кикина,
Российского дворянина Боборыкина
И известного в Банке члена Аникина.

Надобно помянуть и тех, которые, например, между
прочими:
Раба божия Петрищева,
Известного автора Радищева,
Русского лексикографа Татищева,
Сенатора с жилою на лбу, Ртищева,
Какого-то барина Станищева,
Пушкина — не Мусина, не Онегинского,
а Бобрищева,
Ярославского актера Канищева,
Нашего славного поэта шурина Павлищева,
Сенатора Павла Ивановича Кутузова-Голенищева
И, ради Христа, всякого доброго нищего.
Надо еще помянуть, непременно надо:
Бывшего французского короля дисвитского,
Бывшего варшавского коменданта Левицкого
И полковника Квитского,
Американца Монрое,
Виконта Дарленкура и его Ипсибое,
И всех спасшихся от потопа при Ное.
Музыкального Бетговена
И таможенного Овена,
Александра Михайловича Гедеонова.
Всех членов старшего и младшего дома Бурбонова,
И супруга Берийской неизвестного оного,
Камер-юнкера Загряжского,
Уездного заседателя города Ряжского,
И отцов наших, державшихся вина фряжского,
Славного лирика Ломоносова,
Московского статистика Андросова,
И Петра Андреича князя Вяземского курносого,
Оленина стереотипа
И Вигеля Филиппова сына Филиппа.
Бывшего камергера Приклонского,
Господина Шафонского,
Карманный грош князя Григория Волконского
И уж Александра Македонского,
Этого не обойдешь, не объедешь. Надо
Помянуть... покойника Винценгероде,
Саксонского министра Люцероде,
Графиню вице-канцлершу Нессельроде,

Покойного скрыпача Роде,
Хвостова в анакреонтическом роде.
Уж как ты хочешь, надо помянуть:
Графа нашего приятеля Велегорского (что не
любит вина горского),
А по нашему Велеурского,
Покойного пресвитера Самбурского,
Дершау, полицмейстера Санкт-Петербургского,
Почтмейстера города Василисурского.
Надо помянуть: парикмахера Эме,
Ресторатора Дюме,
Ланского, что губернатором в Костроме,
Доктора Шулера, умершего в чуме,
И полковника Бартоломе;
Повара али историографа Миллера,
Немецкого поэта Шиллера
И Пинети, славного ташеншпилера.
Надобно помянуть (особенно тебе): Арндта
Да англичанина Warnt'a.
Известного механика Мокдуано,
Москетти — московского сопрано
И всех тех, которые напиваются рано;
Натуралиста Кювье
И суконных фабрикантов города Лувье,
Французского языка учителя Жиля,
Отставного английского министра Пиля
И живописца-аматёра Киля.
Надобно помянуть:
Жуковского-балладника
И Марса, питерского помадника,
Надо помянуть
Господ: Чулкова,
Носкова,
Башмакова,
Сапожкова.
Да при них и генерала Пяткина
И князя Ростовского-Касаткина.

Март 1833

К ЯЗЫКОВУ

Я у тебя в гостях, Языков!
Я в княжестве твоих стихов,
Где эхо не забыло кликов
Твоих восторгов и пиров.
Я в Дерпте, павшем пред тобою!
Его твой стих завоевал:
Ты рифмоносною рукою
Дерпт за собою записал.
Ты русским духом, русской речью
В нем православья поднял тень
И русских рифм своих картечью
Вновь Дерпту задал Юрьев день.
Хвала тебе! живое пламя
Ты не вотще в груди таил:
Державина святое знамя
Ты здесь с победой водрузил!
Ты под его широкой славой
Священный заключил союз:
Орла поэзии двуглавой
С орлом германских древних муз.
Он твой, сей Дерпт германо-российский!
По стогнам, в россказнях бесед
Еще грохочут отголоски
Твоих студенческих побед.
Ни лет поток, ни элементы
Тебе не страшны под венцом,
И будут поздние студенты
Здесь пить о имени твоем.

В Италии читай Виргилья,
В Париже Беранже читай:
Где музы оперились крылья,
Там на полет ее взирай.
Я здесь читал, твердил прилежно
И с полным наслажденьем вновь
Стихи, где стройно и мятежно
Волнуется твоя любовь,
Стихи, где отразились ярко
Твои студенческие дни,

Сквозь кои ты промчался жарко,
Как сквозь потешные огни,[1]
Стихи, где мужественным словом
Отозвалась душа твоя
В однообразьи вечно новом,
Как все глаголы бытия.
Не слушайся невежд холодных,
Не уважай судей тупых:
Сочувствий тайных и свободных
В них не пробудит свежий стих.
К тебе их суд неблагосклонен,
Тем лучше: следственно ты прав!
Один талант многосторонен,
Многоугодлив и лукав.
Но чувство, брошенное скрытно
Залогом жизни в нашу грудь,
Всегда одно и первобытно,
Чем было, тем оно и будь!
Скажите мне: дыханье розы,
Рев бури, гул морской волны,
Веселья сердца, сердца слезы,
Улыбка первая весны,
В часы полночного молчанья
Звездами вытканная твердь,
Святые таинства созданья:
Рожденье, жизнь, любовь и смерть,
И всё, что жизни нам дороже,
Чем нам дано цвести, скорбеть,
Не также ль всё одно и то же,
Как было, есть и будет впредь?

Сентябрь 1833,
Дерпт

---

[1] ...Мы любовались
На товарищей, — они
Веселые разбегались
И скакали чрез огни.
Языков

ДВА РАЗГОВОРА В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

— Чем занимается теперь Гизо российский?
— Да, верно, тем же всё: какой-нибудь подпиской
На книгу новую, которую — бог даст —
Когда-нибудь и он напишет да издаст!

— Пусть говорят, что он сплетатель скучных врак,
Но публики *никто, как он, не занимает!*
— Как, публики? Бог весть, кто вкус ее узнает?
У публики — вот это *так!*

1833

ЕЩЕ ТРОЙКА

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет
И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто
Раздается яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он.

Словно леший ведьме вторит
И аукается с ней,
Иль русалка тараторит
В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной
Поэтическая весть!
Много в ней и думы томной,
И раздолья много есть.

Прянул месяц из-за тучи,
Обогнул свое кольцо
И посыпал блеск зыбучий
Прямо путнику в лицо.

Кто сей путник? и отколе,
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину,
К ближним ли под кров родной,
Или в грустную чужбину
Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нем ретиво рвется
В путь обратный или вдаль?
Встречи ль ждет он не дождется,
Иль покинутого жаль?

Ждет ли перстень обручальный?
Ждут ли путника пиры
Или факел погребальный
Над могилою сестры?

Как узнать? уж он далеко!
Месяц в облако нырнул,
И в пустой дали глубоко
Колокольчик уж заснул.

<1834>

К ГРАФУ В. А. СОЛЛОГУБУ

(В Дерпт)

Что делает, мой граф, красавица Эмилья?
Сгрустнулось мне по ней и хочется узнать,
Как, милая, она изволит поживать?
Как русским языком играет без усилья?
Как здравствуют ее красивые плеча —
Младого лебедя возвышенные крылья,
Глаза ее, души два светлые луча,
Уста с улыбкою, вдыхающей веселье,
И свежих жемчугов живое ожерелье,
Которыми ее унизаны уста,

И всё, что прелесть в ней, и всё, что
красота?
Сей горделивый стан царицы сановитой
С беспечной простотой, с младенчеством чела,
По коим набожно Минервою-Харитой
Златая старина ее бы нарекла?
Но в наш железный век, в сей век холодной
прозы,
Где светлых вымыслов ощипаны все розы,
Где веры нет к мечтам и мертвы чудеса,
Где разум всё сушит, где даже и на лире
Доказывать должны, что дважды два — четыре,
Где и поэзия, отвергнув небеса,
Чтоб не предать себя изгнанью и проклятью,
Благовествует нам гражданскою печатью,
И где, из красоты кумиров не творя,
Поэты, закрутив мечтам своим поводья,
Буквально держатся имен календаря
И скромно тащутся тропой простонародья.
Как родилась она некстати, боже мой!
Богиня лучших дней, она смиренно ныне
В уездном городке, как лилия в пустыне,
Цветет инкогнито дворянкой молодой!
Но в черством веке сем есть огненная
младость,
В сосуд холодного и трезвого питья
Вливает хмель она и чары бытия —
Любви, поэзии и снов сердечных сладость!
Есть край; там, темный плащ закинув за плечо,
Питомец южных дум, на севере рожденный,
Студент и трубадур, с гитарой вдохновенной
Поет, и чувствует, и любит горячо.
У окон красоты, в часы ночной прохлады,
Приносит робко ей он в жертву серенады,
Смущая сладостно девические сны,
Вдыхает негу в них и юга, и весны.
Улыбка алая уста ее объемлет,
Душа бессонная любовной песне внемлет
И радуется ей, и безмятежный вздох
Из груди вырвался и на сердце заглох.
Сон поэтический! волшебно с изголовья
Она несется в край мечты и баснословья,

И мыслью чистою — как с лилии роса,
Иль на груди ее девическая лента —
Приветствует она влюбленный гимн студента,
Земную жизнь и мир забыв на полчаса.

<1834>

ФЛОРЕНЦИЯ

Ты знаешь край! Там льется Арно,
Лобзая темные сады;
Там солнце вечно лучезарно,
И рдеют золотом плоды.
Там лавр и мирт благоуханный
Лелеет вечная весна,
Там город Флоры соимянный
И баснословный, как она.

Край чудный! Он цветет и блещет
Красой природы и искусств,
Там мрамор мыслит и трепещет,
В картине дышит пламень чувств.
Там речь — поэзии напевы,
Я с упоеньем им внимал;
Но ничего там русской девы
Я упоительней не знал.

Она, и стройностью красивой,
И яркой белизной лица,
Была соперницей счастливой
Созданий хитрого резца.
Канова на свою Психею
При ней с досадой бы смотрел,
И мрамор девственный пред нею,
Стыдясь, завистливо тускнел.

На белом мраморе паросском
Ее чела, венцом из кос,
Переливалась черным лоском
Густая прядь густых волос.

И черным пламенем горела
Очей пылающая ночь;
И южным зноем пламенела
Младая северная дочь.

1834

РОЗА И КИПАРИС

(Графине М. А. Потоцкой)

Вот вы и я: подобье розы милой,
Цветете вы и чувством, и красой;
Я кипарис угрюмый и унылый,
Воспитанный летами и грозой.

И будет мне воспоминанье ваше,
Подобно ей, свежо благоухать,
При нем душе веселье будет краше,
При нем душе отраднее страдать.

Когда же вам сгрустнется, и случайно
Средь ясных дней проглянет черный день, —
Пускай мое воспоминанье тайно
Вас осенит, как кипариса тень.

1835,
Villa d'Esté (близ Тиволи)

KENNST DU DAS LAND?[1]

Kennst du das Land,
wo blüht Oranienbaum?[2]

Kennst du das Land, где фимиамом чистым
Упоены воздушные струи,
Где по холмам прохладным и тенистым
Весна таит сокровища свои?

[1] Ты знаешь ли край? (нем.). — *Ред.*
[2] Ты знаешь ли край, где цветет померанцевое дерево? (нем.). — *Ред.*

Где негой роз и блеском их румянца
Ковры лугов пестреют и цветут,
И где срослись и злато померанца,
И зелени душистый изумруд?

Kennst du das Land, где север смотрит югом,
Роскошно свеж, улыбчиво красив,
И светлый брег зеленым полукругом
Спускается на голубой залив?
Там всё цветет, там всё благоухает!
Счастливый мир волшебства и чудес!
И на душу там что-то навевает
Златые дни полуденных небес.

Kennst du das Land, гнездо орлов и грома,
Где бурь мирских безвестен ныне шум,
Где дышит мир, где ум и сердце дома,
И есть простор порыву чувств и дум?
Там храм стоит, богам приют любимый
Пред алтарем искусства и наук;
Светло горит там пламенник, хранимый
Заботливым служеньем нежных рук!

Kennst du das Land, где пурпуром и златом
Сгорает день в блистательном венце,
И, тихо дня любуяся закатом,
Красавица, с раздумьем на лице,
С мольбой в глазах, с улыбкой умиленья,
Душой глядит, как меркнет дня кумир?
И ангел ей несет благословенья,
Ей и земле даруя сладкий мир!

Волшебная страна! предместье рая!
Там день без туч, там радость без труда!
Там царствует богиня молодая,
Чужих небес прекрасная звезда!
В полночное созвездье закатившись,
Светло взошла над русскою землей,
И, с звездною семьею породнившись,
Она горит нам прелестью родной!

Dahin, dahin,[1] Жуковский наш Торквато!
Dahin, dahin, наш Тициан — Брюллов!
Там закипит в вас горячо и свято
Живой восторг возвышенных трудов!
Там мыслям есть гостеприимный гений,
И есть привет фантазиям мечты!
Для лиры там есть муза вдохновений,
Для кисти есть харита красоты!

<1836>

ШУТКА

Графиня! то-то на просторе
Изъездили вы белый свет;
Знакомы суша вам и море,
Как бальный лаковый паркет.
Вы с вихрями вальсировали
По рытвинам валов морских,
Когда вам бури бал давали
Под вой оркестров громовых.

Вы были в мире иноземцев,
В столпосмешеньи языков,
И в царстве белокурых немцев
С оттенкой рыжих париков.
Вы были там, где вечный кнастер
Коптит умы и небеса,
И каждый собеседник мастер
Отмалчиваться три часа.

Теперь вы человек ученый
И многое могли узнать;
Позвольте ж по причине оной
Два-три вопроса вам задать:
Скажите, в цветниках природы,
Где ваша странствует звезда,
Скажите — вкусны ль бутерброды
И благовонна ль резеда?

---

[1] Туда, туда (нем.). —*Ред.*

В той стороне, где Вертер жаркой,
И не один, найдется вновь,
Где между пивом и сигаркой
И бродит и горит любовь,
Скажите — многих ли баронов,
Князей с землей и без земли,
Немецких фофонов и фонов
По-русски вы с ума свели?

Стыдясь и глядя исподлобья,
Скажите прямо, в простоте —
Нашли ли где хоть тень подобья
Вы вашей русской красоте?
Я из берлоги вон ни пяди,
Не то что вы! я домосед;
Так просветите, бога ради,
И дайте весть про белый свет.

<1836>

* * *

Синонимы: гостиная, салон.
Недоумением напрасно ты смущен:
Гостиная — одно, другое есть *салон.*
Гостиную найдешь в порядочном трактире,
Гостиную найдешь и на твоей квартире,
Салоны ж созданы для избранных людей.
Гостиные видал и ты, Видок-Фиглярин,
В *гостиной* можешь быть и ты какой-то барин,
Но уж в *салоне* ты решительно лакей!

1836

Я ПЕРЕЖИЛ

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.

Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем всё ближе и темней.
Усталых дум моих полет стал низок,
И мир души безлюдней и бедней.
Не заношусь вперед мечтою жадной,
Надежды глас замолк, — и на пути,
Протоптанном действительностью хладной,
Уж новых мне следов не провести.
Как ни тяжел мне был мой век суровый,
Хоть житницы моей запас и мал,
Но ждать ли мне безумно жатвы новой,
Когда уж снег из зимних туч напал?
По бороздам серпом пожатой пашни
Найдешь еще, быть может, жизни след;
Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, —
Но ничего уж завтрашнего нет.
Жизнь разочлась со мной; она не в силах
Мне то отдать, что у меня взяла,
И что земля в глухих своих могилах
Безжалостно навеки погребла.

<1837>

ТЫ СВЕТЛАЯ ЗВЕЗДА

Ты светлая звезда таинственного мира,
Когда я возношусь из тесноты земной,
Где ждет меня тобой настроенная лира,
Где ждут меня мечты, согретые тобой.

Ты облако мое, которым день мой мрачен,
Когда задумчиво я мыслю о тебе,
Иль измеряю путь, который нам назначен,
И где судьба моя чужда твоей судьбе.

Ты тихий сумрак мой, которым грудь свежеет,
Когда на западе заботливого дня
Мой отдыхает ум и сердце вечереет,
И тени смертные снисходят на меня.

<1837>

НА ПАМЯТЬ

В края далекие, под небеса чужие
Хотите вы с собой на память перенесть
О ближних, о стране родной живую весть,
Чтоб стих мой сердцу мог, в минуты неземные,
Как верный часовой, откликнуться: Россия!
Когда беда придет, иль просто как-нибудь
Тоской по родине заноет ваша грудь,
Не ждите от меня вы радостного слова;
Под свежим трауром печального покрова,
Сложив с главы своей венок блестящих роз,
От речи радостной, от песни вдохновенной
Отвыкла муза: ей над урной драгоценной
Отныне суждено быть музой вечных слез.
Одною думою, одним событьем полный,
Когда на чуждый брег вас переносят волны
И звуки родины должны в последний раз
Печально врезаться и отозваться в вас,
На память и в завет о прошлом в мире новом
Я вас напутствую единым скорбным словом,
Затем, что скорбь моя превыше сил моих;
И, верный памятник сердечных слез и стона,
Вам затвердит одно рыдающий мой стих:
Что яркая звезда с родного небосклона
Внезапно сорвана средь бури роковой,
Что песни лучшие поэзии родной
Внезапно замерли на лире онемелой,
Что пал во всей поре красы и славы зрелой
Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,
Который трепетом и сладкозвучным шумом
От сна воспрянувших пророческих ветвей
Вещал глагол богов на севере угрюмом,
Что навсегда умолк любимый наш поэт,
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.

1837

ПАМЯТИ ЖИВОПИСЦА ОРЛОВСКОГО

Грустно видеть, Русь святая,
Как в степенные года
Наших предков удалая
Изнемечилась езда.

То ли дело встарь: телега,
Тройка, ухарский ямщик;
Ночью дуешь без ночлега,
Днем же — высунув язык.

Но зато как всё кипело
Беззаботным удальством!
Жизнь — копейка! бей же смело,
Да и ту поставь ребром!

Но как весело, бывало,
Раздавался под дугой
Голосистый запевало,
Колокольчик рассыпной;

А когда на водку гривны
Ямщику не пожалеть,
То-то песни заунывны
Он начнет, сердечный, петь!

Север бледный, север плоский,
Степь, родные облака —
Всё сливалось в отголоски,
Где слышна была тоска;

Но тоска — струя живая
Из родного тайника,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска.

Сердце сердцу весть давало,
И из тайной глубины
Всё былое выкликало,
И все слезы старины.

Не увидишь, как проскачешь,
И не чувствуешь скачков,
Ни как сердцем сладко плачешь,
Ни как горько для боков.

А проехать ли случится
По селенью в красный день?
Наш ямщик приободрится,
Шляпу вздернет набекрень.

Как он гаркнет, как присвиснет
Горячо по всем по трем, —
Вороных он словно вспрыснет
Вдохновительным кнутом.

Тут знакомая светлица
С расписным своим окном;
Тут его душа девица
С подаренным перстеньком.

Поравнявшись, он немножко
Вожжи в руки приберет,
И растворится окошко, —
Словно солнышко взойдет.

И покажется касатка,
Белоликая краса.
Что за очи! за повадка!
Что за русая коса!

И поклонами учтиво
Разменялися они,
И сердца в них молчаливо
Отозвалися сродни.

А теперь, где эти тройки?
Где их ухарский побег?
Где ты, колокольчик бойкий,
Ты, поэзия телег?

Где ямщик наш, на попойку
Вставший с темного утра,

И загнать готовый тройку
Из полтины серебра?

Русский ям молчит и чахнет,
От былого он отвык;
Русским духом уж не пахнет,
И ямщик уж не ямщик.

Дух заморский и в деревне!
И ямщик, забыв кабак,
Распивает чай в харчевне
Или курит в ней табак.

Песню спеть он не сумеет,
Нет зазнобы ретивой,
И на шляпе не алеет
Лента девицы милóй.

По дороге, в чистом поле
Колокольчик наш заглох,
И, невиданный дотоле,
Молча тащится, трёх-трёх,

Словно чопорный германец
При ботфортах и косе,
Неуклюжий дилижанец
По немецкому шоссе.

Грустно видеть, воля ваша,
Как, у прозы под замком,
Поэтическая чаша
Высыхает с каждым днем;

Как всё то, что веселило
Иль ласкало нашу грусть,
Что сыздетства затвердило
Наше сердце наизусть,

Все поверья, всё раздолье
Молодецкой старины —
Подъедает своеволье
Душегубки-новизны.


1835
Roma

Нарядились мы в личины,
Сглазил нас недобрый глаз,
И Орловского картины —
Буква мертвая для нас.

Но спасибо, наш кудесник,
Живописец и поэт,
Малодушным внукам вестник
Богатырских оных лет!

Русь былую, удалую
Ты потомству передашь:
Ты схватил ее живую
Под народный карандаш.

Захлебнувшись прозой пресной,
Охмелеть ли захочу,
И с мечтой из давки тесной
На простор ли полечу, —

Я вопьюсь в твои картинки
Жаждой чувств и жаждой глаз,
И творю в душе поминки
По тебе, да и по нас!

Между 1832 и 1838

* * *

На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе — все мы сватья!
И не к чему таить вину:
Все заодно, все без изъятья,
Мы влюблены в его жену.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!

Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

И этот брак был не бесплодный!
Сам Феб его благословил!
Потомству наш поэт народный
Свое потомство укрепил.
Изба его детьми богата
Под сенью брачного венца;
И дети — славные ребята!
И дети все умны — в отца!

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Мудрец игривый и глубокий,
Простосердечное дитя,
И *дочкам* он давал *уроки,*
И батюшек учил шутя.
Искусством ловкого обмана
Где и кольнет из-под пера:
Так *Петр кивает на Ивана,*
Иван кивает на Петра.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Где нужно, он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут,
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!

Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,
И слава эта — наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Чего ему нам пожелать бы?
Чтобы от свадьбы *золотой*
Он дожил до *алмазной* свадьбы
С своей столетнею женой.
Он так беспечно, так досужно
Прошел со славой долгий путь,
Что до ста лет не будет нужно
Ему прилечь и отдохнуть.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Январь 1838

БРАЙТОН

Сошел на Брайтон мир глубокий,
И, утомившись битвой дня,
Спят люди, нужды и пороки,
И только моря гул широкий
Во тьме доходит до меня.

О чем ты, море, так тоскуешь?
О чем рыданий грудь полна?
Ты с тишиной ночной враждуешь,
Ты рвешься, вопишь, негодуешь,
На ложе мечешься без сна.

Красноречивы и могучи
Земли и неба голоса,
Когда в огнях грохочут тучи
И с бурей, полные созвучий,
Перекликаются леса.

Но всё, о море! всё ничтожно
Пред жалобой твоей ночной,
Когда смутишься вдруг тревожно
И зарыдаешь так, что можно
Всю душу выплакать с тобой.

Осень 1838

САМОВАР

(Семейству П. Я. Убри)

Отечества и дым нам сладок и приятен.
Державин

Приятно находить, попавшись на чужбину,
Родных обычаев знакомую картину,
Домашнюю хлеб-соль, гостеприимный кров,
И сень, святую сень отеческих богов, —
Душе, затертой льдом, в холодном море света,
Где на родной вопрос родного нет ответа,
Где жизнь обрядных слов один пустой обмен,
Где ты везде чужой, у всех — monsieur N. N.
У тихой пристани приятно отогреться,
И в лица ближние доверчиво всмотреться,
И в речи вслушаться, в которых что-то есть
Знакомое душе и дней прошедших весть.

Дни странника листам разрозненным подобны,
Их разрывает дух насмешливый и злобный;

Нет связи: с каждым днем всё сызнова живи,
А жизнь и хороша преданьями любви,
Сродством поверий, чувств, созвучьем впечатлений
И милой давностью привычных отношений.
В нас ум — космополит, но сердце — домосед:
Прокладывать всегда он любит новый след,
И радости свои все в будущем имеет;
Но сердце старыми мечтами молодеет,
Но сердце старыми привычками живет
И радостней в тени прошедшего цветет!
О, будь благословен, кров светлый и приютный,
Под коим как родной был принят гость минутный!
Где беззаботно мог он сердце развернуть
И сиротство его на время обмануть!
Где любовался он с сознаньем и участьем
Семейства милого согласием и счастьем,
И видел, как цветут в безоблачной тиши
Младые радости родительской души;
Оттенки нежные и севера и юга,
Различьем прелестей и сходством друг на друга
Они любовь семьи и дому красота.
Одна — таинственна, как тихая мечта,
Иль ангел, облаком себя полузакрывший,
Когда, ко праху взор и крылья опустивши,
На рубеже земли и неба он стоит
И, бедствиям земным сочувствуя, грустит.
И много прелести в задумчивости нежной,
В сей ясности, средь бурь житейских безмятежной,
И в чистой кротости, которыми она,
Как тихим заревом, тепло озарена!
Другая — радостно в грядущее вступая,
И знающая жизнь по первым утрам мая,
На празднике весны в сияньи молодом
Свежеет розою и вьется мотыльком.
А третья — младший цвет на отрасли семейной,
Пока еще в тени и прелестью келейной
Растет и, на сестер догадливо смотря,
Ждет, скоро ль светлым днем взойдет ее заря?

У вас по-русски здесь — тепло и хлебосольно,
И чувству и уму просторно и привольно;
Не дует холодом ни в душу, ни в плеча,

И сердце горячо, и печка горяча.
Хоть вы причислены к Германскому Союзу,
Германской чинности вы сбросили обузу.
За стол не по чинам садитесь, и притом
И лишний гость у вас не лишний за столом.
Свобода — вот закон домашнего устава:
Охота есть — болтай! и краснобаю слава!
На ум ли лень найдет — немым себе сиди,
И за словом в карман насильно не ходи!
Вот день кончается в весельях и заботах;
Пробил девятый час на франкфуртских воротах;
Немецкой публики восторг весь истощив,
Пропела Лёве ей последний свой мотив;
Уж пламенный Дюран оставил поле брани,
Где, рыцарь классиков, сражался он с Гернани;
И, пиво осушив и выкурив табак,
Уж Франкфурт, притаясь, надел ночной колпак.
Но нас еще влечет какой-то силой тайной
В знакомый тот приют, где с лаской обычайной
Вокруг стола нас ждет любезная семья.
Я этот час люблю, — едва ль не лучший дня,
Час поэтический средь прозы черствых суток,
Сердечной жизни час, веселый промежуток
Между трудом дневным и ночи мертвым сном.
Все счеты сведены, — в придачу мы живем;
Забот житейских нет, как будто не бывало:
Сегодня с плеч слегло, а *завтра* не настало.
Час дружеских бесед у чайного стола!
Хозяйке молодой и честь, и похвала!
По-православному, не на манер немецкий,
Не жидкий, как вода, или напиток детский,
Но Русью веющий, но сочный, но густой,
Душистый льется чай янтарною струей.
Прекрасно! .. Но один встречаю недостаток:
Нет, быта русского неполон отпечаток.
Где ж самовар родной, семейный наш очаг,
Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ?
В нем льются и кипят всех наших дней преданья,
В нем русской старины живут воспоминанья;
Он уцелел один в обломках прежних лет,
И к внукам перешел неугасимый дед.
Он русский рококо, нестройный, неуклюжий,

Но внутренно хорош, хоть некрасив снаружи;
Он лучше держит жар, и под его шумок
Кипит и разговор, как прыткий кипяток.
Как много тайных глав романов ежедневных,
Животрепещущих романов, задушевных,
Которых в книгах нет — как сладко ни пиши!
Как много чистых снов девической души,
И нежных ссор любви, и примирений нежных,
И тихих радостей, и сладостно мятежных —
При пламени его украдкою зажглось
И с облаком паров незримо разнеслось!
Где только водятся домашние пенаты,
От золотых палат и до смиренной хаты,
Где медный самовар, наследство сироты,
Вдовы последний грош и роскошь нищеты, —
Повсюду на Руси святой и православной
Семейных сборов он всегда участник главный.
Нельзя родиться в свет, ни в брак вступить нельзя,
Ни «здравствуй!», ни «прощай!» не вымолвят друзья,
Чтоб, всех житейских дел конец или начало,
Кипучий самовар, домашний запевало,
Не подал голоса и не созвал семьи.
. . . .
Поэт сказал — и стих его для нас понятен:
«Отечества и дым нам сладок и приятен!»
Не самоваром ли — сомненья в этом нет —
Был вдохновлен тогда великий наш поэт?
И тень Державина, здесь сетуя со мною,
К вам обращается с упреком и мольбою,
И просит, в честь ему и православью в честь,
Конфорку бросить прочь и — самовар завесть.

29 декабря 1838,
Франкфурт

ЛЮБИТЬ. МОЛИТЬСЯ. ПЕТЬ

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном,
Преданье темное о том, что было ясным,

И упование того, что будет вновь;
Души, настроенной к созвучию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфою живой!

<1839>

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

После зноя тихо дремлет
Прохлажденная земля;
Не такая ль ночь объемлет
Елисейские поля!
Тени легкие, мелькая,
В светлом сумраке скользят,
Ночи робко доверяя
То, что дню не говорят.

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

Блещут свежестью сапфирной
Небо, воздух и Нева,
И, купаясь в влаге мирной,
Зеленеют острова.
Вёсел мерные удары
Раздаются на реке

И созвучьями гитары
Замирают вдалеке.

    Дышит счастьем,
    Сладострастьем
Упоительная ночь!
    Ночь немая,
    Голубая,
Неба северного дочь!

Как над ложем новобрачной
Притаившиеся сны,
Так в ночи полупрозрачной
Гаснут звезды с вышины!
Созерцанья и покоя
Благодатные часы!
Мирной ночи с днем без зноя
Чудом слитые красы!

    Дышит счастьем,
    Сладострастьем
Упоительная ночь!
    Ночь немая,
    Голубая,
Неба северного дочь!

Чистой неги, сладкой муки
Грудь таинственно полна.
Чу! волшебной песни звуки
Вылетают из окна.
Пой, красавица певица!
Пой, залетный соловей,
Сладкозвучная царица
Поэтических ночей!

    Дышит счастьем,
    Сладострастьем
Упоительная ночь!
    Ночь немая,
    Голубая,
Неба северного дочь!

<1840>

* * *

Смерть жатву жизни косит, косит
И каждый день, и каждый час
Добычи новой жадно просит
И грозно разрывает нас.

Как много уж имен прекрасных
Она отторгла у живых,
И сколько лир висит безгласных
На кипарисах молодых.

Как много сверстников не стало,
Как много младших уж сошло,
Которых утро рассветало,
Когда нас знойным полднем жгло.

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Печально век свой доживая,
Мы запоздавшей смены ждем,
С днем каждым сами умирая,
Пока не вовсе мы умрем.

Сыны другого поколенья,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Они, что любим, разлюбили,
Страстям их — нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.

<1841>

ДОРОЖНАЯ ДУМА

Опять я на большой дороге,
Стихии вольной гражданин,
Опять в кочующей берлоге
Я думу думаю один.

Мне нужно это развлеченье,
Усталость тела и тоска,
И неподвижное движенье,
Которым зыблюсь я слегка.

В них возбудительная сила,
В них магнетический прилив,
И жизни потаенной жила
Забилась вдруг на их призыв.

Мир внешний, мир разнообразный
Не существует для меня:
Его явлений зритель праздный,
Не различаю тьмы от дня.

Мне всё одно: улыбкой счастья
День обогреет ли поля,
Иль мрачной ризою ненастья
Оделись небо и земля;

Сменяясь панорамой чудной,
Леса ли, горы в стороне,
Иль степью хладной, беспробудной
Лежит окрестность в мертвом сне;

Встают ли села предо мною,
Святыни скорби и труда,

Или с роскошной нищетою
В глазах пестреют города!

Мне всё одно: обратным оком
В себя я тайно погружен,
И в этом мире одиноком
Я заперся со всех сторон.

Мне любо это заточенье,
Я жизнью странной в нем живу:
Действительность в нем — сновиденье,
А сны я вижу наяву!

22 сентября 1841

РУССКИЕ ПРОСЕЛКИ

Скажите, знаете ль, честные господа,
Что значит русскими проселками езда?
Вам сплошь Европа вся из края в край знакома:
В Париже, в Лондоне и в Вене вы как дома.
Докатитесь туда по гладкому шоссе,
И думаете вы, что так и ездят все,
И все езжали так; что, лежа, как на розах,
Род человеческий всегда езжал в дормёзах
И что, пожалуй, наш родоначальник сам
Не кто иной, как всем известный Мак-Адам.
Счастливцы (как бы вам завербоваться в секту?),
Россию знаете по Невскому проспекту
Да по симбирскому бурмистру, в верный срок
К вам привозящему ваш годовой оброк.
Вам жить легко. Судьба вам служит по контракту,
И вас возить должна всё по большому тракту.
Для вас проселков нет. Всегда пред вами цель,
Хотя б вы занеслись за тридевять земель.
Нет, вызвал бы я вас на русские проселки,
Чтоб о людском житье прочистить ваши толки.
Тут мир бы вы другой увидели! Что шаг,
То яма, косогор, болото иль овраг.
Я твердо убежден, что со времен потопа
Не прикасалась к ним лопата землекопа.

Как почву вывернул, размыл и растрепал
С небес сорвавшийся сей водяной обвал,
Так и теперь она вся в том же беспорядке,
Вся исковеркана, как в судорожной схватке.
Дорога лесом ли? Такие кочки, пни,
Что крепче свой язык к гортани ты прильпни —
Не то такой толчок поддаст тебе, что ой-ли!
И свой язык насквозь прокусишь ты. Рекой ли
Дорога? Мост на ней уж подлинно живой:
Так бревна взапуски и пляшут под тобой,
И ты того и жди, что из-за пляски этой
К русалкам попадешь с бага́жем и каретой.
Есть перевоз ли? Плот такое уж гнилье,
Что только бабам мыть на нем свое белье.
Кому на казнь даны чувствительные нервы
(Недуг новейших дней), тому совет мой первый:
Проселком на Руси не ездить никогда.
Пройди сто верст пешком; устанешь — не беда:
Зато ты будешь цел и с нервами в покое;
Не будет дергать их, коробить в перебое,
И не начнешь всердцах, забыв и страх и грех,
Как Демон Пушкина, злословить всё и всех.
Опасность я видал, и передряг немало
На суше и водах в мой век мне предстояло.
Был Бородинский день, день жаркий, боевой,
Французское ядро визжало надо мной,
И если мирного поэта пожалело,
Зато хоть двух коней оно под ним заело.
Я на море горел, и сквозь ночную тьму
(Не мне бы тут стоять, а Данте самому),
Не сонный, наяву, я зрел две смерти рядом,
И каждую с своим широкозевным адом:
Один весь огненный и пышущий, другой —
Холодный, сумрачный, бездонный и сырой;
И оставалось мне на выбор произвольный
Быть гусем жареным иль рыбой малосольной.
Еще есть черная отметка на счету.
Двух паровозов, двух волканов на лету
Я видел сшибку: лоб со лбом они столкнулись,
И страшно крякнули, и страшно пошатнулись —
И смертоносен был напор сих двух громад.
Вот вам живописал я свой и третий ад.

Но это случаи, несчастье, приключенье,
А здесь — так быть должно, такое заведенье,
Порядок искони, нормальный, коренной,
Чтоб быть, как на часах, бессменно пред бедой,
И если выйдешь сух нечаянно от Сциллы,
То у Харибды ждать увечья иль могилы.
Проселки — ад земной; но русский бог велик!
Велик — уж нечего сказать — и наш ямщик.

Сентябрь 1841

НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЕ ПУШКИНОЙ

На память обо мне, когда меня не будет,
Впишите в книгу: *здесь* он был мне верный
друг,
И *там* меня в своих молитвах не забудет,
И *там* он будет мой.
А вы, когда досуг
Украдкой даст вам час, чтобы побыть с собою,
На эти белые и свежие листы
Переносите вы свободною рукою
Дневную исповедь, заметки и мечты,
Свои невольные и вольные ошибки,
Надежды, их обман, и слезы, и улыбки,
И вспышки тайные сердечного огня,
От коих нехотя вдруг щечки покраснеют;
Записывайте здесь живую повесть дня,
И всё, что скажут вам, и то, чего не смеют
Словами вымолвить, но взор договорит,
И всё, что в вас самих таинственно молчит.
Но будьте искренны, — нас искренность
спасает.
Да не лукавит в вас ни чувство, ни язык,
И вас заранее прощеньем разрешает
Ваш богомол и духовник.

1841

КОМАР И КЛОП

Комар твой не комар, а разве клоп вонючий;
Комар остряк, шалун и бойкий и летучий,
Воздушная юла, крылатый бес, пострел;
Нет дома, нет палат, куда б он не влетел.
Со всеми и везде он нагло куралесит:
И дразнит, и язвит, и хоть кого так взбесит.
А то, что с нежною любовью создал ты,
Чтоб в чаде вылились отцовские черты,
Сей отпечаток твой и вывеска живая
Есть злая гадина, без крыльев и немая;
Ее разводит вонь, нечистота и тьма.
Сей дряни входа нет в опрятные дома,
А разве в грязную и подлую конуру,
Где производишь ты свою литературу.

1842

ЛИСТУ

Когда в груди твоей — созвучий
Забьет таинственный родник
И на чело твое из тучи
Снисходит огненный язык;

Когда, исполнясь вдохновенья,
Поэт и выспренний посол!
Теснишь души своей виденья
Ты в гармонический глагол, —

Молниеносными перстами
Ты отверзаешь новый мир,
И громкозвучными волнами
Кипит, как море, твой клавир;

И в этих звуках скоротечных,
На землю брошенных тобой,
Души бессмертной, таинств вечных
Есть отголосок неземной.

1842

НОЧЬ В РЕВЕЛЕ

(Посвящается княгине Е. Н. Мещерской)

1

Что ты, в радости ль, во гневе ль,
Море шумное, бурлишь
И, как тигр, на старый Ревель
Волны скалишь и рычишь?

Разыгрался зверь косматый,
Страшно на дыбы прыгнул,
Хлещет гривою мохнатой,
Ноздри влажные раздул.

Что за грозная картина,
Что за прелесть, что за страх!
Взвыла дикая пучина,
Взрогнув в темных глубинах.

2

Что ж ты, море, так бушуешь?
Словно шабаш ведьм ночных!
Про кого ты там колдуешь,
Ночью, в чане волн седых?

Про того ли про Кащея,
Что, не принятый землей,
Ждет могилы, сиротея,
Не мертвец и не живой.

Дней Петровых современник,
Взяли в плен его враги,
И по смерти всё он пленник
За грехи и за долги.

Ты поведай, скоро ль сбросит
Он курчавый свой парик
И земную цепь износит,
Успокоенный старик?



Вал за валом ты торопишь,
Стон за стоном издаешь,
Но о чем и что ты вопишь,
Уж никак не разберешь.

Молча, думою прилежной
Каждый звук я твой ловлю,
И тоски твоей мятежной
Я бессонницу делю.

В этих воплях и заклятьях
Есть таинственный язык;
Но, в земных своих понятьях,
Кто из смертных их проник?

3

Иль с Бригитой и Олаем
Ты, мешая быль и ложь,
Неумолкным краснобаем
Речи странные ведешь?

Про загадки, про затеи,
Битвы, игры и пиры
Богатырской эпопеи
Поэтической поры;

Про былые непогоды,
Про наезды, про разбой,
Про столетья, про народы,
Пережитые тобой.

Да, на радость и на горе,
На людские суеты,
Заколдованное море,
Вдоволь нагляделось ты.

Много сонмищ пировало
За трапезою твоей,
Много ядер прожужжало
По стеклу твоих зыбей,

Много трупов, много злата,
Много бедствий и добра
Затопила без возврата
Равнодушных волн игра.

4

Да и ты, теперь опальный,
А когда-то боевой,
Ревель, рыцарь феодальный
Под заржавевшей броней,

Ты у моря тихо дремлешь
Под напевами волны,
Но сквозь сон еще ты внемлешь
Гул геройской старины.

Ты не праздно век свой прожил
И в руке держал булат;
То соседов ты тревожил,
То соседями был сжат.

Много бурь и много славы
Пало на главу твою;
О тебе не раз державы
Переведались в бою.

Смелый Карл и Петр могучий,
Разгоревшие враждой,
Как две огненные тучи,
Разразились над тобой.

Я люблю твоих обломков
Окровавленную пыль;
В них хранится для потомков
Благородных предков быль.

Эти язвы и седины —
Украшенье городов:
В них минувшего помины,
В них помазанье веков.

Ревель датский, Ревель шведский,
Ревель русский! — Тот же ты!
И Олай твой молодецкий
Гордо смотрит с высоты.

<1844>

* * *

Уж не за мной ли дело стало?
Не мне ль пробьет отбой? И с жизненной бразды
Не мне ль придется снесть шалаш мой и орало
И хладным сном заснуть до утренней звезды?

Пока живется нам, всё мним: еще когда-то
Нам отмежует смерть урочный наш рубеж;
Пусть смерть разит других, но наше место свято,
Но жизни нашей цвет еще богат и свеж.

За чудным призраком, который всё нас манит
И многое еще сулит нам впереди,
Бежим мы — и глаза надежда нам туманит,
И ненасытный пыл горит у нас в груди.

Но вот ударит час, час страшный пробужденья;
Прозревшие глаза луч истины язвит,
И призрак — где ж его и блеск, и обольщенья?
Он, вдруг окостенев, как вкопанный стоит.

С закрытого лица подъемлет он забрало —
И видим мы не жизнь, а смерть перед собой.
Уж не за мной ли дело стало?
Теперь не мне ль пробьет отбой?

<1845>

* * *

К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный.
В живых ни одного он друга не найдет;
Зато, когда из лиц почетных кто умрет,
Клеймит он прах его своею дружбой грязной.
— Так что же? Тут расчет: он с прибылью двойной,
Презренье от живых на мертвых вымещает,
И чтоб нажить друзей, как Чичиков другой,
Он души мертвые скупает.

<1845>

ХАВРОНЬЯ

Свинья в театр когда-то затесалась
И хрюкает себе — кому хвалу,
Кому хулу.
Не за свое взялась, хавронья; ты зазналась.
Театр не по тебе, — ты знай свой задний двор,
Где, не жалея рыла,
Ты с наслажденьем перерыла
Навоз и сор.
Какой ты знаешь толк в искусстве, в песнопеньях?
Ушам твоим понять их не дано;
В твоих заметках и сужденьях
И брань, и похвала — всё хрюканье одно.
В роскошный тот цветник, где, в изобильи милом,
По вкусам и глазам разбросаны цветы,
Незваная, с своим поганым рылом
Не суйся ты.
И в розе прелесть есть, и прелесть есть в лилее.
Та яркостью берет, а эта чистотой.
Соперницы ль они? Одна ль другой милее?
Нет нужды! Радуйтесь и тою, и другой.
Но мой совет цветам: гнать от себя хавронью
И хрюканьем ее себя не обольщать;
Она лишь может их обдать своею вонью
И грязною своей щетиной замарать.

<1845>

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

Я знал давно, что подл Фиглярин,
Что он поляк и русский сплошь,
Что завтра будет он татарин,
Когда б за то ему дать грош;
Я знал, что пошлый он писатель,
Что усыпляет он с двух строк,
Что он доносчик и предатель
И мелкотравчатый Видок;
Что на все мерзости он падок,
Что совесть в нем истертый знак,
Что он душой и рожей гадок;
Но я не знал, что он дурак.
Теперь и в том я убедился.
Улика важная: нахал,
Спасибо, сам проговорился
И в глупости расписку дал.
Сказал я как-то мимоходом,
И разве в бровь, не прямо в глаз,
Что между авторским народом
Шпионы завелись у нас;
Что там, где им изменит сила
С лица на недруга напасть,
Они к нему подходят с тыла
И за собою тащат в часть;
Что страшен их не бой журнальный,
Но что они опасны нам,
Когда жандарм или квартальный
В их эпиграммах пополам.
Ему смолчать бы, как смолчали
Другие, закусив язык.
Не все ж бы тотчас угадали,
Кто целью был моих улик.
Но он не вытерпел, *ответил*
И сдуру ясно доказал,
Что хоть в кого бы я ни метил,
А прямо в лоб ему попал.

1845 (?)

* * *

Наши дачи хороши,
Живописные созданья;
Одного в них нет: души,
Жизни теплого дыханья.

Жизнью блещет, а мертво,
Всюду труд, а не свобода,
Всё работа, мастерство,
Рукодельная природа.

Что-то будто лес кругом,
Что-то вроде солнца, что-то
Смотрит пестрым цветником,
А на деле всё болото.

Загляденье близь и даль,
Всё Рюйсдалева картина!
Но Рюйсдаль, хоть и Рюйсдаль,
Не природа, а холстина.

Декорация для глаз,
Обольщенных чувств приманка:
Что лицом, то напоказ,
Но зато что за изнанка!

Светел день; но подождем,
Бог пока дает нам вёдро,
Что-то будет под дождем,
Как польются с неба вёдра?

Всё обхватит влажный мрак,
Полиняет и промокнет,
Пропадет наружный лак,
Ярких красок блеск поблёкнет.

Как ни грустно, как ни жаль,
Брось ландшафт хоть из окошка,
И хваленый твой Рюйсдаль
Просто мокрая ветошка.

1845 (?)

РИМ

Рим! всемогущее, таинственное слово!
И вековечно ты, и завсегда ты ново!
Уже во тьме времен, почивших мертвым сном,
Звучало славой ты на языке земном.
Народы от тебя, волнуясь, трепетали,
Тобой исписаны всемирные скрижали;
И человечества след каждый, каждый шаг
Стезей трудов и жертв, и опытов, и благ,
И доблесть каждую, и каждое стремленье
Мысль светлую облечь в высокое служенье,
Всё, что есть жизнь ума, всё, что души есть страсть —
Искусство, мужество, победа, слава, власть, —
Всё выражало ты живым своим глаголом,
И было ты всего великого символом.
Мир древний и его младая красота,
И возмужавший мир под знаменем креста,
С красою строгою и нравственным порядком,
Не на тебе ль слились нетленным отпечатком?
Державства твоего свершились времена;
Другие за тобой слова и имена,
Мирского промысла орудья и загадки,
И волновали мир, и мир волнуют шаткий.
Уж не таишь в себе, как в урне роковой,
Ты жребиев земли, покорной пред тобой,
И человечеству, в его стремленьи новом,
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом.
В тени полузакрыт всемирный великан:
И форум твой замолк, и дремлет Ватикан.
Но избранным душам, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Нельзя — хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.

<1846>

ТРОПИНКА

Когда рассеянно брожу без цели,
Куда глаза глядят и не глядят,
И расстилаются передо мной
На все четыре стороны свободно
Простор и даль, и небосклон широкой, —
Как я люблю нечаянно набресть
На скрытую и узкую тропинку,
Пробитую средь жатвы колосистой!
Кругом меня волнами золотыми
Колышется колосьев зыбких море,
И свежею головкой васильки
Мне светятся в его глубоком лоне,
Как яхонтом блистающие звезды.
Картиной миловидною любуясь,
Я в тихое унынье погружаюсь,
И на меня таинственно повеет
Какой-то запах милой старины;
Подъятые неведомою силой
С глубокого, таинственного дна,
В душе моей воспоминанья-волны
Потоком свежим блещут и бегут;
И проблески минувших светлых дней
По лону памяти моей уснувшей
Скользят — и в ней виденья пробуждают.
Так в глубине небес, порою летней,
Когда потухнет ярко-знойный день,
Средь тьмы ночной зарница затрепещет,
И вздрогнет тьма, обрызганная блеском.
Таинственно во мне и предо мной
Минувшее слилося с настоящим;
И вижу ли, иль только вспоминаю,
И чувством ли, иль памятью живу,
В моем немом и сладком обаяньи
Отчета дать себе я не могу.
Мне кажется, что по тропинке этой
Не в первый раз брожу, что я когда-то
Играл на ней младенцем беззаботным,
Что юношей, тревог сердечных полным,
Влачил по ней тоскующие думы,
Незрелые и темные желанья,

И радости, и слезы, и мечты.
Передо мной не та же ль жатва зрела?
Не так же ли волнами золотыми
Она кругом, как море, трепетала,
И, яхонтом блистающие звезды,
Не те же ли светлели мне цветы?
О, как любовь моя неистощима,
Как неизменно свежи, вечно новы
Дары твои, всещедрая природа!
В их роскоши, в их неге, в изобильи
Нет бедственной отравы пресыщенья,
И на одном твоем цветущем лоне
Не старится и чувством не хладеет
С днем каждым увядающий печально,
К утратам присужденный человек.
Едва к тебе с любовью прикоснешься,
И свежесть первобытных впечатлений
По чувствам очерствевшим разольется,
И мягкостью и теплотою прежней
Разнежится унылая душа.
Сердечные преданья в нас не гаснут, —
Как на небе приметно иль незримо
Неугасимою красою звезды
Равно горят и в вёдро и в ненастье,
Так и в душе преданья в нас не гаснут;
Но облака житейских непогод
От наших чувств их застилают мраком,
И только в ясные минуты жизни,
Когда светло и тихо на душе,
Знакомые и милые виденья
На дне ее отыскиваем мы.
И предо мной разодралась завеса,
Скрывавшая минувшего картину,
И всё во мне воскресло вместе с нею,
И всё внезапно в жизни и в природе
Знакомое значенье обрело.
И светлый день, купающийся мирно
В прозрачной влаге воздуха и неба,
И с тесною своей тропинкой жатва,
И в стороне младой сосновой рощей
Увенчанный пригорок — есть на всё
В душе моей сочувствие и отзыв;

И радостно, в избытке чувств и жизни,
Я упиваюсь воздухом и солнцем,
И с жадностью младенческой кидаюсь
На яркие и пестрые цветы.
Но этими цветами, как бывало,
Не стану я уж ныне украшать
Алтарь моих сердечных поклонений,
Из них венки не соплету кумирам
Моей мечты слепой и суеверной,
Не обовью роскошным их убором
Веселой чаши дружеского пира:
Мои пиры давно осиротели,
И недопитые бокалы грустно
Стоят и ждут гостей уж безвозвратных.
Нет, ныне я с смиренным умиленьем
Вас принесу, любимые цветы,
На тихие могилы милых ближних,
Вас посвящу с признательною думой
Минувшему и памяти о нем.
Вот редкие и тайные минуты,
Когда светло и тихо на душе,
И милые, желанные виденья
Из сумраков вечерних восстают.

Август 1848

СУМЕРКИ

Чего в мой дремлющий тогда
не входит ум?
Державин

Когда бледнеет день, и сумрак задымится,
И молча на поля за тенью тень ложится,
В последнем зареве сгорающего дня
Есть сладость тайная и прелесть для меня.
Люблю тогда один, без цели, тихим шагом,
Бродить иль по полю, иль в роще за оврагом.
Кругом утихли жизнь и бой дневных работ;
Заботливому дню на смену ночь идет,
И словно к таинству природа приступила,

И ждет, чтобы зажглись небес паникадила.
Брожу задумчиво, и с сумраком полей
Сольются сумерки немой мечты моей.
И только изредка звук дальний, образ смутный
По сонному уму прорежет след минутный
И мир действительный напомнит мне слегка.
Чу! песня звонкая лихого ямщика
С дороги столбовой несется. Парень бойкой,
Поет и правит он своей задорной тройкой.
Вот тусклый огонек из-за окна мелькнул,
Тут голосов людских прошел невнятный гул,
Там жалобно завыл собаки лай нестройный —
И всё опять замрет в околице спокойной.
А тут нежданный стих, неведомо с чего,
На ум мой налетит и вцепится в него;
И слово к слову льнет, и звук созвучья ищет,
И леший звонких рифм юлит, поет и свищет.

Сентябрь 1848

ЗИМА

В дни лета природа роскошно,
Как дева младая, цветет,
И радостно денно и нощно
Ликует, пирует, поет.

Красуясь в наряде богатом,
Природа царицей глядит,
Сафиром, пурпуром, златом
Облитая, чудно горит.

И пышные кудри и косы
Скользят с-под златого венца,
И утром и вечером росы
Лелеют румянец лица.

И полные плечи и груди —
Всё в ней красота и любовь,
И ею любуются люди,
И жарче струится в них кровь.

С приманки влечет на приманку!
Приманка приманки милей!
И день с ней восторг спозаранку,
И ночь упоительна с ней!

Но поздняя осень настанет:
Природа состарится вдруг;
С днем каждым всё вянет, всё вянет,
И ноет в ней тайный недуг.

Морщина морщину пригонит,
В глазах потухающих тьма,
Ко сну горемычную клонит,
И вот к ней приходит зима.

Из снежно-лебяжьего пуху
Спешит пуховик ей постлать,
И тихо уложит старуху,
И скажет ей: спи, наша мать!

И спит она дни и недели,
И полгода спит напролет,
И сосны над нею и ели
Раскинули темный намет.

И вьюга ночная тоскует
И воет над снежным одром,
И месяц морозный целует
Старушку, убитую сном.

Ноябрь 1848

ПЕСНЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО

В этот день дал бог нам друга —
И нам праздник этот день!
Пусть кругом снега и вьюга
И январской ночи тень;
Ты, Вьельгорский, влагой юга
Кубок северный напень!
Все мы выпьем, все мы вскроем

Дно сердец и кубков дно
В честь того, кого запоем
Полюбили мы давно!

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Он чудесный дар имеет
Всех нас спаивать кругом:
Душу он душою греет,
Ум чарует он умом
И волшебно слух лелеет
Упоительным стихом.
И под старость духом юный,
Он всё тот же чародей!
Сладкой песнью дышат струны,
И душа полна лучей.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Нас судьбы размежевали,
Брошен он в чужой конец;
Но нас чувства с ним связали,
Но он сердцем нам близнец;
Ни разлуки нет, ни дали
Для сочувственных сердец.
Нежной дружбы тайной силой
И судьбе наперелом
В нас заочно — друг наш милый,
И мы жизнью сердца — в нем.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Тихо-радостной тоскою
В этот час объятый сам,

Может статься, он мечтою
К нам прильнул и внемлет нам,
И улыбкой и слезою
Откликается друзьям!
Радость в нем с печалью спорит,
Он и счастлив и грустит,
Нашим песням молча вторит
И друзей благодарит.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Январь 1849

СТЕПЬ

Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и версты нипочем!
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.

Степь широко на просторе
Поперек и вдоль лежит,
Словно огненное море
Зноем пышет и палит.

Цепенеет воздух сжатый,
Не пахнет на душный день
С неба ветерок крылатый,
Ни прохладной тучки тень.

Небеса, как купол медный,
Раскалились. Степь гола;
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла.

С кровли аист долгоногой
Смотрит, верный домосед;

Добрый друг семьи убогой,
Он хранит ее от бед.

Шагом, с важностью спокойной
Тащут тяжести волы;
Пыль метет метелью знойной,
Вьюгой огненной золы.

Как разбитые палатки
На распутии племен —
Вот курганы, вот загадки
Неразгаданных времен.

Пусто всё, однообразно,
Словно замер жизни дух;
Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.

Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.

Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы — матушка Россия,
Какова она ни есть!

Июнь 1849

БОСФОР

У меня под окном, темной ночью и днем,
Вечно возишься ты, беспокойное море;
Не уляжешься ты, и, с собою в борьбе,
Словно тесно тебе на свободном просторе.

О, шуми и бушуй, пой и плачь, и тоскуй,
Своенравный сосед, безумолкное море!
Наглядеться мне дай, мне наслушаться дай,
Как играешь волной, как ты мыкаешь горе.

Всё в тебе я люблю. Жадным слухом ловлю
Твой протяжный распев, волн дробящихся грохот,
И подводный твой гул, и твой плеск, и твой рев,
И твой жалобный стон, и твой бешеный хохот.

Глаз с тебя не свожу, за волнами слежу;
Тишь лежит ли на них, нежно веет ли с юга, —
Все слились в бирюзу; но, почуя грозу,
Что с полнóчи летит, — почернеют с испуга.

Всё сильней их испуг, и запрыгают вдруг,
Как стада диких коз по горам и стремнинам;
Ветер роет волну, ветер мечет волну,
И беснуется он по кипящим пучинам.

Но вот буйный уснул; волн смирился разгул,
Только шаткая зыбь всё еще бродит, бродит;
Море вздрогнет порой — как усталый больной,
Облегчившись от мук, дух с трудом переводит.

Каждый день, каждый час новым зрелищем нас
Манит в чудную даль голубая равнина:
Там, в пространстве пустом, в углубленьи морском,
Всё — приманка глазам, каждый образ — картина.

Паруса распустив, как легóк и красив
Двух стихий властелин, величавый и гибкой,
Бриг несется — орлом средь воздушных равнин,
Змий морской — он скользит по поверхности зыбкой.

Закоптив неба свод, вот валит пароход,
По покорным волнам он стучит и колотит;
Огнедышащий кит, море он кипятит,
Бой огромных колес волны в брызги молотит.

Не под тенью густой, — над прозрачной волной
Собирается птиц среброперая стая;
Все кружат на лету; то махнут в высоту,
То, спустившись, нырнут, грустный крик испуская.

От прилива судов со всемирных концов
Площадь моря кипит многолюдным базаром;

Здесь и север, и юг, запад здесь и восток —
Все приносят оброк разнородным товаром.

Вот снуют здесь и там — против волн, по волнам,
Челноки, каики вереницей проворной;
Лиц, одежд пестрота; всех отродий цвета,
Кож людских образцы: белой, смуглой и черной.

Но на лоно земли сон и мрак уж сошли;
Только море не спит и рыбак с ним не праздный;
Там на лодках, в тени, загорелись огни;
Опоясалась ночь словно нитью алмазной.

Нет пространству границ! Мыслью падаешь ниц —
И мила эта даль, и страшна бесконечность!
И в единый симвóл, и в единый глагол
Совмещается нам — скоротечность и вечность.

Море, с первого дня ты пленило меня!
Как полюбишь тебя — разлюбить нет уж силы;
Опостылит земля — и леса, и поля,
Прежде милые нам, после нам уж не милы;

Нужны нам: звучный плеск, разноцветный твой блеск,
Твой прибой и отбой, твой простор и свобода;
Ты природы душа! Как ни будь хороша, —
Где нет жизни твоей — там бездушна природа!

1849

НОЧЬ НА БОСФОРЕ

На луну не раз любовался я,
На жемчужный дождь светлых струй ея,
Но другой луны, но других небес
Чудный блеск раскрыл — новый мир чудес;
Не луну я знал — разве тень луны,
Красотам ночей я не знал цены.

Я их здесь узнал; здесь сказалось мне
Всё, что снится нам в баснословном сне;

Смотришь — ночь не ночь, смотришь — день
не день;
Голубой зарей блещет ночи тень.
Разглядеть нельзя в голубой дали:
Где конец небес, где рубеж земли?

Вспыхнул свод небес под огнем лампад;
Всех красавиц звезд не обхватит взгляд,
И одна другой веселей горит
И на нас милей и нежней глядит.
Вот одна звезда из среды подруг
Покатилась к нам и погасла вдруг.

Чешуей огня засверкал Босфор,
Пробежал по нем золотой узор.
Средь блестящих скал великан утес
Выше всех чело и светлей вознес;
Кипарис в тени серебром расцвел,
И блестят верхи минаретных стрел.

Скорлупой резной чуть струю задев,
Промелькнул каик. Перл восточных дев
Невидимкой в нем по волнам скользит;
С головы до ног тканью стан обвит;
И, дремотой чувств услаждая лень,
Пронеслась она, как немая тень.

Золотые сны, голубые сны
Сходят к нам с небес на лучах луны.
Негой дышит ночь! что за роскошь в ней!
Нет, нигде таких не видать ночей!
И молчит она, и поет она,
И душе одной ночи песнь слышна.

1849

ПАЛЕСТИНА

Свод безоблачно синий
Иудейских небес,
Беспредельность пустыни,
Одиноких древес,

Пальмы, маслины скудной
Бесприютная тень,
Позолотою чудной
Ярко блещущий день.

По степи — речки ясной
Не бежит полоса,
По дороге безгласной
Не слыхать колеса.
Только с ношей своею
(Что ему зной и труд!),
Длинно вытянув шею,
Выступает верблюд.

Ладия и телега
Беспромышленных стран,
Он идет до ночлега,
Вслед за ним караван
Иль, бурнусом обвитый,
На верблюде верхом
Бедуин сановитый,
Знойно смуглый лицом.

Словно зыбью качаясь,
Он торчит и плывет,
На ходу подаваясь
То назад, то вперед.
Иль промчит кобылица
Шейха с длинным ружьем,
Иль кружится, как птица,
Под лихим седоком.

Помянув Магомета,
Всадник, встретясь с тобой,
К сердцу знаком привета
Прикоснется рукой.
Полдень жаркий пылает,
Воздух — словно огонь;
Путник жаждой сгорает
И томящийся конь.

У гробницы с чалмою
Кто-то вырыл родник;
Путник жадной душою
К хладной влаге приник.
Благодетель смиренный!
Он тебя от души
Помянул освеженный
В опаленной глуши.

Вот под сенью палаток
Быт пустынных племен;
Женский склад — отпечаток
Первобытных времен.
Вот библейского века
Верный сколок: точь-в-точь
Молодая Ревекка,
Вафуилова дочь.

Голубой пеленою
Стан красивый сокрыт;
Взор восточной звездою
Под ресницей блестит.
Величаво-спокойно
Дева сходит к ключу;
Водонос держит стройно,
Прижимая к плечу.

В поле кактус иглистый
Распускает свой цвет.
В дальней тьме — каменистый
Аравийский хребет.
На вершинах суровых
Гаснет день средь зыбей
То златых, то лиловых,
То зеленых огней.

Чудно блещут картины
Ярких красок игрой.
Светлый край Палестины!
Упоенный тобой,
Пред рассветом, пустыней
Я несусь на коне

Богомольцем к святыне,
С детства родственной мне.

Шейх с летучим отрядом
Мой дозор боевой;
Впереди, сзади, рядом
Вьется пестрый их рой.
Недоверчиво взгляды
Озирают вокруг:
Хищный враг из засады
Не нагрянет ли вдруг?

На пути, чуть пробитом
Средь разорванных скал,
Конь мой чутким копытом
По обломкам ступал.
Сон под звездным наметом;
Запылали костры;
Сон тревожит налетом
Вой шакалов с горы.

Эпопеи священной
Древний мир здесь разверст:
Свиток сей неизменный
Начертал божий перст.
На Израиль с заветом
Здесь сошла божья сень;
Воссиял здесь рассветом
Человечества день.

Край святой Палестины,
Край чудес искони!
Горы, дебри, равнины,
Дни и ночи твои,
Внешний мир, мир подспудный,
Всё, что было, что есть, —
Всё поэзии чудной
Благодатная весть.

И, в ответ на призванье,
Жизнь, горé возлетев,

Жизнь — одно созерцанье
И молитвы напев.
Отблеск светлых видений
На душе не угас;
Дни святых впечатлений,
Позабуду ли вас?

1850 (?)

ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ ФРАНЦИЮ В 1851 ГОДУ

Когда железные дороги
Избороздили целый свет,
И колымажные берлоги —
«Дела давно минувших лет»,

Когда и лошадь почтовая —
Какой-то миф, как Буцефал,
И кучер, мумия живая,
Животным допотопным стал, —

Тогда, хандрою и недугом
Страдая, прячась от людей,
Я по шоссе тащился цугом
В рыдване прадедовских дней.

И, распростившись с брегом финским,
Я от родного рубежа
Петром Иванычем Добчи́нским
Достиг местечка Парижа́.

Зато на станцию приеду —
Что за возня, за беготня?
Все смотрят, все ведут беседу
Про мой рыдван и про меня.

Я цель всеобщего вопроса:
Что за урод тут, что за черт?
Жандарм пришел, глядит он косо
И строго требует паспо́рт.

Он весь встревожен: не везу ли
В карете пушки я тайком?
Не адский ли снаряд? и пули
В нем не набиты ли битком?

Не еду ль я мутить Вандею?
Коню троянскому под стать,
В карете, может быть, имею
Бивакирующую рать?

Из зависти к Наполеону
И чтоб потешить англичан,
Уж не Вандомскую ль колонну
Украл и сунул я в рыдван?

Жандарм пугливыми глазами
Бурбоном рад признать меня,
Хоть нос мой, знаете вы сами,
Совсем бурбонским не родня.

В сарае затерялась сбруя,
Все почтальоны на боку,
А кони, на траве пируя,
Давно в бессрочном отпуску.

Всё разбрелось, пришло в упадок;
И часто я полсуток жду,
Пока не приведут в порядок
Всю *дожелезную* езду.

Что шаг, то новая помеха,
И смех и горе! Вовсе нет!
Другим смешно, мне ж не до смеха,
Я жертвой всех дорожных бед.

Измучился Улисс несчастный;
Да и теперь, как вспомню я
О вашей «Франции прекрасной»,
Коробит и тошнит меня.

1851

МАСЛЕНИЦА НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

Здравствуй, в белом сарафане,
Из серебряной парчи!
На тебе горят алмазы,
Словно яркие лучи.

Ты живительной улыбкой,
Свежей прелестью лица
Пробуждаешь к чувствам новым
Усыпленные сердца!

Здравствуй, русская молодка,
Раскрасавица-душа,
Белоснежная лебедка,
Здравствуй, матушка зима!

Из-за льдистого Урала
Как сюда ты невзначай,
Как, родная, ты попала
В бусурманский этот край?

Здесь ты, сирая, не дома,
Здесь тебе не по нутру;
Нет приличного приема
И народ не на юру.

Чем твою мы милость встретим?
Как задать здесь пир горой?
Не суметь им, немцам этим,
Поздороваться с тобой.

Не напрасно дедов слово
Затвердил народный ум:
«Что для русского здорово,
То для немца карачун!»

Нам не страшен снег суровый,
С снегом — батюшка-мороз,
Наш природный, наш дешевый
Пароход и паровоз.

Ты у нас краса и слава,
Наша сила и казна,
Наша бодрая забава,
Молодецкая зима!

Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир,
И блинами и настойкой
Закутит крещеный мир.

В честь тебе и ей Россия,
Православных предков дочь,
Строит горы ледяные
И гуляет день и ночь.

Игры, братские попойки,
Настежь двери и сердца!
Пышут бешеные тройки,
Снег топоча у крыльца.

Вот взвились и полетели,
Что твой сокол в облаках!
Красота ямской артели
Возжи ловко сжал в руках;

В шапке, в синем полушубке
Так и смотрит молодцом,
Погоняет закадычных
Свистом, ласковым словцом.

Мать дородная в шубейке
Важно в розвальнях сидит,
Дочка рядом в душегрейке,
Словно маков цвет горит.

Яркой пылью иней сыплет
И одежду серебрит,
А мороз, лаская, щиплет
Нежный бархатец ланит.

И белее и румяней
Дева блещет красотой,

Как алеет на поляне
Снег под утренней зарей.

Мчатся вихрем, без помехи
По полям и по рекам,
Звонко щелкают орехи
На веселие зубкам.

Пряник, мой однофамилец,
Также тут не позабыт,
А наш пенник, наш кормилец,
Сердце любо веселит.

Разгулялись город, села,
Загулялись стар и млад, —
Всем зима родная гостья,
Каждый масленице рад.

Нет конца веселым кликам,
Песням, удали, пирам.
Где тут немцам-горемыкам
Вторить вам, богатырям?

Сани здесь — подобной дряни
Не видал я на веку;
Стыдно сесть в чужие сани
Коренному русаку.

Нет, красавица, не место
Здесь тебе, не обиход,
Снег здесь — рыхленькое тесто,
Вял мороз и вял народ.

Чем почтят тебя, сударку?
Разве кружкою пивной,
Да копеечной сигаркой,
Да копченой колбасой.

С пива только кровь густеет,
Ум раскиснет и лицо;
То ли дело, как прогреет
Наше рьяное винцо!

Как шепнет оно в догадку
Ретивому на ушко, —
Не споет, ей-ей, так сладко
Хоть бы вдовушка Клико!

Выпьет чарку-чародейку
Забубенный наш земляк:
Жизнь копейка! — смерть-злодейку
Он считает за пустяк.

Немец к мудрецам причислен,
Немец — дока для всего,
Немец так глубокомыслен,
Что провалишься в него.

Но, по нашему покрою,
Если немца взять врасплох,
А особенно зимою,
Немец — воля ваша! — плох.

20 февраля 1853,
Дрезден

КНЯГИНЕ ВЕРЕ АРКАДЬЕВНЕ ГОЛИЦЫНОЙ

Поздравить с пасхой вас спешу я,
И, вместо красного яйца,
Портрет курносого слепца
Я к вашим ножкам, их целуя,
С моим почтеньем приношу
И вас принять его прошу.
Гостинец мой не очень сладок, —
Боюсь, увидя образ мой,
Вы скажете: «Куда ты гадок,
Любезнейший голубчик мой!
Охота ж, и куда некстати,
С такою рожею дрянной
Себя выказывать в печати!»
Чухонский, греческий ли нос
Мне влеплен был? — не в том вопрос.
Глаза ли мне, иль просто щели

Судьбы благие провертели —
И до того мне дела нет!
Но если скажет мой портрет,
Что я вам предан всей душою,
Что каждый день и каждый час
Молю, с надеждой и тоскою,
Чтоб ваш хранитель-ангел спас
Вас от недуга и от скуки —
Сидеть и ждать, поджавши руки,
Сегодня так же, как вчера,
Когда помогут доктора;
Что я молю, чтобы с весною
Опять босфорской красотою
К здоровью, к радостям земли
Вы благодатно расцвели;
Молю, чтоб к Золотому Рогу
Вам случай вновь открыл дорогу,
Чтоб любоваться вновь могли
Небес прозрачных ярким блеском
И негой упоенным днем
Там, где в сияньи голубом
Пестреют чудным арабеском
Гор разноцветных шишаки,
Султанов пышные жилища,
Сады, киоски и кладбища,
И минаретные штыки.
Там пред Эюбом живописным,
Венчаясь лесом кипарисным,
Картина чудной красоты
Свои раскинула узоры;
И в неге цепенеют взоры,
И на душу летят мечты,
Там, как ваянья гробовые,
И неподвижно и без слов,
Накинув на себя покров,
Сидят турчанки молодые
На камнях им родных гробов.
Волшебный край! Шехеразады
Живая сказочная ночь!
Дремоты сердца и услады
Там ум не в силах превозмочь.
Там вечно свежи сновиденья,

Живешь без цели, наобум,
И засыпают сном забвенья
Дней прежних суетность и шум.
Когда всё то портрет вам скажет,
Меня чрезмерно он обяжет,
И я тогда скажу не ложь,
Что список с подлинником схож.

18 апреля 1853,
Дрезден

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ

...А стих александрийский?..
Уж не его ль себе я залучу?
Извилистый, проворный, длинный, склизкий
И с жалом даже, точная змия;
Мне кажется, что с ним управлюсь я.

Пушкин. «Домик в Коломне»

Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский,
Ложится хорошо в него язык российский,
Глагол наш великан плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, тяжелый на подъем,
И руки что шесты, и ноги что ходули,
В телодвижениях неловкий. На ходу ли
Пядь полновесную как в землю вдавит он,
Подумаешь, что тут прохаживался слон.
А если пропустить слона иль бегемота,
То настежь растворяй широкие ворота,
В калитку не пройдет: *не дозволяет чин.*
Иному слову рост без малого в аршин;
Тут как ни гни его рукою расторопной,
Но всё же не вогнешь в ваш стих четверостопный.
А в нашем словаре не много ль слов таких,
Которых не свезет и шестистопный стих?
На усеченье слов теперь пошла опала:
С другими прочими и эта вольность пала.
В златой поэтов век, в блаженные года,
Отцы в подстрижке слов не ведали стыда.
Херасков и Княжнин, Петров и Богданович,
Державин, Дмитриев и сам Василий Львович,
Как строго ни хранил классический устав,

Не клали под сукно поэту данных прав.
С словами не чинясь, так поступали просто
И Шекспир и Клопшток, Камоэнс, Ариосто,
И от того их стих не хуже — видит бог, —
Что здесь и там они отсекли лишний слог.
Свободой дорожа, разумное их племя
Не изменило им и в нынешнее время.
Но мы, им вопреки, неволей дорожим:
Над каждой буквой мы трясемся и корпим
И, отвергая сплошь наследственные льготы,
Из слова не хотим пожертвовать иоты.
А в песнях старины, в сих свежих и живых
Преданьях, в отзывах сочувствий нам родных,
Где звучно врезались наш дух и склад народный,
Где изливается душа струей свободной,
Что птица божия, — свободные певцы
Счастливой вольности нам дали образцы.
Их бросив, отдались мы чопорным французам
И предали себя чужеязычным узам.
На музу русскую, полей привольных дочь,
Чтоб красоте ее искусственно помочь,
Надели мы корсет и оковали в цепи
Ее, свободную, как ветр свободной степи.
Святая старина! и то сказать, тогда,
Законодатели и дома господа,
Не ведали певцы журнальных гог-магогов;
Им не страшна была указка педагогов,
Которые, другим указывая путь,
Не в силах за порог ногой перешагнуть,
И, сидя на своем подмостке, всенародно
Многоглагольствуют обильно и бесплодно.
Как бы то ни было, но с нашим словарем
Александрийский стих с своим шестериком
Для громоздких поклаж нелишняя упряжка.
И то еще порой он охает, бедняжка,
И если бы к нему на выручку, подчас,
Хоть пару или две иметь еще в запас
(Как на крутых горах волами на подмогу
Вывозят экипаж на ровную дорогу),
Не знаю, как другим, которых боек стих
И вывезть мысль готов без нужды в подставных, —
Но стихоплетам, нам — из дюжинного круга,

В сих припряжных волах под стать была б услуга.
Известно: в старину российский грекофил
Гекзаметр древнего покроя обновил,
Но сглазил сам его злосчастный Третьяковский;
Там Гнедич в ход пустил и в честь возвел
Жуковский.
Конечно, этот стих на прочих не похож:
Он поместителен, гостеприимен тож,
И многие слова, величиной с Федору,
Находят в нем приют благодаря простору.
Битв прежних не хочу поднять и шум и пыль;
Уж в общине стихов гекзаметр не бобыль:
Уваров за него сражался в поле чистом
И с блеском одержал победу над Капнистом.
Под бойкой стычкой их (дошел до нас рассказ)
Беседа, царство сна, проснулась в первый раз.
Я знаю, что о том давно уж споры стихли,
А все-таки спрошу: гекзаметр, полно, стих ли?
Тень милая! прости, что дерзко и шутя
Твоих преклонных лет любимое дитя
Злословлю. Но не твой гекзаметр, сердцу милый,
Пытаюсь уколоть я эпиграммой хилой.
Гекзаметр твой люблю читать и величать,
Как всё, на чем горит руки твоей печать.
Особенно люблю, когда с слепцом всезрячим
Отважно на морях ты, по следам горячим
Улисса, странствуешь, и кормчий твой Омир
В гекзаметрах твоих нас вводит в новый мир.
Там свежей древностью и жизнью первобытной
С природой заодно, в сени ее защитной
Всё дышит и цветет в спокойной красоте.
Искусства не видать: искусство — в простоте;
Гекзаметру вослед — гекзаметр жизнью полный.
Так, в полноводие, реки широкой волны
Свободно катятся, и берегов краса,
И вечной прелестью младые небеса
Рисуются в стекле прозрачности прохладной.
Не налюбуешься картиной ненаглядной,
Наслушаться нельзя поэзии твоей.
Мир внешней красоты, мир внутренних страстей,
Рой помыслов благих и помыслов порочных,
Действительность и сны видений, нам заочных,

Из области мечты приветный блеск и весть,
Вся жизнь как есть она, весь человек как есть, —
В твоих гекзаметрах, с природы верных сколках
(И как тут помышлять о наших школьных толках?),
Всё отражается, как в зеркале живом.
Твой не читаешь стих, — живешь с твоим стихом.
Для нас стихи твои не мерных слов таблица:
Звучит живая речь, глядят живые лица.
Всё так! но, признаюсь, по рифме я грущу
И по опушке строк ее с тоской ищу.
Так дети в летний день, преследуя забавы,
Порхают весело тропинкой вдоль дубравы,
И стережет и ждет их жадная рука
То красной ягодки, то пестрого цветка.
Так, признаюсь, мила мне рифма-побрякушка,
Детей до старости веселая игрушка.
Аукаться люблю я с нею в темноту,
Нечаянно ловить шалунью на лету
И по кайме стихов и с прихотью и с блеском
Ткань украшать свою игривым арабеском.
Мне белые стихи — что дева-красота,
Которой не цветут улыбкою уста.
А может быть и то, что виноград мне кисел,
Что сроду я не мог сложить созвучных чисел
В гекзаметр правильный, — что, на мою беду,
Знать, к ямбу я прирос и с ямбом в гроб сойду.

7 мая 1853,
Дрезден

НОЧЬЮ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

между Прагою и Веною

Прочь Людмила с страшной сказкой
Про полночного коня!
Детям будь она острасткой,
Но пугать ей не меня.

Сказку быль опередила
В наши опытные дни:
Огнедышащая сила,
Силам адовым сродни,

Нас уносит беспрерывно
Сквозь ущелья и леса,
Совершая с нами дивно
Баснословья чудеса.

И меня мчит ночью темной
Змий — не змий и конь — не конь,
Зверь чудовищно огромный,
Весь он пар и весь огонь!

От него, как от пожара,
Ночь вся заревом горит,
И сквозь мглу, как божья кара,
Громоносный, он летит.

Он летит неукротимо,
Пролетит — и нет следа,
И как тени мчатся мимо
Горы, села, города.

На земле ль встает преграда —
Под землей он путь пробьет,
И нырнет во мраки ада,
И как встрепанный всплывет.

Зверю бесконечной снедью
Раскаленный уголь дан.
Грудь его обита медью,
Голова — кипучий чан.

Род кометы быстротечной,
По пространностям земным
Хвост его многоколечный
Длинно тянется за ним.

Бьют железные копыта
По чугунной мостовой.
Авангард его и свита —
Грохот, гул, и визг, и вой.

Зверь пыхтит, храпит, вдруг свистнет,
Так, что вздрогнет всё кругом,

С гривы огненной он вспрыснет
Мелким огненным дождем,

И под ним, когда громада
Мчится бурью быстроты,
Не твоим чета, баллада:
«С громом зыблются мосты».

Мертвецам твоим, толпами
Вставшим с хладного одра,
Не угнаться вслед за нами,
Как езда их ни скора.

Поезд наш не оробеет,
Как ни пой себе петух;
Мчится — утра ль блеск алеет,
Мчится — блеск ли дня потух.

В этой гонке, в этой скачке —
Всё вперед, и всё спеша —
Мысль кружится, ум в горячке,
Задыхается душа.

Приключись хоть смерть дорогой,
Умирай, а всё лети!
Не дадут душе убогой
С покаяньем отойти.

Увлеченному потоком
Страшен этот, в тьме ночной,
Поединок с темным роком,
С неожиданной грозой.

Силой дерзкой и крамольной
Человек вооружен;
Ненасытной, своевольной
Страстью вечно он разжен.

Бой стихий, противоречий,
Разногласье спорных сил —
Всё попрал ум человечий
И расчету подчинил.

Так, ворочая вселенной
Из страстей и из затей,
Забывается надменно
Властелин немногих дней.

Но безделка ль подвернется,
Но хоть нá волос один
С колеи своей собьется
Наш могучий исполин, —

Весь расчет, вся мудрость века —
Нуль да нуль, всё тот же нуль,
И ничтожность человека
В прах летит с своих ходуль.

И от гордых снов науки
Пробужденный, как ни жаль,
Он, безногий иль безрукий,
Поплетется в госпитáль.

Май 1853

ЗОННЕНШТЕЙН

Прекрасный здесь вид Эльбы величавой,
Роскошной жизнью берега цветут,
По ребрам гор дубрава за дубравой,
За виллой вилла, летних нег приют.

Везде кругом из каменистых рамок
Картины блещут свежей красотой:
Вот на утес перешагнувший замок
К главе его прирос своей пятой.

Волшебный край, то светлый, то угрюмый!
Живой кипсек всех прелестей земли!
Но облаком в душе засевшей думы
Развлечь, согнать с души вы не могли.

Я предан был другому впечатленью, —
Любезный образ в душу налетал,

Страдальца образ — и печальной тенью
Он красоту природы омрачал.

Здесь он страдал, томился здесь когда-то,
Жуковского и мой душевный брат,
Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат.

Не для его очей цвела природа,
Святой глагол ее пред ним немел,
Здесь для него с лазоревого свода
Веселый день не радостью горел.

Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы,
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы.

Но видел он, но ум его тревожил —
Что созидал ума его недуг;
Так, бедный, здесь лета страданья прожил,
Так и теперь живет несчастный друг.

Июль, 1853,
на пароходе

БАСТЕЙ

Что за бури прошли?
Что за чудо здесь было?
Море ль здесь перерыло
Лоно твердой земли?

Изверженье ли ада
Сей гранитный хаос?
На утесе — утес,
На громаде — громада!

Всё здесь глушь, дичь и тень!
А у горных подножий
Тих и строен мир божий,
Улыбается день;

Льется Эльба, сияя,
Словно зеркальный путь,
Словно зыбкую ртуть
Полосой разливая.

Рек и жизнь, и краса —
По волнам лодок стая
Мчится, быстро мелькая,
Распустив паруса.

Вот громадой пловучей
Пропыхтел пароход,
Неба яхонтный свод
Закоптил дымной тучей,

Бархат пестрых лугов,
Храмы, замки, беседки
И зеленые сетки
Виноградных садов.

Жатвы свежее злато,
Колыхаясь, горит;
Всё так чудно глядит,
Всё так пышно, богато!

Там — в игривых лучах
Жизни блеск, скоротечность;
Здесь — суровая вечность
На гранитных столпах.

1853

ПЕТР I В КАРЛСБАДЕ

Великий Петр, твой каждый след
Для сердца русского есть памятник
священный,
И здесь, средь горных скал, твой образ
незабвенный
Встает в лучах любви, и славы, и побед.

Нам святы о тебе преданья вековые,
Жизнь русская тобой еще озарена,
И памяти твоей, Великий Петр, верна
Твоя великая Россия!

1853

ВЕНЕЦИЯ

Город чудный, чресполосный —
Суша, море по клочкам, —
Безлошадный, бесколесный,
Город — рознь всем городам!
Пешеходу для прогулки
Сотни мостиков сочтешь;
Переулки, закоулки, —
В их мытарствах пропадешь.

Вместо улиц — коридоры,
Где народ валит гуськом.
Зданья — мраморные горы,
Изваянные резцом.
Здесь — прозрачные дороги,
И в их почве голубой
Отражаются чертоги,
Строя город под водой.

Экипажи — точно гробы,
Кучера — одни гребцы.
Рядом — грязные трущобы
И роскошные дворцы.
Нищеты, великолепья
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь!

Здесь живое населенье
Меди, мрамора, картин,
И прошло их поколенье
Сквозь грозу и мрак годин.

Живо здесь бессмертьем славы
Племя светлых сограждан:
Сансовино величавый,
Тинторетто, Тициан,

Жиордано, Порденоне,
Гвидо-Рени, Веронез, —
Мир, зачавшийся в их лоне,
При австрийцах не исчез.
Торжествуя над веками
И над злобною враждой,
Он цветет еще пред нами
Всемогущей красотой.

Здесь лишь статуи да бюсты
Жизнь домашнюю ведут;
Люди — их жилища пусты —
Все на площади живут.
Эта площадь — их казúно,
Вечный раут круглый год:
Убрал залу Сансовино,
Крыша ей — небесный свод.

Здесь с *факином* правнук
дожа,
Здесь красавиц рой блестит,
Взглядом нежа и тревожа
Двор подвластных волокит.
Вот аббат в мантилье черной,
В нем минувший быт и век;
Словно вышел из уборной
Принчипессы — имярек.

В круглой шляпке, с водоноском
Черноглазая краса;
Из-под шляпки черным лоском
Блещет тучная коса.
Здесь разносчиков ватага,
Разной дряни торгаши,
И что шаг — то побродяга,
Промышляющий гроши.

Тенор здесь хрипит рулады,
Там скрипит скрипач слепой
Так, что все оглохнуть рады,
Только б дать ушам покой.
Кофе пьют, едят *сорбети*
И, свою балуя лень,
Юга счáстливые дети
Так проводят праздный день.

Здесь, как в пестром маскараде,
Разноцветный караван;
Весь восток в своем наряде:
Грек — накинув долиман,
Турок — феску нахлобуча,
И средь лиц из разных стран
Голубей привольных куча,
А тем паче англичан.

Все они несут под мышкой
Целый пук карандашей,
Телескоп с дорожной книжкой,
Проверяя всё по ней.
Дай им волю — и в Сан-Марко
Впишут, не жалея стен,
Святотатственно и марко
Длинный ряд своих имен.

Если ж при ночном светиле
Окуется серебром
Базилика, Кампаниле
И дворец, почивший сном,
И крылатый лев заблещет,
И спросонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине,

И весь этот край лагунный,
Весь волшебный этот мир
Облечется ночью лунной
В злато, жемчуг и сафир;
Пред картиной этой чудной
Цепенеют глаз и ум —

И, тревоги многолюдной
Позабыв поток и шум,

Ты душой уединишься!
Весь ты зренье и любовь,
Ты глядишь и заглядишься,
И глядеть всё хочешь вновь,
И, всем прочим не в обиду, —
Красоту столиц земных,
Златовласую Киприду,
Дочь потоков голубых,

Приласкаешь, приголубишь
Мыслью, чувством и мечтой,
И Венецию полюбишь
Без ума и всей душой.
Но одно здесь спорит резко
С красотою здешних мест:
Наложил лихой тедеско
На Венецию арест.

Здесь, где дожей память славит
Вековечная молва,
Тут пятой Горшковский давит
Цепью скованного льва;
Он и скованный сатрапу
Страшен. Всё в испуге ждет:
Не подымет ли он лапу?
Гривой грозно ль не тряхнет?

1853

ИЗ «ПОМИНОК»

Поэтической дружины
Смелый вождь и исполин!
С детства твой полет орлиный
Достигал крутых вершин.

Помню я младую братью,
Милый цвет грядущих дней:

Отрок с огненной печатью,
С тайным заревом лучей

Вдохновенья и призванья
На пророческом челе,
Полном думы и мечтанья,
Крыльев наших на земле,

Вещий отрок, отрок славы,
Отделившись от других,
Хладно смотрит на забавы
Шумных сверстников своих.

Но гроза зажжет ли блеском
Почерневший неба свод,
Волны ль однозвучным плеском
Пробудятся в лоне вод;

Ветром тронутый, тоскуя
Запоет ли темный лес,
Как Мемнонова статуя
Под златым лучом небес;

За ветвистою палаткой
Соловей ли в тьме ночной,
С свежей негой, с грустью
сладкой,
Изливает говор свой;

Взор красавицы ль случайно
Нежно проскользнет на нем, —
Сердце разгорится тайно
Преждевременным огнем;

Чуткий отрок затрепещет,
Молча сердце даст ответ,
И в младых глазах заблещет
Поэтический рассвет.

Там, где царскосельских сеней
Сумрак манит в знойный день,
Где над роем славных теней
Вьется царственная тень;

Где владычица полмира
И владычица сердец,
Притаив на лоне мира
Ослепительный венец,

Отрешась от пышной скуки
И тщеславья не любя,
Ум, искусства и науки
Угощала у себя;

Где являлась не царицей
Пред восторженным певцом,
А бессмертною Фелицей
И державным мудрецом.

Где в местах, любимых ею,
Память так о ней жива
И дней славных эпопею
Внукам предает молва, —

Там таинственные громы,
Словно битв далеких гул,
Повторяют нам знакомый
Оклик: Чесма и Кагул.

Той эпохи величавой
Блеск еще там не потух,
И поэзией и славой
Всё питало юный дух.

Там поэт в родной стихии
Стих златой свой закалил,
И для славы и России
Он расцвел в избытке сил.

Век блестящий переживший,
Переживший сам себя,
Взор, от лет полуостывший,
Славу юную любя,

На преемнике цветущем
Старец-бард остановил,

О себе вздохнув, — в грядущем
Он певца благословил.

Брата обнял в нем Жуковский,
И с сочувствием родным,
С властью, нежностью отцовской
Карамзин следил за ним...

Как прекрасно над тобою
Утро жизни рассвело;
Ранним лавром, взятым с бою,
Ты обвил свое чело.

Свет холодный, равнодушный
Был тобою пробужден,
И, волшебнику послушный,
За тобой увлекся он.

Пред тобой соблазны пели,
Уловляя в плен сетей,
И в младой груди кипели
Страсти Африки твоей.

Ты с отвагою безумной
Устремился в быстрину,
Жизнью бурной, жизнью шумной
Ты пробился сквозь волну.

Но души не опозорил
Бурь житейских мутный вал;
За тебя твой гений спорил
И святыню отстоял.

От паденья, жрец духовный,
Дум и творчества залог —
Пламень чистый и верховный —
Ты в душе своей сберег.

Всё ясней, всё безмятежней
Разливался свет в тебе,
И всё строже, всё прилежней,
С обольщеньями в борьбе,

На таинственных скрижалях
Повесть сердца ты читал,
В радостях его, в печалях
Вдохновений ты искал.

Ты внимал живым глаголам
Поучительных веков,
Чуждый распрям и расколам
. . . .

1853 (?)

ЭПЕРНЕ

(Денису Васильевичу Давыдову)

I

Икалось ли тебе, Давыдов,
Когда шампанское я пил
Различных вкусов, свойств и видов,
Различных возрастов и сил,

Когда в подвалах у Моэта
Я жадно поминал тебя,
Любя наездника-поэта,
Да и шампанское любя?

Здесь бьет Кастальский ключ, питая
Небаснословною струей;
Поэзия — здесь вещь ручная:
Пять франков дай — и пей и пой!

Моэт — вот сочинитель славный!
Он пишет прямо набело,
И стих его, живой и плавный,
Ложится на душу светло.

Живет он славой всенародной;
Поэт доступный, всем с руки,
Он переводится свободно
На все живые языки.

Недаром он стяжал известность
И в школу все к нему спешат:
Его текущую словесность
Все поглощают нарасхват.

Поэм в стеклянном переплете
В его архивах миллион.
Гомер! хоть ты в большом почете, —
Чтó твой воспетый Илион?

Когда тревожила нас младость
И жажда ощущений жгла,
Его поэма, наша радость,
Настольной книгой нам была.

Как много мы ночей бессонных,
Забыв все тягости земли,
Ночей прозрачных, благосклонных,
С тобой над нею провели.

Прочтешь поэму — и, бывало,
Давай полдюжину поэм!
Как ни читай, — кажись, всё мало...
И зачитаешься совсем.

В тех подземелиях гуляя,
Я думой ожил в старине;
Гляжу: биваком рать родная
Расположилась в Эперне.

Лихой казак, глазам и слуху,
Предстал мне: песни и гульба!
Пьют эпернейскую сивуху,
Жалея только, что слаба.

Люблю я русского натуру:
В бою он лев; пробьют отбой —
Весельчаку и балагуру
И враг всё тот же брат родной.

Оставя боевую пику,
Казак здесь мирно пировал,

Но за Москву, французам в пику,
Их погреба он осушал.

Вином кипучим с гор французских
Он поминал родимый Дон,
И, чтоб не пить из рюмок узких,
Пил прямо из бутылок он.

Да и тебя я тут подметил,
Мой бородинский бородач!
Ты тут друзей давнишних встретил,
И поцелуй твой был горяч.

Дней прошлых свитки развернулись,
Все поэтические сны
В тебе проснулись, встрепенулись
Из-за душевной глубины.

Вот край, где радость льет обильно
Виноточивая лоза;
И из очей твоих умильно
Скатилась пьяная слеза!

II

Так из чужбины отдаленной
Мой стих искал тебя, Денис!
А уж тебя ждал неизменный
Не виноград, а кипарис.

На мой привет отчизне милой
Ответом скорбный голос был,
Что свежей братскою могилой
Дополнен ряд моих могил.

Искал я друга в день возврата,
Но грустен был возврата день!
И *собутыльника* и брата
Одну я с грустью обнял тень.

Остыл поэта светлый кубок,
Остыл и партизанский меч;

Средь благовонных чаш и трубок
Уж не кипит живая речь.

С нее не сыплются, как звезды,
Огни и вспышки острых слов,
И речь наездника — наезды
Не совершает на глупцов.

Струей не льется вечно новой
Бивачных повестей рассказ
Про льды Финляндии суровой,
Про огнедышащий Кавказ,

Про год, запечатленный кровью,
Когда, под заревом Кремля,
Пылая местью и любовью,
Восстала русская земля,

Когда, принесши безусловно
Все жертвы на алтарь родной,
Единодушно, поголовно
Народ пошел на смертный бой.

Под твой рассказ народной были,
Животрепещущий рассказ,
Из гроба тени выходили,
И блеск их ослеплял наш глаз.

Багратион — Ахилл душою,
Кутузов — мудрый Одиссей,
Сеславин, Кульнев — простотою
И доблестью муж древних дней!

Богатыри эпохи сильной,
Эпохи славной, вас уж нет!
И вот сошел во мрак могильный
Ваш сослуживец, ваш поэт!

Смерть сокрушила славы наши,
И смотрим мы с слезой тоски
На опрокинутые чаши,
На упраздненные венки.

Зову, — молчит припев бывалый;
Ищу тебя, — но дом твой пуст;
Не встретит стих мой запоздалый
Улыбки охладевших уст.

Но песнь мою, души преданье
О светлых, безвозвратных днях,
Прими, Денис, как возлиянье
На прах твой, сердцу милый прах!

1839—1854

СОЗНАНИЕ

Владимиру Павловичу Титову

Я не могу сказать, что старость для меня
Безоблачный закат безоблачного дня.
Мой полдень мрачен был и бурями встревожен,
И темный вечер мой весь тучами обложен.
Я к старости дошел путем родных могил:
Я пережил детей, друзей я схоронил;
Начну ли проверять минувших дней итоги?
Обратно ль оглянусь с томительной дороги?
Везде развалины, везде следы утрат
О пройденном пути одни мне говорят.
В себя ли опущу я взор свой безотрадный?
Всё те ж развалины, всё тот же пепел хладный
Печально нахожу в сердечной глубине;
И там живым плодом жизнь не сказалась мне.
Талант, который был мне дан для приращенья,
Оставил праздным я на жертву нераденья;
Всё в семени самом моя убила лень,
И чужд был для меня созревшей жатвы день.
Боец без мужества и труженик без веры,
Победы не стяжал и не восполнил меры,
Которая ему назначена была.
Где жертвой и трудом подъятые дела?
Где воли торжество, благих трудов начало?
Как много праздных дум, а подвигов как мало!
Я жизни таинства и смысла не постиг;
Я не сумел нести святых ее вериг,

И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей —
Как воину хоругвь дается в ратном поле, —
Безумно и грешно, чтобы вольней идти,
Снимая с слабых плеч, бросал я по пути.
Но догонял меня крест с ношею суровой,
Вновь тяготел на мне, и глубже язвой новой
Насильно он в меня врастал.
                                        В борьбе слепой
Не с внутренним врагом я бился, не с собой;
Но промысл обойти пытался разум шаткой,
Но промысл обмануть хотел я, чтоб украдкой
Мне выбиться на жизнь из-под его руки
И новый путь пробить, призванью вопреки.
Но счастья тень поймать не впрок пошли усилья,
А избранных плодов несчастья не вкусил я.
И, видя дней своих скудеющую нить,
Теперь, что к гробу я всё ближе подвигаюсь,
Я только сознаю, что разучился жить,
    Но умирать не научаюсь.

Лето 1854

РЯБИНА

Тобой, красивая рябина,
Тобой, наш русский виноград,
Меня потешила чужбина,
И я землячке милой рад.

Любуюсь встречею случайной;
Ты так свежа и хороша!
И на привет твой думой тайной
Задумалась моя душа.

Меня минувшим освежило,
Его повеяло крыло,
И в душу глубоко и мило
Дней прежних запах нанесло.

Всё пережил я пред тобою,
Всё перечувствовал я вновь —

И радость пополам с тоскою,
И сердца слезы, и любовь.

Одна в своем убранстве алом,
Средь обезлиственных дерев,
Ты вся обвешана кораллом,
Как шеи черноглазых дев.

Забыв и озера картину,
И снежный пояс темных гор,
В тебя, родную мне рябину,
Впился мой ненасытный взор.

И предо мною — Русь родная;
Знакомый пруд, знакомый дом;
Вот и дорожка столбовая
С своим зажиточным селом.

Красавицы, сцепивши руки,
Кружок веселый заплели,
И хороводной песни звуки
Перекликаются вдали:

«Ты рябинушка, ты кудрявая,
В зеленóм саду пред избой цвети,
Ты кудрявая, моложавая,
Белоснежный пух — кудри-цвет твои.

Убери себя алой бусою,
Ярких ягодок загорись красой;
Заплету я их с темно-русою,
С темно-русою заплету косой.

И на улицу, на широкую
Выду радостно на закате дня,
Там мой суженый черноокую,
Черноокую сторожит меня».

Но песней здесь по околотку
Не распевают в честь твою;
Кто словом ласковым сиротку
Порадует в чужом краю?

Нет, здесь ты пропадаешь даром,
И средь спесивых винных лоз
Не впрок тебя за летним жаром
Прихватит молодой мороз.

Потомка новой Элоизы
В сей романтической земле,
Заботясь о хозяйстве мызы,
Или по здешнему — *шале*,

Своим Жан-Жаком как ни бредит,
Свой скотный двор и сыр любя, —
Плохая ключница, не цедит
Она наливки из тебя.

В сей стороне неблагодарной,
Где ты растешь особняком,
Рябиновки злато-янтарной
Душистый нектар незнаком.

Никто понятья не имеет,
Как благодетельный твой сок
Крепит желудок, сердце греет,
Вдыхая сладостный хмелёк.

Средь здешних всех великолепий
Ты, в одиночестве своем,
Как роза средь безлюдной степи,
Как светлый перл на дне морском.

Сюда заброшенный случайно,
Я, горемычный как и ты,
Делю один с тобою тайно
Души раздумье и мечты.

Так, я один в чужбине дальной
Тебя приветствую тоской,
Улыбкою полупечальной
И полурадостной слезой.

2 ноября 1854,
Веве

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСПОВЕДЬ

Сознаться должен я, что наши хрестоматы
Насчет моих стихов не очень тароваты.
Бывал и я в чести; но ныне век другой:
Наш век был детский век, а этот — деловой.
Но что ни говори, а Плаксин и Галахов,
Браковщики живых и судьи славных прахов,
С оглядкою меня выводят напоказ,
Не расточая мне своих хвалебных фраз.
Не мне о том судить. А может быть, и правы
Они. Быть может, я не дослужился славы
(Как самолюбие мое ни тарабарь)
Попасть в капитул их и в адрес-календарь,
В разряд больших чинов и в круг чернильной знати,
Пониже уголок — и тот мне очень кстати;
Лагарпам наших дней, светилам наших школ
Обязан уступить мой личный произвол.
Но не о том здесь речь: их прав я не нарушу;
Здесь исповедью я хочу очистить душу:
При случае хочу — и с позволенья дам —
Я обнажить себя, как праотец Адам.
Я сроду не искал льстецов и челядинцев,
Академических дипломов и гостинцев,
Журнальных милостынь не добивался я;
Мне не был журналист ни власть, ни судия;
Похвалят ли меня? Тем лучше! не поспорю.
Бранят ли? Так и быть — я не предамся горю;
Хвалам — я верить рад, на брань — я маловер,
А сам? я грешен был, и грешен вон из мер.
Когда я молод был, и кровь кипела в жилах,
Я тот же кипяток любил искать в чернилах.
Журнальных схваток пыл, тревог журнальных шум,
Как хмелем, подстрекал заносчивый мой ум.
В журнальный цирк не раз, задорный литератор,
На драку выходил, как древний гладиатор.
Я русский человек, я отрасль тех бояр,
Которых удальство питало бойкий жар;
Любил я — как сказал певец финляндки Эды —
Кулачные бои, как их любили деды.
В преданиях живет кулачных битв пора;
Боярин-богатырь, оставив блеск двора

И сняв с себя узду приличий и условий,
Кидался сгоряча, почуя запах крови,
В народную толпу, чтоб испытать в бою
Свой жилистый кулак, и мощь, и прыть свою.
Давно минувших лет дела! Сном баснословным
Угасли вы! И нам, потомкам хладнокровным,
Степенным, чопорным, понять вас мудрено.
И я был, сознаюсь, бойцом кулачным. Но,
«Журналов перешед волнуемое поле,
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле».

Почтенной публикой (я должен бы сказать
Почтеннейшей — но в стих не мог ее загнать) —
Почтенной публикой не очень я забочусь,
Когда с пером в руке за рифмами охочусь.
В самой охоте есть и жизнь, и цель своя
(В Аксакове прочти поэтику ружья).
В самом труде сокрыт источник наслаждений;
Источник бьет, кипит — и полон изменений:
Здесь рвется с крутизны потоком; там, в тени,
Едва журча, змеит игривые струи.
Когда ж источник сей, разлитый по кувшинам,
На потребление идет — конец картинам!
Поэзии уж нет; тут проза целиком!
Поэзию люби в источнике самом.

Взять оптом публику — она свой вес имеет.
Сей вес перетянуть один глупец затеет;
Но раздроби ее, вся важность пропадет.
Кто ж эта публика? Вы, я, он, сей и тот.
Здесь Петр Иванович Бобчи́нский с крестным братом,
Который сам глупец, а смотрит меценатом;
Не кончивший наук уездный ученик,
Какой-нибудь NN, оратор у заик;
Другой вам наизусть всего Хвостова скажет,
Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет,
И не прочтет двух строк, чтоб тут же не заснуть;
Известный краснобай: язык — живая ртуть,
Но жаль, что ум всегда на точке замерзанья;
«Фрол Силин», календарь Острожского изданья,
Весь мир ему архив и мумий кабинет;
Событий нет ему свежей, как за сто лет,

Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке;
Минувшего циклоп, он с глазом на затылке.
Другой — что под носом, того не разберет,
И смотрит в телескоп всё за сто лет вперед,
Желудочную желчь и свой недуг печальный
Вменив себе в призыв и в признак гениальный;
Иной на всё и всех взирает свысока:
Клеймит и вкривь и вкось задорная рука.
И всё, что любим мы, и всё, что русским свято,
Пред гением с бельмом черно и виновато.
Там причет критиков, пророков и жрецов
Каких-то — невдомек — сороковых годов,
Родоначальников литературной черни,
Которая везде, всплывая в час вечерний,
Когда светилу дня вослед потьма сойдет,
Себя дает нам знать из плесени болот.
Так далее! Их всех и в стих мой не упрячу.
Кто под руку попал, тех внес я наудачу.
Вот вам и публика, вот ваше большинство.
От них опала вам, от них и торжество.
Всё люди с голосом, всё рать передовая,
Которая кричит, безгласных увлекая;
Всё люди на счету, всё общества краса.
В один повальный гул их слившись голоса,
Слывут между людьми судом и общим мненьем.
Пред ними рад пребыть я с истинным почтеньем,
Но все ж, когда пишу, скажите, неужель
В Бобчи́нском, например, иметь себе мне цель?
И думать, как верней на вкус его подладить;
Не то, как и другой, он может мне подгадить?
В угоду ли толпе? Из денег ли писать?
Всё значит в кабалу свободный ум отдать.
И нет прискорбней, нет постыдней этой доли,
Как мысль свою принесть на прихоть чуждой воли!
Как выражать не то, что чувствует душа,
А то, что принесет побольше барыша.
Писателю грешно идти в гостинодворцы
И продавать лицом товар свой! Стихотворцы,
Прозаики должны не бегать за толпой!
Я публику люблю в театре и на балах;
Но в таинствах души, но в тех живых началах,
Из коих льется мысль и чувства благодать,

Я не могу ее посредницей признать;
Надменность ли моя, смиренье ль мне вожатый —
Не знаю; но молве стоустой и крылатой
Я дани не платил и не был ей жрецом.
И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом:
«Из колыбели я уж вышел рифмоплетом».[1]
Безвыходно больной в безвыходном бреду
От рифмы к рифме я до старости бреду.
Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи,
Не полагал, что все поэты скоморохи;
Но мало он ценил — сказать им не во гнев —
Уменье чувствовать и мыслить нараспев;
Из детства он меня наукам точным прочил,
Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
Что случай — злой колдун, что случай — пестрый шут
Пегас мой запряжет в финансовый хомут,
И что у Канкрина в мудреной колеснице
Не пятой буду я, а разве сотой спицей;
Но не могли меня скроить под свой аршин
Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин;
И как над числами я ни корпел со скукой,
Они остались мне тарабарской наукой...
Я не хочу сказать, что чистых муз поборник
Жить должен взаперти, как схимник иль затворник.
Нет, нужно и ему сочувствие людей.
Член общины, и он во всем участник с ней:
Ее труды и скорбь, заботы, упованья —
С любовью братскою, с желаньем врачеванья
Всё на душу свою приемлет верный брат,
Он ношу каждого себе усвоить рад,
И, с сердцем заодно, перо его готово
Всем высказать любви приветливое слово.
И славу любит он, но чуждую сует,
Но славу чистую, в которой пятен нет.
И я желал себе читателей немногих,
И я искал судей сочувственных и строгих;
Пять-шесть их назову, — достаточно с меня,
Вот мой ареопаг, вот публика моя.
Житейских радостей я многих не изведал;

[1] «Au sortir du berceau je begayais des vers». Voltaire.
<«Едва выйдя из колыбели, я лепетал стихи». Вольтер (франц.).>

Но вместо этих благ, которых бог мне не дал,
Друзьями щедро он меня вознаградил,
И дружбой избранных я горд и счастлив был.
Иных уж не дочтусь: вождей моих не стало;
Но память их жива: они мое зерцало;
Они в трудах моих вторая совесть мне,
И вопрошать ее люблю наедине.
Их тайный приговор мне служит ободреньем,
Иль оставляет стих «под сильным подозреньем».
Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой цензорский билет;
Что сам бы на него не положил запрет
Счастливый образец изящности афинской,
Мой зорко-сметливый и строгий Баратынский;
Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: «Вот это так!»
Но, впрочем, сознаюсь, как детям ни мирволю,
Не часто эти дни мне падают на долю;
И восприемникам большой семьи моей
Не смел бы поднести я многих из детей;
Но муза и теперь моя не на безлюдьи,
Не упразднен мой суд, есть и живые судьи,
Которых признаю законность и права,
Пред коими моя повинна голова.
Не выдам их имен нескромным наговором,
Боюсь, что и на них посыплется с укором
Град перекрестного, журнального огня;
Боюсь, что обвинят их злобно за меня
В пристандержательстве моей опальной музы —
Старушки, связанной в классические узы, —
В смешном потворстве ей, в пристрастии слепом
К тому, что век отпел и схоронил живьем.
В литературе я был вольным казаком, —
Талант, ленивый раб, не приращал трудом,
Писал, когда писать в душе слышна потреба,
Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,
И не давал себя расколам в кабалу,
И сам не корчил я вождя в своем углу...

1854 (?)

КАРТИНА

Чуден блеск живой картины:
Ярко лоснятся вершины,
Словно злато на огне;
Снег на них под солнцем рдеет,
Тонкий пар, струясь, алеет
И дымится в вышине.

Окаймившись горной цепью,
Озеро стеклянной степью
Бездыханно разлилось, —
И плитами светозарно,
То багряно, то янтарно,
Раскалилось и зажглось.

Кто бы в слово, в образ чистый
Смело мог сей блеск струистый,
Жизнь и свежесть зачерпнуть?
Разве кистью — Айвазовский,
Разве б мог один Жуковский
В свой прозрачный стих вдохнуть.

1854 или 1855

* * *

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На потемневшие года
Приветный луч пролей ты вновь!

Средь юных, невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл огня;
Но полурадость, полусвет
Теперь отрадней для меня.

14 января 1855,
Веве

СНЕГ

Ночью выпал снег. Здорово ль,
Мой любезнейший земляк?
Были б санки да рысак, —
То-то нагуляться вдоволь!

Но в пастушеском Веве
Не дается сон затейный,
И тоскуешь по Литейной,
По застывшей льдом Неве.

1855

АНГЛИЧАНКЕ

Когда, беснуясь, ваши братья
В нас шлют и ядра, и проклятья,
И варварами нас зовут, —
Назло Джон-Булю и французам,
Вы, улыбаясь русским музам,
Им дали у себя приют.

Вы любите напев их стройный,
Ум русский, светлый и спокойный,
Простосердечный и прямой.
Язык есть исповедь народа:
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.

Крылова стих простой и сильный
И поговорками обильный
Вы затвердили наизусть.
Равно и Пушкина вам милы —
Мечты, стих звучный, легкокрылый
И упоительная грусть.

Умом открытым и свободным
Предубежденьям лженародным
Не поддались вы на заказ,

И, презирая вопли черни,
В наш лавр не заплетая терний,
Не колете нам ими глаз.

Вы любите свою отчизну,
Другим не ставя в укоризну,
Что и у них отчизна есть.
Вам, англичанке беспристрастной,
Вам, предрассудкам неподвластной, —
Признательность, хвала и честь.

Боясь, чтоб Пальмерстон не сведал,
И вас за руссицизм не предал
Под уголовную статью,
Украдкой *варварскую* руку,
Сердечных чувств моих в поруку,
Вам дружелюбно подаю.

1855

МАТРОССКАЯ ПЕСНЯ

Англичане, вы,
Сгоряча, Невы
Поклялись испить,
Нас взялись избить.

Море ждет напасть,
Сжечь грозит синица,
И на Русь напасть
Лондонская птица.

Честь мы воздаем
Английским матросам,
Но дать и вдвоем
Нелегко мат россам.

Любит свой Кронштадт
Наш морской Никола,

В нем морской наш штат
Знает богомола.

Бог оборони,
Пусть кричат они,
Что Кронштадт зажгут,
Примемся за жгут.

И прогоним их,
Да прогоны с них
Мы же тут сдерем
На арак и ром.

Выходи, о рать,
Полно вам орать:
Тут не до *спичей,*
Пичканных речей.

Выставь свой народ
К нам ты на опушки,
И зажмут вам рот
Наши матки-пушки.

Зададим вам пир,
А тебя, вампир,
Адмирал Непир,
Ждет у нас не пир.

Ждет тебя урок,
Скрежет, плач и стон,
Скажешь: «Уж пророк
Этот Пальмерстон!

Он меня подбил,
Он же напоил,
И победных сил
Спьяну насулил».

Вот тебе и хмель!
В голове шумело,
А очнись, — эх, мель!
И всё дело село.

За цветной подвязкой
Сунулся ты к нам,
Но в той топи вязкой
Ты увязнешь сам.

1855

БАДЕН-БАДЕН

Люблю вас, баденские тени,
Когда чуть явится весна,
И, мать сердечных снов и лени,
Еще в вас дремлет тишина;

Когда вы скромно и безлюдно
Своей красою хороши,
И жизнь лелеют обоюдно —
Природы мир и мир души.

Кругом благоухает радость,
И средь улыбчивых картин
Зеленых рощей блещет младость
В виду развалин и седин.

Теперь досужно и свободно
Прогулкам, чтенью и мечтам:
Иди — куда глазам угодно,
И делай, что захочешь сам.

Уму легко теперь — и груди
Дышать просторно и свежо;
А всё испортят эти люди,
Которые придут ужо.

Тогда Париж и Лондон рыжий,
Капернаум и Вавилон,
На Баден мой направив лыжи,
Стеснят его со всех сторон.

Тогда от Сены, Темзы, Тибра
Нахлынет стоком мутных вод

Разнонародного калибра
Праздношатающийся сброд:

Дюшессы, виконтессы, леди,
Гурт лордов тучных и сухих,
Маркиз Г***[1], принцесса В***[2], —
А лучше бы не ведать их;

И кавалеры-апокрифы
Собственноручных орденов,
И гоф-кикиморы и мифы
Мифологических дворов;

И рыцари слепой рулетки
За сбором золотых крупиц,
Сукна зеленого наседки,
В надежде золотых яиц;

Фортуны олухи и плуты,
Карикатур различных смесь:
Здесь — важностью пузырь надутый,
Там — накрахмаленная спесь.

Вот знатью так и пышет личность,
А если ближе разберешь:
Вся эта личность и наличность —
И медный лоб, и медный грош.

Вот разрумяненные львицы
И львы с козлиной бородой,
Вот доморощенные птицы
И клев орлиный наклейной;

Давно известные кокетки,
Здесь выставляющие вновь
Свои прорвавшиеся сетки
И допотопную любовь.

Всех бывших мятежей потомки,
Отцы всех мятежей других,

---

[1] Глаголь. — *Ред.*
[2] Веди. — *Ред.*

От разных баррикад обломки,
Булыжник с буйных мостовых.

Все залежавшиеся в лавке
Невесты, славы и умы,
Все знаменитости в отставке,
Все соискатели тюрьмы.

И Баден мой, где я, как инок,
Весь в созерцанье погружен,
Уж завтра будет — шумный рынок,
Дом сумасшедших и притон.

1855 (?)

ОТЪЕЗД

Поскупясь, судьба талана
Не дала мне на зубок;
Всюду поздно или рано,
Всё некстати, всё не впрок
Прихожу и затеваю.
Ничего не начинаю
После дождичка в четверг,
А как раз сажусь в дорогу
Перед дождичком в четверг;
Я занес в Женеву ногу,
И судьбы не опроверг:
Вот подуло *черной бизой*
С неба тучами, как ризой,
Облаченного кругом.
Горы все под капюшоном,
И над озером и Роном
Волны плещут кипятком.
И оставил я Женеву,
Не взобравшись на Салеву
По следам Карамзина,
Не видав, хоть из окна,
Живописного Монблана,
Гор царя и великана:
Скрылся он вовнутрь тумана,

У царя приема нет,
И не знает ваш поэт,
Как, подъемлясь горделиво
На престол из серебра,
Богом созданное диво,
Блещет белая гора.

1855 (?)

БЕРЕЗА

Средь избранных дерев береза
Не поэтически глядит;
Но в ней — душе родная проза
Живым наречьем говорит.

Милей всех песней сладкозвучных
От ближних радостная весть,
Хоть пара слов собственноручных,
Где сердцу много что прочесть.

Почтовый фактор на чужбине
Нам всем приятель дорогой;
В лесу он пóсек, ключ в пустыне,
Нам проводник в стране чужой.

Из нас кто мог бы хладнокровно
Завидеть русское клеймо?
Нам здесь и ты, береза, словно
От милой матери письмо.

1855 (?)

НА ПРОЩАНЬЕ

Я никогда не покидаю места,
Где промысл дал мне смирно провести
Дней несколько, не тронутых бедою,
Чтоб на прощанье тихою прогулкой
Не обойти с сердечным умиленьем

Особенно мне милые тропинки,
Особенно мне милый уголок.
Прощаюсь тут и с ними, и с собою.
Как знать, что ждет меня за рубежом?
Казалось мне — я был здесь застрахован,
Был огражден привычкой суеверной
От треволнений жизни ненадежной
И от обид насмешливой судьбы.
Здесь постоянно и однообразно,
День за день, длилось всё одно *сегодня,*
А там меня в дали неверной ждет
Неведенье сомнительного *завтра,*
И душу мне теснит невольный страх.
Как в гроб родной с слезами опускаем
Мы часть себя, часть лучшую себя,
Так, покидая теплое гнездо,
Пролетных дней приют богохранимый,
Сдается мне, что погребаю я
Досугов мирных светлые занятья,
И свежесть чувств, и деятельность мысли,
Всё, чем я жил, всё, чем жила душа.

Привычка мне дана в замену счастья.
Знакомое мне место — старый друг,
С которым я сроднился, свыкся чувством,
Которому я доверяю тайны,
Подъятые из глубины души
И недоступные толпе нескромной.
В среде привычной ближе я к себе.
Природы мир и мир мой задушевный —
Один с своей красой разнообразной
И с свежей прелестью картин своих,
Другой — с своими тайнами, глубоко
Лежащими на недоступном дне,
Сливаются в единый строй сочувствий,
В одну любовь, в согласие одно.
Здесь тишина, и целость, и свобода.
Там между *мною* внутренним и внешним
Вторгается насильственным наплывом
Всепоглощающий поток сует,
Ничтожных дел и важного безделья.
Там к спеху всё, чтоб из пустого — важно

В порожнее себя переливать.
Когда мой ум в халате, сердце дома,
Я кое-как могу с собою ладить,
Отыскивать себя в себе самом,
И быть не тем, во что нарядит случай,
Но чем могу и чем хочу я быть.
Мой *я* один здесь цел и ненарушим,
А там мы два разрозненные *я*.

О, будь на вас благословенье свыше,
Сень рощей, мир полей и бытия!
Да, с каждым летом всё ясней, всё тише,
На запад свой склоняясь, жизнь моя
Под вашею охраной благосклонной
К урочной цели совершает путь,
И вечер мирный, свежий, благовонный
Даст от днезных тревог мне отдохнуть.

Люблю я наш обычай православный;
В нем тайный смысл и в нем намек есть явный;
Недаром он в почтеньи у отцов,
Поднесь храним у нас в среде семейной:
Когда кто в путь отправиться готов,
Присядет он в тиши благоговейной,
Сосредоточится в себе самом
И, оградясь напутственным крестом,
Предаст себя и милых ближних богу,
А там бодрей пускается в дорогу.

Не все ль мы странники? не всем ли нам
В путь роковой идти всё тем же следом?
Сегодня? Завтра? День тот нам неведом,
Но свыше он рассчитан по часам.
Как ни засиживаться старожилу,
Как на земле он долго ни гости,
Нечаянно пробьет поход в могилу,
И редко кто готов в тот путь идти.
Волнуемым житейскою тревогой,
Нам, отсталым от братьев, прежде нас
Отшедших в путь, — и нам уж близок час.
Не лучше ль каждому пред той дорогой

Собраться с духом, молча, одному
Сойти спокойно в внутреннюю келью,
И дать остыть житейскому похмелью
И отрезвиться страстному уму.

Осень 1855,
Лесная дача

ЦАРЬ ГОРОХ

Преданье есть: во дни царя Гороха
Расчищен был весь мир, как огород,
И без хлопот, и без переполоха
Везде росли рожь, овощи и плод.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Без тебя, родной, урожай наш плох.

При нем народ был трезв и благонравен,
Был бескорыстен весь чиновный люд,
Исправник сам на деле был исправен,
И судия давал по правде суд.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Всех лихих судей захвати врасплох.

При нем цвели торговля и науки,
По совести купец брал барыши,
А грамотей — ему и книги в руки —
Писал умно и прямо от души.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Облепил нас рой выжиг и пройдох.

При нем служил боярин не из ленты,
А из любви к царю, к добру мирян;
Статьей оброчной не были клиенты,
А раскрывал он бедным свой карман.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Деньги и чины — новый наш Моло́х.

И даст ли царь Горох кому горошку,
Иль обойдет кого и шелуха,

Никто не лез сам к царскому лукошку,
И зависти никто не знал греха.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Перегрызлись мы из казенных крох.

При нем в чести была одна заслуга,
На мишуру не соблазнялся глаз,
В дупле своем не чванилась пичуга
Клочком павлиньих перьев напоказ.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Подняли носы враль и скоморох.

При нем никто не наживался лестью:
Нет было *нет,* кто скажет *да,* так *да.*
Не кланялись блестящему нечестью,
Гнушались злом, стыдилися стыда.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Испускает честь свой последний вздох.

При нем жила и святость убежденья,
И не был каждый — флюгер и двойник:
Ни мужеству, ни искренности мненья
Не изменяли совесть и язык.

Возвратися к нам, добрый царь Горох!
Обмелел народ, исхудал, иссох.

И царь Горох легко царил и правил,
О пользе всех, как только мог, радел;
Кто в силе был, тот делом не лукавил,
И оттого не много было дел.

— Да когда же жил этот царь Горох?
— С допотопных дней след об нем заглох.

Что в старину рассказывалось сказкой,
Надежа царь, ты нам покажешь въявь;
Где твердостью, а где добром и лаской
Ты сбившихся с пути на путь направь,

К пользе и добру будь нам всем вождем.
Что посеешь ты, то мы и пожнем.

Ты обречен нести святую тягость,
Ты провиденьем избранный сосуд;
Души твоей, твоих желаний благость
Порука нам, что совершишь свой труд.

Веруют в тебя детушки твои,
Много силы есть в воле и любви.

Русь велика; зато неправдам воля
Гулять по ней иль закопаться в щель;
Подстережешь — они, как заяц с поля,
Вдруг улизнут за тридевять земель.

Но, бог в помощь, царь, бодро с первых пор
Огороши зло, дай добру простор.

1856

* * *

Остафьево,
26 октября 1857

Приветствую тебя, в минувшем молодея,
Давнишних дней приют, души моей Помпея!
Былого след везде глубоко впечатлен,
И на полях твоих, и на твердыне стен
Хранившего меня родительского дома.
Здесь и природа мне так памятно знакома,
Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я,
На что ни посмотрю — всё быль, всё жизнь моя.
Весь этот тесный мир, преданьями богатый,
Он мой, и я его. Все блага, все утраты,
Всё, что я пережил, всё, чем еще живу,
Всё чудится мне здесь во сне и наяву.
Я слышу голоса из-за глухой могилы;
За милым образом мелькает образ милый...
Нет, не Помпея ты, моя святыня, нет,
Ты не развалина, не пепел древних лет, —
Ты всё еще жива, как и во время оно;

Источником живым кипит благое лоно,
В котором утолял я жажду бытия.
Не изменилась ты, но изменился я.
Обломком я стою в виду твоей нетленной
Святыни, пред твоей красою неизменной,
Один я устарел под ношею годов.
Неузнанный вхожу под твой знакомый кров
Я, запоздалый гость другого поколенья.
Но по тебе года прошли без разрушенья;
Тобой любуюсь я, какой и прежде знал,
Когда с весной моей весь мир мой расцветал.
Всё те же мирные и свежие картины:
Деревья разрослись вдоль прудовой плотины,
Пред домом круглый луг, за домом темный сад,
Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд,
Немая летопись о безымянной битве;
Белеет над прудом пристанище молитве,
Дом божий, всем скорбям гостеприимный дом.
Там привлекают взор, далече и кругом,
В прозрачной синеве просторной панорамы,
Широкие поля, селенья, божьи храмы,
Леса, как темный пар, поемные луга
И миловидные родные берега
Извилистой Десны, Любучи молчаливой,
Скользящей вдоль лугов струей своей ленивой.
Здесь мирных поселян приветливый погост.
Как на земле была проста их жизнь, так прост
И в матери земле ночлег их. Мир глубокий.
Обросший влажным мхом, здесь камень одинокий
Без пышной похвалы подкупного резца;
Но детям памятно, где тлеет прах отца.
Там деревянный крест, и тот полуразрушен;
Но мертвым здесь простор, но их приют не душен,
И светлая весна ласкающей рукой
Дарит и зелень им, и ландыш полевой.
Везде всё тот же круг знакомых впечатлений.
Сменяются ряды пролетных поколений,
Но не меняются природа и душа.
И осень тихая всё так же хороша.
Любуюсь грустно я сей жизнью полусонной,—
И обнаженный лес без тени благовонной,
Без яркой зелени, убранства летних дней,

И этот хрупкий лист, свалившийся с ветвей,
Который под ногой моей мятется с шумом, —
Мне всё сочувственно, всё пища тайным думам,
Всё в ум приводит мне, что осень и моя
Оборвала цветы былого бытия.
Но жизнь свое берет: на молодом просторе,
В дни беззаботные, и осень ей не в горе.
Отважных мальчиков веселая орда
Пускает кубари по зеркалу пруда.
Крик, хохот. Обогнать друг друга каждый ищет,
И под коньками лед так и звенит и свищет.
Вот ретивая песнь несется вдалеке:
То грянет удалью, то вдруг замрет в тоске,
И светлым облаком на сердце тихо ляжет,
И много дум ему напомнит и доскажет.
Но постепенно дня стихают голоса,
Серебряная ночь взошла на небеса.
Всё полно тишины, сиянья и прохлады.
Вдоль блещущих столбов прозрачной колоннады
Задумчиво брожу, предавшись весь мечтам;
И зыбко тень моя ложится по плитам,
И с нею прошлых лет и милых поколений
Из глубины ночной выглядывают тени.
Я вопрошаю их, прислушиваюсь к ним —
И в сердце отзыв есть приветам их родным.

* * *

Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть
рано,
А у него уж тут и химик, и сопрано,
И врач, и педагог, разноплеменный сбор,
С задачей шахматной ученый Филидор,
Заморский виртуоз, домашний самоучка,
С старушкой бабушкой молоденькая внучка;
И он на них вперит свой неподвижный взгляд
Рассеянно, спросить из двух любую рад,
Которая должна в балет порхнуть Жизелью,
Которой на покой дать в богадельне келью?
Поэт, и сказочник, и новый драматург,
Пред тем, чтоб на себя накликать Петербург,

Новорожденных чад ему на суд приносит
И деткам на зубок его вниманья просит.
Несостоятельный журнальный Фигаро,
Желающий свое осеребрить перо,
С проектом Верхолет, воздушных замков зодчий,
Простроил он давно на них запас свой отчий,
И ловит по рукам пятьсот рублей взаймы,
Чтоб верный миллион нажить к концу зимы;
Крушеньем преданный враждебных волн прибою,
Уязвленный людьми, обманутый судьбою,
Кого постигла скорбь, кого людская злость,
Тут у него в дому уже почетный гость;
Все ищут вкруг него движенья и защиты,
И настежь дверь его и сердце всем открыты;
Наш друг ни от кого, ни от чего не прочь,
Всем ближним близок он, и всем готов помочь.
Разносторонний ум и вместе специальный,
И примадонне он, и бабке повивальной
Все тайны ремесла готов преподавать,
Как будто б сам рожден он петь и повивать.
Рассеянность его была не беспредельной,
В ином был человек и он отменно дельный.
Сочти все дни его: как верный часовой,
Он в жизнь не опоздал минутой ни одной
На дело доброе, где ум брал сердце в долю,
На лакомый обед, где мог покушать вволю;
Педант, он не давал в делах и на пиру
Напрасно остывать ни супу, ни добру.
От ранних лет его поэзия вскормила
И юный чуткий слух с созвучьями сроднила.
Был некогда ему Державин опекун,
А Батюшков поздней игрой волшебных струн
Приветствовал его, младого трубадура,
Счастливым баловнем Эрато и Амура.
Кудрявый трубадур стал, нам подобно, стар,
И свежих роз венок, Киприды милый дар,
С кудрями времени рукой свирепо скошен,
И вместо роз — парик на лысине взъерошен.
Но молодость души, но чувства нежный свет
Благоухали в нем под стужей поздних лет.
Всем возрастам умом и нравом одногодок,
В сенате мудрецов, средь юношеских сходок,

В кругу младых красот он был душой бесед,
И вечер без него не вечер был; обед,
Не скрашенный его застольным вдохновеньем,
Был сух и на душу ложился пресыщеньем. . .

1857 (?)

АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВИЧУ ИВАНОВУ

Я видел древний Иордан.
Святой любви и страха полный,
В его евангельские волны,
Купель крещенья христиан,
Я погружался троекратно,
Молясь, чтоб и душа моя
От язв и пятен бытия
Волной омылась благодатно.

От оных дум, от оных дней,
Среди житейских попечений,
Как мало свежих впечатлений
Осталось на душе моей!
Они поблекли под соблазном
И едким холодом сует:
Во мне паломника уж нет,
Во мне, давно сосуде праздном.

Краснею, глядя на тебя,
Поэт и труженик-художник!
Отвергнув льстивых муз треножник
И крест единый возлюбя,
Святой земли жилец заочный,
Ее душой ты угадал,
Ее для нас завоевал
Своею кистью полномочной.

И что тебе народный суд?
В наш век блестящих скороспелок,
Промышленных и всяких сделок,
Как добросовестен твой труд!

В одно созданье мысль и чувство,
Всю жизнь сосредоточил ты;
Поклонник чистой красоты,
Ты свято веровал в искусство.

В избытке задушевных сил,
Как схимник, жаждущий спасенья,
Свой дух постом уединенья
Ты отрезвил, ты окрилил.
В искусе строго одиноком
Ты прожил долгие года,
И то прозрел, что никогда
Не увидать телесным оком.

Священной книги чудеса
Тебе явились без покрова,
И над твоей главою снова
Разверзлись в славе небеса.
Глас вопиющего в пустыне
Ты слышал, ты уразумел —
И ты сей день запечатлел
С своей душой в своей картине.

Спокойно лоно светлых вод;
На берегу реки Предтеча;
Из мест окрестных, издалече,
К нему стекается народ;
Он растворяет упованью
Слепцов хладеющую грудь;
Уготовляя божий путь,
Народ зовет он к покаянью.

А там спускается с вершин
Неведомый, смиренный странник:
«Грядет он, господа избранник,
Грядет на жатву божий сын.
В руке лопата; прúдет время,
Он отребит свое гумно,
Сберет пшеничное зерно
И в пламя бросит злое семя.

Сильней и впереди меня
Тот, кто идет вослед за мною;

Ему — припав к ногам — не стою
Я развязать с ноги ремня.
Рожденья суетного мира,
Покайтесь: близок суд. Беда
Древам, растущим без плода:
При корне их лежит секира».

Так говорил перед толпой,
В недоуменьи ждавшей чуда,
Покрытый кожею верблюда
Посланник божий, муж святой.
В картине, полной откровенья,
Всё это передал ты нам,
Как будто от Предтечи сам
Ты принял таинство крещенья.

30 июня 1858

ДРУГУ СЕВЕРИНУ

От детских лет друзья, преданьями родные,
На опустевшем поле боевом,
Мы, уцелевшие от боя часовые,
Стоим еще с тобою под ружьем.
Теченьем волн своих нас время разлучило;
Когда же сердце в нас подернется тоской,
И тень вечерняя сменяет дня светило,
Мы окликаемся с тобой.

1858

ДОРОГОЮ

Я на себя сержусь и о себе горюю.
Попутал грех меня оставить сень родную,
Родных привычек нить прервать, пуститься в путь,
Чтоб темно где-нибудь искать чего-нибудь.
Счастливый уголок моей уютной дачи,
Досуг — я променял на почтовые клячи,

На душную тюрьму, на мальпост: то-то пост
И пытка! скорчен в крюк мой перегнутый рост,
Торчу я кое-как на беспокойной лавке;
Кажись, я и один, а тесно словно в давке,
Прет в спину, в ноги прет — и божьего раба
Так гонит день и ночь почтовая гоньба,
Уж тут не до еды. К тому ж, и слава богу!
Затем, что нечего и есть во всю дорогу.
Тем лучше! заодно — страдать, так уж страдай,
А между тем хоть сыт, хоть нет, но пыль глотай.

И это мы зовем в литературном слоге —
Свободной птичкою блаженствовать в дороге.
Блаженство хоть куда! грешно сказать, что ад;
Чистилищем назвать искус я этот рад,
Когда б гостиницы немного были чище,
А не ручных зверков любимое жилище.

Дойдет ли до того затейливый наш век,
Который много снял оков с нас и опек,
Чтоб перебрасывать и нас по телеграфу
В Неаполь из Москвы, из Петербурга в Яфу?
Дотоле ни на шаг из дому никуда.
С поэзией своей приелась мне езда.
Что может быть милей родимого гнезда,
Стола рабочего и кабинетных кресел,
Где дома, без колес и без паров и весел,
На коврик-самолет вскочив, как Ариэль,
Летим себе легко за тридевять земель.
Довольно землю я изъездил; а с порога
Виднеется вблизи другая мне дорога,
Которою меня отправят на погост:
А там и этого еще тесней мальпост.

1858 (?)

ВЕЧЕР В НИЦЦЕ

По взморью я люблю один бродить, глазея.
Особенно мила мне тихая пора,
Когда сгорает день, великолепно рдея
Под пурпурным огнем небесного костра.

Уж замер там толпы, шум жизни, визг шарманок;
Пустеет берег: он очищен, он заснул;
И пеших англичан, и конных англичанок
Последний караван уж в город повернул.

В прозрачном сумраке всё постепенно тонет,
Утих мятежных волн междоусобный бой;
И только изредка чуть вздрогнет, чуть простонет
За зыбью зыбь, волна за сонною волной.

Куда рассеянно ни поведу глазами,
Везде волшебный ряд пленительных картин.
Там берег Франции красуется горами
И выпуклой резьбой узорчатых вершин.

На оконечности приморского изгиба,
Где каменная грудь дает отпор волнам,
Вот свой маяк зажгла красивая Антиба —
В пустыне столб огня кочующим пловцам.

И здесь ему в ответ святого Иоанна
Маяк вонзил во тьму свой пламень подвижной;
То вспыхнет молнией из дальнего тумана,
То пропадет из глаз падучею звездой.

Так манит нас звезда надежды, то светлея,
То спрятавшись от нас, то улыбаясь вновь;
Так дева робкая, пред юношей краснея,
Желает выразить и скрыть свою любовь.

10 февраля 1859

ФЕРНЕЙ

Гляжу на картины живой панорамы.
И чудный рисунок и чудные рамы!
Не знаешь — что горы, не знаешь — что тучи;
Но те и другие красою могучей
Вдали громоздятся по скату небес.

Великий художник и зодчий великий
Дал жизнь сей природе красивой и дикой.
Вот радуга пышно сквозь тучи блеснула,
Широко полнеба она обогнула
И в горы краями дуги уперлась.

Любуюсь красою воздушной сей арки:
Как свежие краски прозрачны и ярки!
Как резко и нежно слились их оттенки!
А горы и тучи, как зданья простенки,
За аркой чернеют в глубокой дали.

На ум мне приходит владелец Фернея:
По праву победы он веком владея,
Спасаясь под тенью спокойного крова,
Владычеством мысли, владычеством слова,
Царь, волхв и отшельник, господствовал здесь.

Но внешнего мира волненья и грозы,
Но суетной славы цветы и занозы,
Всю мелочь, всю горечь житейской тревоги,
Талантом богатый, покорством убогий,
С собой перенес он в свой тихий приют.

И, на горы глядя, спускался он ниже:
Он думал о свете, о шумном Париже;
Карая пороки, ласкал он соблазны;
Царь мысли, жрец мысли, свой скипетр
алмазный,
Венец свой нечестьем позорил и он.

Паря и блуждая, уча и мороча,
То мудрым глаголом гремя иль пророча,
То с злобной насмешкой вражды и коварства,
Он, падший изгнанник небесного царства,
В сосуд свой священный отраву вливал.

Страстей возжигатель, сам в рабстве
у страсти,
Не мог покориться мирительной власти
Природы бесстрастной, разумно спокойной,
С такою любовью и роскошью стройной
Пред ним расточившей богатства свои.

Не слушал он гласа ее вдохновений;
И дня лучезарность, и сумрака тени,
Природы зерцала, природы престолы,
Озера и горы, дубравы и долы —
Всё мертвою буквой немело пред ним.

И Ньютона хладным умом толкователь,
Всех таинств созданья надменный искатель,
С наставником мудрым душой умиленной
Не падал с любовью пред богом вселенной,
Творца он в твореньи не мог возлюбить.

А был он сподвижник великого дела:
Божественной искрой в нем грудь пламенела;
Но дикие бури в груди бушевали,
Но гордость и страсти в пожар раздували
Ту искру, в которой таилась любовь.

Но бросить ли камень в твой пепел остылый,
Боец, в битвах века растративший силы?
О нет, не укором, а скорбью глубокой,
О немощах наших и в доле высокой,
Я, грешника славы, тебя помяну!

1859

ДОМ ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА

Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он в свете был министр, а у себя поэт,
Отрекшийся от всех соблазнов и сует;
Пред старшими был горд заслуженным почетом:
Он шел прямым путем и вывел честным счетом
Итог своих чинов и почестей своих.
Он правильную жизнь и правильный свой стих
Мог выставить в пример вельможам и поэтам,
Но с младшими ему по чину и по летам
Спесь щекотливую охотно забывал;

Он ум отыскивал, талант разузнавал,
И где их находил — там, радуясь успеху,
Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?
Но настежь растворял и душу им, и дом.
Заранее в цветке любуяся плодом,
Ласкал он молодежь, любил ее порывы,
Но не был он пред ней низкопоклонник льстивый,
Не закупал ценой хвалебных ей речей
Прощенья седине и доблести своей.
Вниманьем ласковым, судом бесстрастно-строгим
Он был доступен всем и верный кормчий многим.
Зато в глупцов метка́ была его стрела!
Жужжащий враль, комар с замашками орла,
Чужих достоинств враг, за неименьем личных;
Поэт ли, образец поэтов горемычных;
Надутый самохвал, сыгравший жизнь вничью,
Влюбленный по уши в посредственность свою
(А уши у него Мидасовых не хуже);
Профессор ли вранья и наглости к тому же;
Пролаз ли с сладенькой улыбкою ханжи;
Болтун ли, вестовщик, разносчик всякой лжи;
Ласкатель ли в глаза, а клеветник заочно, —
Кто б ни задел его, случайно иль нарочно,
Кто б ни был из среды сей пестрой и смешной,
Он каждого колол незлобивой рукой,
Болячку подсыпал аттическою солью —
И с неизгла́димой царапиной и болью
Пойдет на весь свой век отмеченный бедняк
И понесет тавро: подлец или дурак.

Под римской тогою наружности холодной,
Он с любящей душой ум острый и свободный
Соединял; в своих он мненьях был упрям,
Но и простор давать любил чужим речам.
Тип самобытности, он самобытность ту же
Не только допускал, но уважал и вчуже;
Ни пред собою он, ни пред людьми не лгал.
Власть моды на дела и платья отвергал:
Когда все были сплошь под черный цвет одеты,
Он и зеленый фрак, и пестрые жилеты

Носил; на свой покрой он жизнь свою кроил,
Сын века своего и вместе старожил.
Хоть он Карамзина предпочитал Шишкову,
Но тот же старовер, любви к родному слову,
Наречием чужим прельстясь, не оскорблял,
И русским русский ум по-русски заявлял.
Притом, храня во всем рассудка толк и меру,
Петрова он любил, но не в ущерб Вольтеру,
За Лафонтеном вслед, он вымысла цветы,
С оттенком свежести и блеском красоты,
На почву русскую переносил удачно.
И плавный стих его, струящийся прозрачно,
Как в зеркале и мысль и чувство отражал.
Лабазным словарем он стих свой не ссужал,
Но кистью верною художника-поэта
Изящно подбирал он краски для предмета:
И смотрят у него, как будто с полотна,
Воинственный *Ермак* и *модная жена.*

Случайно ль загляну́сь на дом сей мимоходом, —
Скользят за мыслью мысль и год за дальним годом.
Прозрачен здесь поток и сумрак дней былых:
Здесь память с стаею заветных снов своих
Свила себе гнездо под этим милым кровом;
Картина старины, всегда во блеске новом,
Рисуется моим внимательным глазам,
С приветом ласковым улыбке иль слезам.

Как много вечеров, без светских развлечений,
Но полных прелести и мудрых поучений,
Здесь с старцем я провел; его живой рассказ
Ушам был музыка и живопись для глаз.
Давно минувших дней то Рембрандт, то Светоний,
Гражданских доблестей и наглых беззаконий
Он краской яркою картину согревал.
Под кисть на голос свой он лица вызывал
С их бытом, нравами, одеждой, обстановкой;
Он личность каждую скрепит чертою ловкой
И в метком слове даст портрет и приговор.

Екатерины век, ее роскошный двор,
Созвездие имен сопутников Фелицы,

Народной повести блестящие страницы,
Сановники, вожди, хор избранных певцов,
Глашатаи побед: Державин и Петров, —
Всё облекалось в жизнь, в движенье и
в глаголы.

То, возвратясь мечтой в тот возраст свой
веселый,
Когда он отроком счастливо расцветал
При матери, в глазах любовь ее читал,
И тайну первых дум и первых вдохновений
Любимцу своему поведал вещий гений, —
Он тут воспоминал родной дубравы тень,
Над светлой Волгою горящий летний день,
На крыльях парусов летящие расшивы,
Златою жатвою струящиеся нивы,
Картины зимние и праздники весны,
И дом родительский, святыню старины,
Куда издалека вторгалась с новым лоском
Жизнь новая, а с ней слетались отголоском
Шум и событья дня, одно другому вслед:
То задунайский гром румянцовских побед,
То весть иных побед миролюбивой славы,
Науки торжество и мудрые уставы,
Забота и плоды державного пера,
То спор временщиков на поприще двора,
То книга новая со сплетнею вчерашней.
Всю эту жизнь среды семейной и домашней,
Весь этот свежий мир поэзии родной,
Еще сочувственный душе его младой,
Умевшей сохранить средь искушений света
Всю впечатлительность и свежесть чувств
поэта, —
Всё помнил он, умел всему он придавать
Блеск поэтический и местности печать.
Он память вопрошал, и живописью слова
Давал минувшему он плоть и краски снова.

То Гогарта схватив игривый карандаш
(Который за десять из новых не отдашь),
Он, с русским юмором и напрямик с натуры,
Из глупостей людских кроил карикатуры.

Бесстрастное лицо и медленная речь;
А слушателя он умел с собой увлечь,
И поучал его, и трогал — как придется,
Иль со смеху морил, а сам не улыбнется.
Как живо памятны мне эти вечера —
Сдается, старца я заслушался вчера.

Давно уж нет его в Москве осиротевшей!
С ним светлой личности, в нем резко
уцелевшей,
Утрачен навсегда последний образец.
Теперь все под один чекан: один резец
Всем тот же дал объем и вес; мы променяли
На деньги мелкие — старинные медали;
Не выжмешь личности из уровня людей.
Отрекшись от своих кумиров и властей,
Таланта и ума клянем аристократство;
Теперь в большом ходу посредственности
братство:
За норму общую — посредственность берем,
Боясь, чтоб кто-нибудь владычества ярем
Не наложил на нас своим авторитетом;
Мы равенством больны и видим здравье в этом.
Нам душно, мысль одна о том нам давит грудь,
Чтоб уважать могли и мы кого-нибудь;
Все говорить спешим, а слушать не умеем;
Мы платонической к себе любовью тлеем,
И на коленях мы — но только пред собой.

В ином и поотстал наш век передовой,
Как ни цени его победы и открытья:
В науке жить умно, в искусстве общежитья,
В сей вежливости форм изящных и простых,
Дававшей людям блеск и мягкость нравам их,
Которая была, в условленных границах, —
Что слог в писателе и миловидность в лицах;
В уживчивости свойств, в терпимости, в любви,
Которую теперь гуманностью зови;
Во всем, чем общество тогда благоухало
И, не стыдясь, свой путь цветами усыпало,
Во всем, чем встарь жилось по вкусу, по душе,
Пред старым — новый век не слишком в барыше.

Тот разговорчив был: средь дружеской беседы
Менялись мыслями и юноши и деды,
Одни с преданьями, плодами дум и лет,
Других манил вперед надежды пышный цвет.
Тут был простор для всех и возрастов, и мнений,
И не было вражды у встречных поколений.

Так видим над Невой, в прозрачный летний день,
Заката светлого серебряная тень
Сливается в красе торжественной и мирной
С зарею утренней на вышине сафирной:
Здесь вечер в зареве, там утро рассвело.
И вечер так хорош, и утро так светло,
Что радости своей предела ты не знаешь:
Ты провожаешь день, ты новый день встречаешь,
И любишь дня закат, и любишь дня рассвет, —
И осень старости, и вёсну юных лет.

1860

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ САД ЗИМОЮ

I

С улыбкою оледенелой
Сошла с небес суровых дочь,
И над землей сребристо-белой
Белеет северная ночь.

Давно ль здесь пестротою чудной
Сафир, рубин и бирюза
Сливались с тенью изумрудной,
Чаруя жадные глаза?

Зимы покров однообразный
Везде сменил наряд цветной,
Окован сад броней алмазной
Рукой волшебницы седой.

В дому семьи осиротелой,
Куда внезапно смерть вошла,

Задернуты завесой белой
С златою рамой зеркала.

Так снежной скатертью печальной
Покрыты и объяты сном
И озеро с волной зерцальной,
И луг с цветным своим ковром.

Природа в узах власти гневной,
С смертельной белизной в лице,
Спит заколдованной царевной
В своем серебряном дворце.

II

Но и природы опочившей
Люблю я сон и тишину:
Есть прелесть в ней, и пережившей
Свою прекрасную весну.

Есть жизнь и в сей немой картине,
И живописен самый мрак:
Деревьям почерневшим иней
Дал чудный образ, чудный лак.

Обрызгал их холодным блеском
Своих граненых хрусталей,
Он вьется ярким арабеском
Вдоль обезлиственных ветвей.

Твой Бенвенуто, о Россия,
Наш доморощенный мороз
Вплетает звезды ледяные
В венки пушисто-снежных роз.

Кует он дивные изделья
Зиме, зазнобушке своей,
И наряжает в ожерелья
Он шею, мрамора белей.

III

Когда наступит вечер длинный,
Объятый таинством немым,
Иду один я в сад пустынный
Бродить с раздумием своим.

И много призрачных видений
И фантастических картин
Мелькают, вынырнув из тени
Иль соскочив с лесных вершин.

Они сшибаются друг с другом
И, налетев со всех сторон,
То нежат лаской, то испугом
Тревожат мыслей чуткий сон.

А между тем во тьме безбрежной
Оцепенело всё кругом,
В волшебном царстве ночи снежной,
В саду, обросшем серебром.

Но в этой тишине глубокой,
Питающей дремоту дум,
Местами слышен одинокий
Переливающийся шум.

Под хладной снежной пеленою
Тень жизни внутренней слышна,
И, с камней падая, с волною
Перекликается волна.

1861

ДРУЗЬЯМ

Я пью за здоровье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней.

Я пью за здоровье далеких,
Далеких, но милых друзей,
Друзей, как и я, одиноких
Средь чуждых сердцам их людей.

В мой кубок с вином льются слезы,
Но сладок и чист их поток;
Так, с алыми — черные розы
Вплелись в мой застольный венок.

Мой кубок за здравье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней;

За здравье и ближних далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Почивших в могилах немых.

<1862>

* * *

С тех пор, как упраздняют будку,
Наш будочник попал в журнал,
Иль журналист наш не на шутку
Присяжным будочником стал.

Так или эдак — как угодно,
Но дело в том, что с этих пор
Литература всенародно
Пустилась в уличный дозор.

На площади ль случится драка,
Буян ли пьяный зашумит,
Иль без намордника собака
По переулку пробежит?

Воришка обличился ль в краже?
Иль заподозрен кто-нибудь?

От литераторов на страже
Ничто не может ускользнуть.

За шум, бывало, так и знают,
Народ на *съезжую* ведут.
Теперь в *журнальную* сажают:
Там им расправа, там и суд.

1862 (?)

СТАРОСТЬ

> Qui n'a pas l'ésprit de son âge,
> De son âge a le malheur.
>
> *Voltaire* [1]

Беда не в старости. Беда
Не состарéться с жизнью вместе;
Беда — в отцветшие года
Ждать женихов седой невесте.

Беда душе веселья ждать
И жаждать новых наслаждений,
Когда день начал убывать
И в землю смотрит жизни гений;

Когда уже в его руке
Светильник грустно догорает,
И в увядающем венке
Остаток листьев опадает.

Вольтер был прав: несчастны мы,
Когда не в уровень с годами,
Когда в нас чувства и умы
Не одногодки с сединами.

1862 (?)

[1] Кто не соответствует духу своего возраста — испытывает бедствия этого возраста. Вольтер (франц.). — *Ред.*

БЕССОННИЦА

В тоске бессонницы, средь тишины ночной,
Как раздражителен часов докучный бой!
Как молотом кузнец стучит по наковальной,
Так каждый их удар, тяжелый и печальный,
По сердцу моему однообразно бьет,
И с каждым боем всё тоска моя растет.
Часы, «глагол времен, металла звон» надгробный,
Чего вы от меня с настойчивостью злобной
Хотите? дайте мне забыться. Я устал.
Кукушки вдоволь я намеков насчитал.
Я знаю и без вас, что время мимолетно;
Безостановочно оно, бесповоротно!
Тем лучше! и кому, в ком здравый разум есть,
Охота бы пришла жизнь сызнова прочесть?
Но, скучные часы моей бессонной пытки,
В движениях своих куда как вы не прытки!
И, словно гирями крыло обременя,
Вы тащитесь по мне, царапая меня.
И сколько диких дум, бессмысленных, несвязных,
Чудовищных картин, видений безобразных, —
То вынырнув из тьмы, то погружаясь в тьму, —
Мерещится глазам и грезится уму!
Грудь давит темный страх и бешеная злоба,
Когда змеи ночной бездонная утроба
За часом час начнет прожорливо глотать,
А сна на жаркий одр не сходит благодать.
Тоска бессонницы, ты мне давно знакома;
Но всё мне невтерпеж твой гнет, твоя истома,
Как будто в первый раз мне изменяет сон,
И крепко-накрепко был застрахован он;
Как будто по ночам бессонным не в привычку
Томительных часов мне слушать перекличку;
Как будто я и впрямь на всероссийский лад
Спать богатырским сном всегда и всюду рад,
И только головой подушку чуть пригрею —
Уж с *Храповицким* речь затягивать умею.

1862 (?)

НИКОЛАЮ АРКАДЬЕВИЧУ КОЧУБЕЮ

Венеция прелесть, но солнце ей нужно,
Но нужен венец ей алмазов и злата,
Чтоб всё, что в ней мило, чтоб всё, что так
южно,
Горело во блеске без туч и заката.

Но звезды и месяц волшебнице нужны,
Чтоб в сумраке светлом, чтоб ночью
прозрачной
Серебряный пояс, нашейник жемчужный
Сияли убранством красы новобрачной.

А в будничном платье под серым туманом,
Под плачущим небом, в тоске дождевосной,
Не действует прелесть своим талисманом,
И смотрит царица старухой несносной.

Не знаешь, что делать в безвыходном горе.
Там тучи, здесь волны угрюмые бродят,
И мокрое небо, и мутное море
На мысль и на чувство унынье наводят.

Под этим уныньем с зевотой сердечной,
Другим Робинсоном в лагунной темнице,
Сидишь с глазу на глаз ты с *Пятницей*
вечной,
И тошных семь пятниц сочтешь на седмице.

Тут вспомнишь, что метко сказал Завадовский,
До прозы понизив морскую красотку:
«Здесь жить невозможно, здесь город таковский,
Чтоб в лавочку сбегать, — садися ты в лодку».

27 октября 1863

* * *

«Зачем вы, дни?» — сказал поэт.
А я спрошу: «Зачем вы, ночи?»
Зачем ваш мрак сгоняет свет
И занавешивает очи?

И так жизнь наша коротка,
И время годы быстро косит,
А сон из этого клочка
Едва ль не треть еще уносит.

Счастливцу — сон? Он у него
Часы блаженства похищает,
А на лету и без того
Он их так мало насчитает.

Счастливцу сон — разрыв со всем,
Чем сердце радостью дышало:
Как мертвый, слеп он, глух и нем,
Души как будто не бывало.

Смерть называют вечным сном,
А в здешнем — временно мертвеем.
Зачем нам спать, когда потом
Мы вдоволь выспаться успеем?

Когда б я с счастьем был знаком,
О, как бы сон я ненавидел!
На клад мой, на святыню в нем
Я посягателя бы видел.

Страдальцу сон же не с руки,
Средь тяжких дум, средь грозных мраков,
На одр недуга и тоски
Не сыплет он прохладных маков.

Весь мутный ил, которым дни
Заволокли родник душевный,
Из благ — обломки их одни,
Разбитые волною гневной, —

Всплывает всё со дна души
В тоске бессонницы печальной,
Когда в таинственной тиши,
Как будто отзыв погребальный,

Несется с башни бой часов;
И мне в тревогу и смущенье

Шум собственных моих шагов
И сердца каждое биенье...

Ум весь в огне; без сна горят
Неосвежаемые очи,
Злость и тоска меня томят...
И вопию: «Зачем вы, ночи?»

1863

* * *

Tout m'afflige et me nuit
et conspire à me nuire.
Racine [1]

Всё в скорбь мне и во вред. Всё в общем заговоре
Мне силится вредить и нанести мне горе.
Сдается, что судьбой я отдан с давних пор
Ее чиновникам под мелочной надзор,
Что каждому из них особым порученьем
Дано за мной следить, и с злобным ухищреньем,
Чего б ни пожелал, что делать ни начну,
Всё мне в беду зачесть, иль ставить мне в вину.
От сих лазутчиков усердных и прилежных,
Невидимых всегда и всюду неизбежных,
Укрыться не могу: их тяжкая рука,
То явно, то в тиши таясь, исподтишка,
Царапиной, щелчком или ударом грома, —
Мне чуется во всем и на людях, и дома,
Где с глазу нá глаз я с собой назаперти
Хотел бы в самого себя от них уйти.
Иль я игрок плохой, иль жизнь игра плохая:
Но всё я в дураках, внаклад себе играя,
То в картах *синглетон,* то на бильярде *кикс.*
Так к лучшему идет всё в лучшем нашем мире,
Где для меня успех — всё неизвестный *x,*
А неудача сплошь — как *дважды два четыре.*

1863 (?)

---

[1] Все меня огорчает и мне вредит, и всё в заговоре, чтобы мне вредить. Расин (франц.). — *Ред.*

SANTA ELENA[1]

Giardini publici[2] в виду Святой Елены
Напоминают нам мирских судеб измены.
Когда Наполеон победною рукой
Сей сад завоевал у пропасти морской
И мирный по себе потомству след оставил,
Который пережил всё то, чем он прославил
И кровью обагрил торжественный свой путь,
Когда в нем жаждою властолюбивой грудь
Горела и ничто ее не утоляло;
Счастливец, перед кем всё в мире трепетало,
Людьми и царствами игравший дерзкий мот, —
Предвидеть мог ли он, что на пустыне вод
Его, изгнанника, другая ждет Елена,
Где он познает скорбь и униженье плена?
Когда в его саду его деревьев шум
К мечтам о днях былых склоняет сонный ум,
И остров, для него зловещий, мне предстанет, —
С ним вместе он и сам, чудесный муж, воспрянет
В величии своем и в немощи своей,
Владыка гением и раб своих страстей,
Герой и полубог великой эпопеи,
Пред кем бледнеть должны Ахиллы и Энеи!
Мне грустно за него; как мог и он упасть?
Любимцу промысл дал умение и власть
На пользу и добро создать порядок новый
И зданью положить надежные основы,
Стихий общественных уравновесив бой, —
А он развалины оставил за собой.
Что нажил он мечом, мечом он тем же прожил:
Народы раздражил, мир бурями встревожил,
И вихрем пламенным, который вызвал он,
Сам на пустынную скалу был занесен!
Царь, дважды изгнанный своим народом верным,
Который, спохватясь, с раскаяньем примерным
Опальный прах его на дальнем рубеже
В отчизну перенес под песни Беранже!

---

[1] Святая Елена (итал.). — *Ред.*
[2] Общественный сад (итал.). — *Ред.*

И, вновь воспламенясь к вождю посмертной
страстью,
Тень, имя, звук его облек державной властью!
Да, песней тех не будь, да, Беранже не пой,
И ваш Наполеон, отшедший на покой,
Остался б на скале и после смерти узник;
Не вспомнили б о нем ни маршалы, ни блузник.
Но ловкой выходкой удачного певца
Французские умы, французские сердца,
Под обаянием и магнетизмом песни,
Давно умершему сказали: «Ты, воскресни!»
И ожил их мертвец, воскрес Наполеон:
Освистанный в живых, в легенде вырос он, —
Легенду смелую вновь плотью облепили
И за сорок годов назад перескочили.

Прав старый Депрео, хоть ныне брошен в пыль:
«Француз шутник в душе, дал миру водевиль».
И впрямь. Вся быль, весь блеск, весь шум его
на свете —
Трагический припев в комическом куплете,
Или в трагическом — комический конец.
Сей милый трубадур, сей боевой певец,
Поющий в светлый день и в мрачную годину,
Всё в песню преложил, и даже гильотину,
Которую, остря едва ль не чересчур,
Родил и расплодил всё тот же балагур.

1863 (?)

* * *

Пожар на небесах — и на воде пожар.
Картина чудная! Весь рдея, солнца шар,
Скатившись, запылал на рубеже заката.
Теснятся облака под жаркой лавой злата;
С землей прощаясь, день на пурпурном одре
Оделся пламенем, как Феникс на костре.

Палацца залились потоком искр златых,
И храмов куполы, и кампанилы их,

И мачты кораблей, и пестрые их флаги,
И ты, крылатый лев, когда-то царь отваги,
А ныне, утомясь по вековой борьбе,
Почивший гордым сном на каменном столбе.

Как морем огненным, мой саламандра-челн
Скользит по зареву воспламененных волн.
Раздался колокол с Сан-Марко и с Салуте —
Вечерний благовест, в дневной житейской смуте
Смиренные сердца к молитве преклоня,
Песнь лебединая сгорающего дня!

1863 или 1864

* * *

«Per obbedir l'a»,[1] что ни спросишь, —
На всё готовый здесь ответ:
Ну, словно власть в руке ты носишь
Вертеть, как хочешь, целый свет.

Поутру спросишь о погоде:
«Per obbedir la, хороша».
Спроси о бедности в народе:
«Per obbedir la, нет гроша».

Какая вонь у вас в канале!
«Per obbedir l'a, вонь и есть».
Бог деток дал тебе, Пасквале?
«Per obbedir la, дочек шесть».

Я ночью слышал три удара:
«Per obbedir la, гром гремел».
Я видел зарево пожара:
«Per obbedir l'a, дом сгорел».

Давно ли, Беппо, ты уж вдовый?
«Per obbedir l'a, с год тому».

[1] С вашего разрешения (итал.). — *Ред.*



В дом не возьмешь ли женки новой?
«Per obbedir la, что ж? возьму».

Я слышал о твоей печали:
Разбойники вошли в твой дом?
«Per obbedir la, обокрали,
И я остался ни при чем».

Кто запрещает здесь спектакли?
«Per obbedir la, комитет».
Но комитет ваш не дурак ли?
«Per obbedir la, толку нет».

Ты не в ладах с своей женою,
Тебя измучила она?
«Признаться больно, а не скрою,
Per obbedir la, неверна».

Любовник есть у этой донны?
«Per obbedir la, даже три».
Что ж муж? «Per obbedir la, жены
Перехитрят, как ни смотри».

А буря барку потопила?
«Per obbedir la, и с людьми».
О, баста, баста, грудь изныла
От ваших слов, провал возьми!

Типун вам на язык, сороки,
С per obbedir la роковым.
Как, вонь, грабеж, пожар, пороки,
Беды с последствием своим,

Неверность жен, людей проказы,
И то, что есть, и что прошло,
Про всё и обо всех рассказы,
Рожденье, смерть, и смех, и зло —

Всё ждет, как щучьего веленья,
Чтоб словом грянул я одним,
И всё падет без исключенья
Пред всемогуществом моим?!

Нет, отрекаюсь я от власти
И вместе от вопросов всех,
Чтоб сплетни все и все напасти
Не брать мне на душу, как грех.

1863 или 1864

ВЕНЕЦИЯ

Ни движенья нет, ни шуму
В этом царстве тишины;
Поэтическую думу
Здесь лелеют жизни сны.

Дни и ночи беззаботны,
И прозрачны ночь и день.
Всё — как призрак мимолетный,
Молча всё скользит, как тень.

Но в роскошной неге юга
Всюду чуешь скрытый гнев;
И сердито друг на друга
Дуются орел и лев.

Не дошло еще до драки:
Тишина перед грозой;
Но по небу ходят мраки
Над напуганной землей.

1863 или 1864

* * *

К лагунам, как frutti di mare,[1]
Я крепко и сонно прирос.
Что было — с днем каждым всё старей,
Что будет? мне чужд сей вопрос.

---

[1] Моллюски (итал.). — *Ред.*

Сегодня второе изданье
Того, что прочел я вчера;
А завтра? Напрасно гаданье!
Еще доживу ль до утра?

А если дожить и придется,
Не сыщется новая цель:
По-прежнему мне приведется
Всё ту же тянуть канитель.

Спросите улитку: чего бы
Она пожелала себе?
Страстями любви или злобы
Горит ли, томится ль в борьбе?

Знакома ль ей грусть сожалений?
Надежда — сей призрак в тени?
И мучит ли жажда сомнений
Ее равнодушные дни?

И если ваш розыск подметит
В ней признак и смысл бытия,
И если улитка ответит, —
Быть может, ответ дам и я.

1863 или 1864

ИЗ ФОТОГРАФИИ ВЕНЕЦИИ

Прелестен вид, когда, при замираньи дня,
Чудесной краскою картину оттеня,
Всё дымкой розовой оденет пар прозрачный:
Громадных зданий ряд величественно-мрачный,
Лагуны, острова и высь Евгейских гор,
Которых снеговой, серебряный узор
Сияет вдалеке на темном небосклоне.
Все призрачно глядит: и зыбь на влажном лоне,
Как марево глазам обманутым пловцов,
И город мраморный вдоль сжатых берегов,
И Невский сей проспект, иначе *Канал-гранде,*
С дворцами, перлами на голубой гирлянде,

Которая легко, с небрежностью струясь,
Вкруг стана стройного царицы обвилась.
Мир фантастический, причудливый, прелестный!
Кому твои мечты и таинства известны,
Кто мог уразуметь их сладостный язык,
Кто чувством в этот мир загадочный проник,
О, тот поэзии сокровища изведал!
И если чувств своих созвучно он не предал,
И в том, что скажет он, им отголоска нет,
То всё ж в душе своей он был и есть поэт.

1863 или 1864

„ПО МОСТУ, МОСТУ“

Народная песня

Здесь нашу песенку невольно
Припомнишь: «По мосту, мосту».
Мостов раскинулось довольно
В длину, и в ширь, и в высоту.

Назло ногам, назло коленям,
Куда, пожалуй, ни иди,
Всё лазишь по крутым ступеням,
А мост всё видишь впереди.

Иной из них глядит картинно:
Изящность в нем и легкость есть,
Но нелегко в прогулке длинной
Лезть, а спустившись, снова лезть.

Тут на ногах как будто гири,
В суставах чувствуешь свинец,
И каждый мост — мост dei sospiri, [1]
И мост одышки, наконец.

1863 или 1864

[1] Вздохов (итал.). — *Ред.*

ВЕВЕЙСКАЯ РЯБИНА

Внучке моей Кате Вяземской

Я отыскал свою рябину,
Которой песнь я посвятил,
С которой русскую кручину
Здесь на чужбине я делил.

В нарядном красном сарафане,
Под блеском солнечного дня,
Еще пышней, еще румяней
Глядит красавица моя.

Радушно-ласковым приветом
Мы молча обменялись с ней;
Красуясь пред своим поэтом,
С гостеприимством прежних дней,

И чем богата, тем и рада,
Спешит землячка мне поднесть
Кисть нам родного винограда,
Родных садов живую весть.

А я принес ей, гость нежданный,
Года увядшие мои,
И скорби новые, и раны
Незаживающей души.

Когда же на земле простынет
Мой след в молчаньи гробовом
И время в сумрак отодвинет
То, что своим теперь зовем,

Не всё ж волной своей мятежной
Затопит быстрых дней поток,
Хоть в сердце ближних дружбой нежной
Мне отведется уголок.

В весельях юности беспечной
Подчас на самый светлый день

Тайком из глубины сердечной
Находит облачная тень.

В те дни, возлюбленная внучка,
Когда хандра на ум найдет
И память обо мне, как тучка,
По небу твоему мелькнет,

Быть может, думою печальной
Прогулку нашу вспомнишь ты,
И Леман яхонтно-зерцальный,
И разноцветных гор хребты,

Красивой осени картину,
Лазурь небес и облака,
Мою заветную рябину,
А с ней и деда-старика.

Октябрь 1864,
Веве

КЛАДБИЩЕ

Где б ни был я в чужбине дальной,
Мной никогда не позабыт
Тот угол светлый и печальный,
Где тихий ангел погребальный
Усопших мирный сон хранит.

Оплакавший земной дорогой
Любви утрату не одну,
Созревший опытностью строгой,
Паломник скорбный и убогой,
Люблю кладбища тишину.

Мне так *сочувственны* могилы,
В земле так много моего,
Увядших благ, увядшей силы,
Что мне кладбище — берег милый,
Что мне приветлив вид его.

Предавшись думам несказанным,
И здесь я, на закате дня,

Спешу к местам обетованным,
К могилам чуждым, безымянным,
Но не безмолвным для меня.

Среди цветов в тени древесной,
Кладбище здесь — зеленый сад,
Нас не смущает давкой тесной
Гробниц и с спесью полновесной
Тщетой воздвигнутых громад.

В виду — величество природы,
Твердыни вечных гор кругом,
И вечно подвижные воды,
То блеск небес, то непогоды
В прекрасном ужасе своем.

Вблизи — всё пепел да обломки,
Вся наша немощь в тле своей;
Близ предков улеглись потомки;
Могил молчанье и потемки —
Вот след непрочных наших дней.

Но здесь нагорное кладбище
Поближе к небу вознеслось,
Прозрачный воздух здесь и чище,
И дней минувших пепелище
Цветущей жизнью облеклось.

Здесь всё свежо, везде просторно,
Здесь словно ратный стан почил
По битве жаркой и упорной,
И к ночи отдых благотворный
Бойцов и страсти умирил.

Ноябрь 1864,
Веве

* * *

Мне нужны воздух вольный и широкий,
Здесь рощи тень, там небосклон далекий,
Раскинувший лазурную парчу,

Луга и жатва, холм, овраг глубокий
С тропинкою к студеному ключу,
И тишина, и сладость неги праздной,
И день за днем всегда однообразный:
Я жить устал, — я прозябать хочу.

1864 (?)

ПОМИНКИ

Дельвиг, Пушкин, Баратынский,
Русской музы близнецы,
С бородою бородинской
Завербованный в певцы,

Ты, наездник, ты, гуляка,
А подчас и Жомини,
Сочетавший песнь бивака
С песнью нежною Парни!

Ты, Языков простодушный,
Наш заволжский соловей,
Безыскусственно послушный
Тайной прихоти своей!

Ваши дружеские тени
Часто вьются надо мной,
Ваших звучных песнопений
Слышен мне напев родной;

Наши споры и беседы,
Словно шли они вчера,
И веселые обеды
Вплоть до самого утра —

Всё мне памятно и живо.
Прикоснетесь вы меня,
Словно вызовет огниво
Искр потоки из кремня.

Дни минувшие и речи,
Уж замолкшие давно,

В столкновеньи милой встречи
Всё воспрянет заодно, —

Дело пополам с бездельем,
Труд степенный, неги лень,
Смех и грусти за весельем
Набегающая тень,

Всё, чем жизни блеск наружный
Соблазняет легкий ум,
Всё, что в тишине досужной
Пища тайных чувств и дум,

Сходит всё благим наитьем
В поздний сумрак на меня,
И событьем за событьем
Льется памяти струя.

В их живой поток невольно
Окунусь я глубоко, —
Сладко мне, свежо и больно,
Сердцу тяжко и легко.

1864 (?)

* * *

Как свеж, как изумрудно мрачен
В тени густых своих садов,
И как блестящ, и как прозрачен
Водоточивый Петергоф.

Как дружно эти водометы
Шумят среди столетних древ,
Днем и в часы ночной дремоты
Не умолкает их напев.

Изгибистым, разнообразным
В причудливой игре своей,

Они кипят дождем алмазным
Под блеском солнечных лучей.

Лучи скользят по влаге зыбкой,
Луч преломляется с лучом,
И водомет под этой сшибкой
Вдруг вспыхнет радужным огнем.

Как из хрустальных ульев пчелы,
От сна подъятые весной,
И здесь, блестящий и веселый,
Жужжа, кружится брызгов рой.

Они отважно и красиво
То, прянув, рвутся в небеса,
То опускаются игриво,
И прыщет с них кругом роса.

Когда ж сиянья лунной ночи
Сады и воздух осребрят
И неба золотые очи
На землю ласково глядят,

Когда и воздух не струится,
И море тихо улеглось,
И всё загадочно таится,
И в мраке видно всё насквозь,

Какой поэзией восточной
Проникнут, дышит и поет
Сей край Альгамбры полуночной,
Сей край волшебства и красот.

Ночь разливает сны и чары,
И полон этих чудных снов
Преданьями своими старый
И вечно юный Петергоф.

1865

СЛЕЗНАЯ КОМПЛЯНТА,[1]
КИ ПЕ ТЕТР ВУ ФЕРА РИР[2]

Все женщины в прабабку Еву —
Хитрят во сне и наяву.
Он говорит: «Хочу в Женеву»,
Она в ответ: *«Не жене ву»*.[3]

То есть, пожалуйста, не суйтесь:
К чему женироваться вам?
Сидите дома, повинуйтесь
Своим дряхлеющим годам.

Вас видеть мне была б отрада,
Но если всё в расчет принять,
Быть может, я была бы рада
Вас к черту, ангел мой, прогнать.

И так довольна я судьбою:
Ле мьё се ленеми дю бьян.[4]
Боюсь, меня стихов ухою
Замучите вы, как Демьян.

Он плачет, а она... хохочет
И говорит: *«Ле гран папа*,[5]
Всё о Женеве он хлопочет,
А я свое: „*Же не ве па*"».[6]

Декабрь 1865,
С.-Петербург

---

[1] Жалоба (франц.). — *Ред.*
[2] Которая, быть может, заставит вас смеяться (франц.). — *Ред.*
[3] Не затрудняйте себя (франц.). — *Ред.*
[4] Лучшее — враг хорошего (франц.). — *Ред.*
[5] Дедушка (франц.). — *Ред.*
[6] Не хочу (франц.). — *Ред.*

ВЕЧЕР

(Екатерине Федоровне Тютчевой)

Прелестный вечер! В сладком обаяньи
Душа притихла, словно в чудном сне.
И небеса в безоблачном сияньи,
И вся земля почила в тишине.

Куда б глаза пытливо ни смотрели,
Таинственной завесой мир одет,
Слух звука ждет, — но звуки онемели;
Движенья ищет взор — движенья нет.

Не дрогнет лист, не зарябится влага,
Не проскользнет воздушная струя;
Всё тишь! .. Как будто в пресыщеньи блага
Жизнь замерла и не слыхать ея.

Но в видимом бездейственном покое
Не истощенье сил, не мертвый сон:
Присущны здесь и таинство живое,
И стройного могущества закон.

И молча жизнь кругом благоухает,
И в неподвижной красоте своей
Прохладный вечер молча расточает
Поэзию без звуков, без речей.

И в этот час, когда, в тени немея,
Всё, притаясь, глубокий мир хранит,
И тихий ангел, крыльями чуть вея,
Землей любуясь, медленно парит,

Природа вся цветет, красуясь пышно,
И, нас склоня к мечтам и забытью,
Передает незримо и неслышно
Нам всю любовь и душу всю свою.

1865 (?)

* * *

Опять я слышу этот шум,
Который сладостно тревожил
Покой моих ленивых дум,
С которым я так много прожил
Бессонных, памятных ночей,
И слушал я, как плачет море,
Чтоб словно выплакать всё горе
Из глубины груди своей.

Не выразит язык земной
Твоих рыдающих созвучий,
Когда, о море, в тьме ночной
Раздастся голос твой могучий!
Кругом всё тихо! Ветр уснул
На возвышеньях Аю-Дага;
Ни человеческого шага,
Ни слов людских не слышен гул.

Дневной свой подвиг соверша,
Земля почила после боя;
Но бурная твоя душа
Одна не ведает покоя.
Тревожась внутренней тоской,
Томясь неведомым недугом,
Как пораженное испугом,
Вдруг вздрогнув, ты подъемлешь вой.

Таинствен мрак в ночной глуши,
Но посреди ее молчанья
Еще таинственней души
Твоей, о море, прорицанья!
Ты что-то хочешь рассказать
Про таинства природы вечной,
И нам волною скоротечной
Глубокий смысл их передать.

Мы внемлем чудный твой рассказ,
Но разуметь его не можем;
С тебя мы не спускаем глаз,
И над твоим тревожным ложем

Стоим, вперяя жадный слух:
И чуем мы, благоговея,
Как мимо нас, незримо вея,
Несется бездны бурный дух!..

1867

* * *

Пора стихами заговеться
И соблазнительнице-рифме
Мое почтение сказать:
На старости уже преклонной
Смешно и даже беззаконно
С собой любовницу таскать.

Довольно деток, слишком много,
Мы с нею по свету пустили
На произвол и на авось:
Одни, быть может, вышли в люди,
А многим — воля божья буди! —
Скончаться заживо пришлось.

Другие, что во время оно
Какой-то молодостью брали,
Теперь *глупам стала, старам;*
Настали новые порядки,
И допотопные двойчатки —
Кунсткамерский гиппопотам.

Кювье литературных прахов,
На них ссылается Галахов,
Чтоб тварям всем подвесть итог,
И вносит их не для почета,
А разве только так, для счета,
Он в свой животный некролог.

Пора с серьезностью суровой
И с прозой честной и здоровой
Вступить в благочестивый брак,

Остыть, надеть халат домашний
И, позабыв былые шашни,
Запрятать голову в колпак.

Прости же, милая шалунья,
С которой пир *медоволунья*
Так долго праздновали мы:
Всему есть срок, всему граница;
И то была весны певица
Верна мне до моей зимы.

Спасибо ей, моей подруге;
Моим всем прихотям к услуге
Она являлась на лету:
Блеснет нечаянной улыбкой,
К стиху прильнет уловкой гибкой,
Даст мысли звук и красоту.

А может быть, я ей наскучу,
Ее обман накличет тучу
На наши светлые лады;
Не лучше ль, хоть до слез и жалко,
С моей веселой запевалкой
Нам распроститься до беды?

Друг друга не помянем лихом:
С тобой я с глазу нá глаз в тихом
Восторге радость знал вполне;
Я не был славолюбьем болен,
А про себя я был доволен
Твоими ласками ко мне.

1867 (?)

* * *

Сфинкс, не разгаданный до гроба, —
О нем и ныне спорят вновь;
В любви его роптала злоба,
А в злобе теплилась любовь.

Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:
И презирал он человека,
И человечество любил.

Сентябрь 1868

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА

(Графине М. Б. Перовской)

Ждет тройка у крыльца; порывом
Коней умчит нас быстрый бег.
Смотрите — месячным отливом
Озолотился первый снег.

Кругом серебряные сосны;
Здесь северной Армиды сад:
Роскошно с ветви плодоносной
Висит алмазный виноград;

Вдоль по деревьям арабеском
Змеятся нити хрусталя;
Серебряным, прозрачным блеском
Сияют воздух и земля.

И небо синее над нами —
Звездами утканный шатер,
И в поле искрится звездами
Зимой разостланный ковер.

Он, словно из лебяжьей ткани,
Пушист и светит белизной;
Скользя, как челн волшебный, сани
Несутся с плавной быстротой.

Всё так таинственно, так чудно;
Глядишь — не верится глазам.
Вчерашний мир спит беспробудно,
И новый мир открылся нам.

Гордяся зимнею обновой,
Ночь блещет в светозарной тьме;
Есть прелесть в сей красе суровой,
Есть прелесть в молодой зиме,

Есть обаянье, грусть и нега,
Поэзия и чувств обман;
Степь бесконечная и снега
Необозримый океан.

Вот леший — скоморох мохнатый,
Кикимор пляска и игра,
Вдали мерещатся палаты,
Все из литого серебра.

Русалок рой среброкудрявый,
Проснувшись в сей полночный час,
С деревьев резво и лукаво
Стряхает иней свой на нас.

Ноябрь 1868,
Царское Село

* * *

Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться,
Остаться должен я при немощи своей.
Зачем, отжившему, живым мне притворяться?
Болезненный мой смех всех слез моих грустней.

1870

ЭПИТАФИЯ СЕБЕ ЗАЖИВО

Лампадою ночной погасла жизнь моя,
Себя, как мертвого, оплакиваю я.
На мне болезни и печали
Глубоко врезан тяжкий след;
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.

1871

* * *

Все сверстники мои давно уж на покое,
И младшие давно сошли уж на покой;
Зачем же я один несу ярмо земное,
Забытый каторжник на каторге земной?

Не я ли искупил ценой страданий многих
Всё, чем пред промыслом я быть виновным мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить злопамятливый бог?

12 июня 1872,
Царское Село

* * *

Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы бога знаете по книгам и преданьям,
А я узнал его по собственным страданьям,
И где отца искал, там встретил палача.

Всё доброе во мне, чем жизнь сносна была,
Болезнью лютою всё промысл уничтожил,
А тщательно развил, усилил и умножил
Он всё порочное и все зачатки зла.

Жизнь едкой горечью проникнута до дна,
Нет к ближнему любви, нет кротости в помине,
И душу мрачную обуревают ныне
Одно отчаянье и ненависть одна.

Вот чем я промыслом на старость награжден,
Вот в чем явил свою премудрость он и благость:
Он жизнь мою продлил, чтоб жизнь была мне в тягость,
Чтоб проклял я тот день, в который я рожден.

1872 (?)

ГРАФУ М. А. КОРФУ

С родного очага судьбиной
Давно отрезанный ломоть,
Закабален я был чужбиной
И осужден в ней дни молоть.

Как ни мелю, всё по-пустому:
Не перемелется мука,
Одну мякину да солому
Сбирает нехотя рука.

Между собой всё так похоже:
День каждый завтрашнему дню
Передает одно и то же,
И ночи ночь тоску свою.

Бессонница, как ведьма злая,
И с нею дочь ее, хандра,
Ночь напролет надоедая,
Торчат у праздного одра.

И вы здоровья, силы свежей,
Как я, пришли сюда искать:
В нас немощь и недуги те же,
И сна чужда нам благодать.

Кажись, выносим труд немалый,
Чтоб только сном глаза сомкнуть,
Читаем русские журналы,
А всё не можем мы заснуть.

Такая, знать, у нас натура,
Что ни подушки, ни тюфяк,
Ни русская литература
Не убаюкают никак.

Досадно, тяжело и больно;
Так горемычный часовой
Стоит и слышит, как привольно
Весь стан храпит во тьме ночной.

Посмотришь, все благополучно
Спят русским сном от русских книг;
От них мне до зевоты скучно,
А сна не выжмешь ни на миг.

Судьба свела нас издалеча
В чужой и тихой стороне;
Будь в добрый час нам эта встреча!
Чего желать и вам, и мне?

«Царевичу младому Хлору»
Молюсь, чтоб, к нам он доброхот,
«Нас взвел на ту высоку гору,
Где без хлорала сон растет».

Август 1874,
Гомбург

ОСЕНЬ

Кокетничает осень с нами:
Красавица на западе своем
Последней лаской, последними дарами
Приманивает нас нежнее с каждым днем.

И вот я, волокита старый,
Люблю ухаживать за ней
И жадно допивать, за каплей каплю, чары
Прельстительной волшебницы моей.

Всё в ней мне нравится: и пестрота наряда,
И бархат, и парча, и золота струя,
И яхонт, и янтарь, и гроздья винограда,
Которыми она обвешала себя.

И тем дороже мне, чем ближе их утрата,
Еще душистее цветы ее венка,
И в светлом зареве прекрасного заката
Сил угасающих и нега и тоска.

Октябрь 1874,
Гомбург

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Мудрец или лентяй, иль просто добрый малый,
Но книгу жизни он с вниманьем не читал,
Хоть долго при себе ее он продержал.
Он перелистывал ее рукою вялой,
Он мимо пропускал мудреные главы,
Головоломные для слабой головы;
Он равнодушен был к ее загадкам темным,
Которые она некстати иль под стать,
Как сфинкс, передает читателям нескромным,
Узнать желающим, чего не можно знать;
Не подводил в итог гадательных их чисел,
Пытливого ума не чувствовал тоски;
Нет, этот виноград ему всегда был кисел,
Он не протягивал к нему своей руки.
Простая жизнь его простую быль вмещает:
Тянул он данную природой канитель,
Жил, не заботившись проведать жизни цель,
И умер, не узнав, зачем он умирает.

Между 1873 и 1875

* * *

Лукавый рок его обчел:
Родился рано он и поздно,
Жизнь одиночную прошел
Он с современной жизнью розно.

В нем старого добра был клад,
Родник и будущих стремлений;
Зато и был он виноват
У двух враждебных поколений.

«Воздвиг я памятник себе!» —
Не мог сказать он, умирая:
Он много выстрадал в борьбе,
Но та борьба была глухая.

К такой борьбе вниманья нет:
Кто в глубь души борцу заглянет?
Не перекрестится и свет,
Пока успеха гром не грянет.

И много непочатых сил
И втуне клятв за ним осталось,
Талант не в землю он зарыл,
Но в ход пустить не удавалось.

Бедняк не вовремя рожден,
Не вовремя он жил и умер;
И в лотерее жизни он
Попал на проигрышный нумер.

Между 1873 и 1875

* * *

Куда девались вы с своим закатом ясным,
Дни бодрой старости моей!
При вас ни жалобой, ни ропотом напрасным
Я не оплакивал утраты юных дней.

Нет, бремя поздних лет на мне не тяготело,
Еще я полной жизнью жил;
Ни ум не увядал, ни сердце не старело,
Еще любил я всё, что прежде я любил.

Не чужды были мне налеты вдохновенья,
Труд мысли, светлые мечты,
И впечатлительность, и жертвоприношенья
Души, познавшей власть и прелесть красоты.

Как ветр порывистый ломает дуб маститый,
Так и меня сломил недуг.
Все радости земли внезапной тьмой покрыты
Во мне, и всё кругом опустошилось вдруг.

С днем каждым жизни путь темней и безнадежней,
Порвались струны бытия:
Страдающая тень, обломок жизни прежней,
Себя, живой мертвец, переживаю я.

Из жизни уцелеть могли одни мученья,
Их острый яд к груди прирос.
И спрашиваю я: где ж благость провиденья?
И нет ответа мне на скорбный мой вопрос.

Между 1874 и 1875

* * *

Игрок задорный, рок насмешливый и злобный
Жизнь и самих людей подводит под сюркуп:
Способный человек бывает часто глуп,
А люди умные как часто неспособны!

Post scriptum

Вот, например, хотя бы грешный я:
Судьбой дилетантизм во многом мне дарован,
Моя по всем морям носилась ладия,
Но берег ни один мной не был завоеван,
И в мире проскользит бесследно жизнь моя.
Потомству дальнему народные скрижали
Об имени моем ничем не возвестят;
На дни бесплодные смотрю я без печали,
И, что не славен я, в своем смиреньи рад.
Нет, слава лестное, но часто злое бремя,
Для слабых мышц моих та ноша тяжела.
Что время принесет, пусть и уносит время:
И человек есть персть, и персть его дела.
Я всё испробовал от альфы до иоты,
Но, беззаботная и праздная пчела,
Спускаясь на цветы, не собирал я соты,
А мед их выпивал и в улей не сносил.

«День мой — век мой» всегда моим девизом
был,
Но всё же, может быть, рожден я не напрасно:
В семье людей не всем, быть может, я чужой,
И хоть одна душа откликнулась согласно
На улетающий минутный голос мой.

1875,
Гомбург

* * *

На взяточников гром всё с каждым днем сильней
Теперь гремит со всех журнальных батарей.
Прекрасно! Поделом! К чему спускать пороку?
Хотя и то сказать: в сих залпах мало проку,
И как ни жарь его картечью общих мест,
Кот Васька слушает да преспокойно ест.
Фонвизина слыхал, слыхал он и Капниста,
И мало ли кого? Но шиканья и свиста
Их колких эпиграмм не убоялся кот,
Всё так же жирен он и хорошо живет.
Конечно, к деньгам страсть есть признак
ненавистный,
Но сами, господа, вы вовсе ль бескорыстны?
Не гнетесь ли и вы пред золотым тельцом?
И чисты ль вы рукой, торгующей пером?
Кто спорит! Взяточник есть человек презренный,
Но, сребролюбия недугом омраченный,
Писатель во сто раз презренней существо.
Дар слова — божий дар — он в торг пустил его.
Свой благородный гнев, и скорбь, и желчь, и слезы —
Всё ценит он, торгаш, по таксе рифм и прозы.
Сей изрекаемый над грешниками суд,
Сей проповедник наш, сей избранный сосуд,
Который так скорбит о каждой нашей язве,
Никак он не прольет целебной капли, — разве
За деньги чистые, чтобы купить на них
Чем утолить задор всех алчностей своих.

1875 (?)

ЦВЕТОК

Зачем не увядаем мы,
Когда час смерти наступает,
Как с приближением зимы
Цветок спокойно умирает?

К нему природы благ закон,
Ему природа мать родная:
Еще благоухает он,
Еще красив и увядая.

Его иссохшие листки
Еще хранят свой запах нежный,
Он дар нам памятной руки
В день слез разлуки безнадежной.

Его мы свято бережем
В заветной книге дум сердечных,
Как весть, как песню о былом,
О днях так грустно скоротечных.

Для нас он памятник живой,
Хотя он жизнью уж не дышит,
Не вспрыснут утренней росой
И в полночь соловья не слышит.

Как с другом, с ним мы говорим
О прошлом, нам родном и общем,
И молча вместе с ним грустим
О счастье, уж давно усопшем.

Цветку не тяжек смертный час:
Сегодня нас он блеском манит,
А завтра нам в последний раз
Он улыбнется и увянет.

А нас и корчит, и томит
Болезнь пред роковой могилой,
Нам диким пугалом грозит
Успенья гений белокрылый.

Мертвящий холод в грудь проник,
Жизнь одичала в мутном взоре,
Обезображен светлый лик,
Друзьям и ближним в страх и горе.

А там нас в тесный гроб кладут,
Опустят в мраки подземелья
И сытной пищей предадут
Червям на праздник новоселья.

В предсмертных муках и в борьбе,
Неумолимой, беспощадной,
Как позавидую тебе,
Цветок мой милый, ненаглядный!

Будь ласковой рукой храним,
Загробным будь моим преданьем,
И в память мне друзьям моим
Еще повей благоуханьем.

Май 1876

* * *

Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить.

Как мы состарились, состарился и он;
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже,
Чернилами он весь расписан, окроплен,
Но эти пятна нам узоров всех дороже;

В них отпрыски пера, которому во дни
Мы светлой радости иль облачной печали
Свои все помыслы, все таинства свои,
Всю исповедь, всю быль свою передавали.

На жизни также есть минувшего следы:
Записаны на ней и жалобы, и пени,
И на нее легла тень скорби и беды,
Но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв наш родной
Сердечной памятью еще живет в утрате,
И утро свежее, и полдня блеск и зной
Припоминаем мы и при дневном закате.

Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербами и грустным поворотом,
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,
Я холю свой халат с любовью и почетом.

Между 1875 и 1877

* * *

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

1871

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

* * *

Веселый шум, пеньё и смехи,
Обмен бутылок и речей;
Так празднует свои потехи
Семья пирующих друзей.
Всё искрится — вино и шутки!
Глаза горят, светлеет лоб,
И взачастую, в промежутки,
За пробкой пробка хлоп да хлоп!

Хор

Подобно, древле, Ганимеду,
Возьмемся дружно, заодно.
И наливай сосед соседу:
Сосед ведь любит пить вино!

Денис! Тебе почет с поклоном,
Первоприсутствующий наш!
Командуй нашим эскадроном
И батареей крупных чаш.
Правь и беседой, и попойкой;
В боях наездник на врагов,
Ты партизан не меньше бойкой
В горячей стычке острых слов.

Хор

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

А вот и наш Американец!
В день славный, под Бородиным,
Ты храбро нес солдатский ранец
И щеголял штыком своим.
На память дня того Георгий
Украсил боевую грудь;
Средь наших мирных, братских оргий
Вторым ты по Денисе будь!

Хор

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

И ты, наш меланхолик милый,
Певец кладбища, русский Грей!
В венке из свежих роз с могилы,
Вином хандру ты обогрей!
Но не одной струной печальной
Звучат душа твоя и речь.
Ты мастер искрой гениальной
И шутку пошлую поджечь.

Хор

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

Ключа Кастальского питомец
И классик с головы до ног!
Плохой ты Вакху богомолец,
И нашу веру пренебрег
По части рюмок и стаканов;
Хоть между нами ты профан,
Но у тебя есть свой Буянов:
Он за тебя напьется пьян.

Хор

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

Законам древних муз подвластный,
Тибулла нежный ученик!
Ты Юга негой сладострастной
Смягчил наш северный язык.
Приди — и чокнемся с тобою,
Бокал с бокалом, стих с стихом,

Как уж давно, душа с душою,
Мы побраталися родством.

Хор

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

Нас дружба всех усыновила,
Мы все свои, мы все родня,
Лучи мы одного светила,
Мы искры одного огня.
А дни летят, и без возврата!
Как знать? быть может, близок час,
Когда того ль, другого ль брата
Недосчитаемся средь нас.

Хор

Пока, подобно Ганимеду,
Возьмемся дружно, заодно.
Что ж? Наливай сосед соседу:
Сосед ведь любит пить вино.

1816 (?)

* * *

Шишков недаром корнеслов;
Теорию в себе он с практикою вяжет:
Писатель, вкусу *шиш* он кажет,
А логике он строит *ков*.

1810-е годы

* * *

Вы — донна Соль, подчас и донна
Перец!
Но всё нам сладостно и лакомо от вас,
И каждый, мыслями и чувствами, из нас
Ваш верноподданный и ваш единоверец.

Но всех счастливей будет тот,
Кто к сердцу вашему надежный путь
проложит
И радостно сказать вам может:
О, донна Сахар! донна Мед!

Между 1830 и 1832

* * *

С ним звездословию нетрудно научиться,
Честей им крайняя достигнута межа.
До этих почестей как мог он дослужиться?
— А очень просто: не служа.

1810-е годы

* * *

Всех образчиков, всех красок
Он живой лоскутный ряд:
Нет лица, но много масок,
Всюду взятых напрокат.

Либерал, чинов поклонник,
Чрезполосная душа,
С правым он его сторонник,
С левым он и сам левша.

В трех строках его вся повесть:
И торгаш, и арлекин,
На вес продает он совесть,
Убежденья — на аршин.

* * *

Он весь приглажен, весь прилизан,
С иголки ум его и фрак;
И фрак крестами весь унизан,
И ум под канцелярский лак.

Он чопорен, он накрахмален,
На разговор он туп и скуп,
И глупо он официален,
И тож официально глуп.

* * *

Он рыцарь, он поэт, к тому ж любовник
пылкой;
Но делает он всё и вкось, и невпопад:
Он рябчик ложкой ест, он суп хлебает вилкой;
Не верит в бога он, а в черта верить рад.



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании из обширного стихотворного наследия Вяземского представлено то, что является наиболее значительным или наиболее характерным для его поэтической индивидуальности. Понятно, что основное внимание уделено творчеству Вяземского 1810—1830-х годов — периода, когда творчество Вяземского было актуально, его общественные и литературные позиции — прогрессивны.

Полное собрание сочинений Вяземского (1878—1896) научного, текстологического значения не имеет. Избранные стихотворения, под редакцией В. Нечаевой (1935, изд. «Academia»), включающие около 300 произведений, являются первым изданием Вяземского, снабженным научным аппаратом. Невозможно, однако, согласиться с текстологическими принципами редактора этого издания. В. Нечаева систематически отдавала предпочтение первоначальным рукописным редакциям перед редакциями печатными и отражающими последнюю волю автора. Эти установки прямо сформулированы в статье «От редактора»: «...В тех случаях, когда мы имели возможность взять текст непосредственно из беловых автографов поэта, мы всегда предпочитали его тексту опубликованному (часто являвшемуся продуктом сотворчества Батюшкова, Жуковского и других друзей Вяземского или приспособления к цензуре)... В тех случаях, когда мы находили редакцию, сильно отличающуюся от опубликованного текста и в то же время несомненно художественно законченную, отделанную, мы ее помещали в тексте сборника, не перепечатывая уже известной редакции и отсылая к Собранию сочинений» (стр. 57—58). В «Избранных стихотворениях» ряд произведений Вяземского дан по так называемому «Новому рукописному сборнику». Это сборник неавторизованный и текстологически неавторитетный, что явствует из характеристики, какую дает ему сама В. Нечаева: «Писавший — лицо довольно грамотное, ошибок со стороны правописания немного. Но зато очень много погрешностей в отношении размеров стиха, искажающих правильное чередование стоп. Есть и искажения, обессмысливающие некоторые строки» (стр. 59).

В отличие от большей части поэтов-современников, Вяземский не издавал при жизни сборников своих стихотворений, за исключением нескольких брошюр позднего периода («К ружью», 1854;

«Шесть стихотворений», 1855; «За границею», 1859). В архиве Вяземского (ЦГАЛИ) и в Рукописном отделении Библиотеки имени Ленина сохранились рукописные сборники 1855 года с авторскими пометками, свидетельствующими о том, что материал их частично предназначался для задуманного тогда Вяземским собрания своих стихотворений под заглавием «В дороге и дома». Это издание не состоялось, и только в 1862 году М. Лонгинов, без непосредственного участия автора, издал сборник стихотворений Вяземского под тем же заглавием. На принадлежавшем ему экземпляре сборника «В дороге и дома» (хранится в Отделе редкой книги Библиотеки имени Ленина) Вяземский сделал следующую надпись: «Название «В дороге и дома» мое — оно неизыскано и верно. Я никакого участия в этом издании не принимал, был за границею и хандрил, предоставляя Лонгинову выбирать и печатать что хочет. Кажется, только на второй, если не на третий год увидел книгу свою». Об этом Вяземский говорит и в своей автобиографии, см. ПСС, т. 1, стр. LV—LVI.

В настоящем издании стихотворения Вяземского печатаются по журнальным публикациям, по автографам и авторизованным копиям, и только при отсутствии подобных источников — по тексту «В дороге и дома» или ПСС. В работе над рукописями Вяземского принимала участие И. И. Муравьева.

Материал расположен в хронологическом порядке. В тех случаях, когда не удалось установить дату написания, указывается дата напечатания, т. е. дата, не позднее которой стихотворение написано. Такого рода даты взяты в угловые скобки. В. Нечаева в своем издании справедливо отмечает, что издатели ПСС могли располагать неизвестными нам данными для датировки произведений Вяземского. Поэтому, при отсутствии всяких других оснований для датировки, мы также пользуемся датировками ПСС в качестве предположительных. Предположительные даты сопровождаются взятым в скобки вопросительным знаком. Хронологический порядок несколько нарушается только для эпиграмм, которые внутри данного года (или двух смежных) обычно сгруппированы.

Тексты в настоящем издании печатаются по современной орфографии, с сохранением тех особенностей языка эпохи и языка поэта, которые имеют смысловое и стилистическое значение. Подпись указывается в тех случаях, когда стихотворение не подписано полным именем Вяземского. Отмечается также отсутствие подписи.

Упоминание в примечаниях рукописи стихотворения без дальнейших указаний на место ее хранения означает, что рукопись находится в Остафьевском архиве Вяземских (ф. 195), хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ).

Ссылка на первую публикацию стихотворения без дальнейших указаний на источник текста означает, что стихотворение печатается по тексту этой публикации. Поскольку прижизненный сборник «В дороге и дома» не является авторизованным, мы указываем его только в примечаниях к тем стихотворениям, для которых он служит источником текста. Изданные при жизни Вяземского брошюры (в самую большую из них — «За границею» — входит двенадцать

стихотворений) указываются в примечаниях к вошедшим в них стихотворениям.

В заглавиях и подзаголовках стихотворений нами раскрыт ряд имен, обозначенных в первоисточниках первой буквой и многоточием или только многоточием: «Послание к . . . . . . в деревню» (стр. 49), «К моим друзьям Ж., Б. и С.» (стр. 59), «В альбом Н . . . . .» (стр. 79), «К . . . . .» (стр. 94), «Послание к Т . . . . с пирогом» (стр. 132), «Зимняя прогулка (графине М. Б. П.)» (стр. 384), «Графу М. А. К.» (стр. 387).

Принятые сокращения:

О. А. — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899.

«В дороге и дома» — «В дороге и дома». Собрание стихотворений князя П. А. Вяземского, М., 1862.

ПСС — Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. СПб., 1878—1896.

Из двенадцати томов ПСС четыре тома (3, 4, 11, 12) занимают стихотворения.

Избранные стихотворения — П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. Редакция, статья и комментарии В. С. Нечаевой. Изд. «Academia». М.—Л., 1935.

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Послание к Жуковскому в деревню (стр. 49). Впервые — «Вестник Европы», 1808, № 19, стр. 178. Подпись: «К. П. В . . . ий». Первое стихотворение Вяземского, появившееся в печати. В ПСС, в примечании к этому стихотворению, указано, что в копии, принадлежащей П. И. Бартеневу, оно озаглавлено «Жуковскому» (ПСС, т. 3, примеч., стр. 1). В хранящемся в Библиотеке имени Ленина экземпляре сборника «В дороге и дома» с пометками Вяземского против заглавия этого послания (в оглавлении) имеется надпись: «В послании почти все стихи сплошь и целиком переделаны Жуковским. Мне было тогда 16 лет».

К портрету Меньщикова (стр. 51). Впервые — «Вестник Европы», 1810, № 11, стр. 210. Подпись: «. . . В . . . .». *Меншиков* Александр Данилович (1670—1729) — любимец Петра I, при Екатерине I и в начале царствования Петра II пользовался неограниченной властью. В результате борьбы придворных партий Меншиков в 1727 г. подвергся опале и окончил свое поприще в ссылке, в глухом Березове.

Объявление (стр. 51). Впервые — «Вестник Европы», 1810, № 11, стр. 209. Подпись: «. . . В . . .».

Быль в преисподней (стр. 52). Впервые — «Вестник Европы», 1810, № 11, стр. 210. Подпись «. . . В. . . .». Сохранилась

авторизованная копия, в которой вместо *Бибрис* стоит — Бобров. Направлено против Боброва, Семена Сергеевича (ум. в 1810 г.). Бобров примыкал к группе писателей-мистиков, связанных с масонами. В то же время он был приверженцем Шишкова. Бибрисом или Бибрусом Вяземский называл Боброва, намекая на его пристрастие к вину (от латинского bibere — пить). *Певец ночей.* Бобров был автором поэмы: «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных гениев России» (1804).

К портрету Бибриса (стр. 52). Впервые — «Вестник Европы», 1810, № 11, стр. 210. Подпись: «. . . В. . .». Направлено против С. С. Боброва. См. примечание к эпиграмме «Быль в преисподней».

Сравнение Петербурга с Москвой (стр. 53). Впервые — «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая. С предисловием Н. Огарева». Лондон, 1861, стр. 193. В ПСС помещено только заглавие этого стихотворения, под 1822 г., с подстрочным примечанием: «Шуточное стихотворение под этим заглавием никогда не предназначалось для печати и в оставленных покойным князем П. А. Вяземским сборниках и прочих бумагах не сохранилось» (т. 3, стр. 289). С. Любимов, перепечатавший стихотворение в «Литературной мысли», утверждает, что оно было уже отпечатано в т. 3 ПСС, но вынуто из текста по требованию цензора Ратынского (Сб. «Литературная мысль», кн. 2. Пг., 1923, стр. 235). Это сообщение подтверждается дошедшей до нас копией «Сравнения». В этой копии отсутствуют (без замены точками) ст. 9, 15, 18—22, 34—37. Внизу же приписано: «Если б напечатано было в таком виде, то заявление не было бы сделано». В неопубликованном письме к Вяземскому Д. П. Северин писал 2 февраля 1811 г.: «Стихи твои прекрасны, любезный друг, разумеется те, в которых ты сравниваешь Москву с Петербургом, а не помещенные в «Вестнике» в честь Валберховой. . .» (ЦГАЛИ, фонд 195, оп. 1, ед. хр. 2727, л. 24). Стихи Вяземского «Дидоны прелести Вергилий выхваляет. . .» , написанные в честь актрисы М. И. Валберховой, были напечатаны в январском номере «Вестника Европы». Таким образом, стихотворение «Сравнение Петербурга с Москвой» написано не позднее конца 1810 г. (Цитируемое здесь письмо Северина сообщено нам М. И. Гильельсоном.) *Княжнин* Александр Яковлевич (1771—1829) — сын Я. Б. Княжнина, второстепенный драматург. *Ильин* Николай Иванович (1773—1831) — второстепенный драматург. *Шатров* Николай Михайлович (1765—1841) — поэт, член «Беседы», автор духовных песен, переложений псалмов и т. п. *А кучер спит* — относится к Александру I.

«Ага, плутовка мышь, попалась, нет спасенья! . .» (стр. 53). Впервые — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 221. Подпись: «В». Сохранилась авторизованная копия, в которой вместо *Графова* стоит *Хвостова. Графов* — обычное прозвище графомана и члена «Беседы» Дмитрия Ивановича Хвостова (1757—1835), Хвостов писал басни, отсюда — сопоставление с Дмитриевым.

«Тирсис всегда вздыхает...» (стр. 53). Впервые — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 276. Подпись: «В». *Тирсис* — вероятно, П. И. Шаликов. См. о нем примечания к стихотворениям «Отъезд Вздыхалова» и «Первый отдых Вздыхалова».

«Российский Диоген лежит под сею кочкой...» (стр. 54). Впервые — «Собрание русских стихотворений», ч. 5. М., 1811, стр. 241. Подпись: «В». Вероятно, речь идет о С. С. Боброве, умершем в 1810 г. См. примечание к эпиграмме «Быль в преисподней».

Милонову. По прочтении перевода его из Горация (стр. 54). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 19. В ПСС указано, что авторизованная копия стихотворения имеет датировку 1811 г. В ПСС приводится также вариант копии стихотворения, принадлежавшей П. И. Бартеневу. Вместо стихов 5—6:

Когда Шишков, Батый талантов,
Грозит смерть вкусу нанести,
Шихматов из морских сержантов
В Гомеры хочет перейти.
Когда Хвостов, Анастасевич,
Захаров, Шаховской, Станевич...

Адресат стихотворения Михаил Васильевич *Милонов* (1792—1821) — поэт, в начале 1810-х гг. примыкавший к карамзинистам. В 1811 г. Милонов напечатал перевод второго эпода Горация «Похвала сельской жизни». В 1811 г. была основана шишковская «Беседа любителей русского слова». В приведенном выше варианте копии Бартенева Вяземский перечисляет ряд членов «Беседы». *Один с поэмой вздорной.* Возможно, что имеется в виду С. А. Ширинский-Шихматов и его поэма «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». *Другой с комедией снотворной.* Скорее всего Вяземский имеет в виду А. А. Шаховского, который в 1811 г. был автором ряда комедий, в том числе комедии «Новый Стерн», направленной против Карамзина (1804). *Батый* (ум. в 1255) — монгольский хан; нашествие его орд на Русь положило начало татарскому игу.

Отъезд Вздыхалова (стр. 54). Впервые — «Русский архив», 1863, стр. 896. В июне 1814 г. Ю. А. Нелединский-Мелецкий писал Вяземскому: «К великому удовольствию государыни я проговорил ей «С собачкой, с посошком, с лорнеткой...» и проч.» («Русский архив», 1866, стр. 886). Стихотворение, однако, написано, вероятно, еще в 1811 г. 3 апреля 1811 г. Батюшков писал Гнедичу: «Посылаю тебе стихи князя Вяземского на Шаликова, который хотел ехать в Париж. Они очень остры и забавны. В этом роде у нас ничего нет смешнее». Приписка Вяземского: «Кроме, однако, «Леты» вашей, милостивый государь Константин Николаевич!» (К. Н. Батюшков. Сочинения, т. 3. СПб., 1886, стр. 121). Под именем Вздыхалова в произведениях Вяземского фигурирует князь Петр Иванович Шаликов (1768—1852). Поклонник Карамзина, Шаликов довел сентиментализм до нестерпимой слезливости и слащавости.

Он компрометировал все направление и поэтому подвергся беспощадным насмешкам арзамасцев. *Прости, жестокая Аглая.* В 1808—1812 гг. Шаликов издавал журнал «Аглая». Его главными сотрудниками были писатели сентиментального направления *Макаров* Михаил Николаевич (1789—1847) и *Бланк* Борис Карлович (1769—1826). *Стерн* Лауренс (1713—1768) — английский писатель, произведениями которого, особенно «Сентиментальным путешествием», чрезвычайно увлекались русские сентименталисты. Шаликов сам был автором сентиментальных путешествий. *Верн* — речь идет о швейцарском писателе Верне де Люз, Франсуа (1765—1834), авторе книг: «Сентиментальный путешественник, или Моя прогулка в Иверден» (1781) и «Сентиментальный путешественник во Франции при Робеспьере» (1799).

Эпизодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Вздыхалова (стр. 55). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 15, стр. 61. Без подписи. Сохранилась авторизованная копия с рядом разночтений. Вместо стихов от 18 и до конца в авторизованной копии читается:

Великодушно, терпеливо
Покорен он и в этот раз.
И он с душевной пустотою
Пошел, кивая головою,
Как ветром зыблемая ель.
И там, раскинувшись на луге,
Посвистывая на досуге,
От скуки стал щипать щавель.

Это стихотворение непосредственно примыкает к предыдущему; весьма вероятно, что оно написано тогда же. Вяземский, в 1827 г. еще активно сотрудничавший в «Московском телеграфе», вероятно, поместил на его страницах старое стихотворение. В ранней юности Вяземский сам испытал «шаликовские» настроения. В своей автобиографии он рассказывает о том, как однажды на прогулке на Воробьевых горах встретился с крестьянином. «. . . Под сентиментальным наитием Шаликова начал я говорить крестьянину о прелестях природы, о счастии жить на материнском лоне ее и так далее. Собеседник мой, не вкусивший плодов, которыми я обкушался, пучил глаза свои на меня и ничего не отвечал. Наконец спросил я его: доволен ли он участью своею? Отвечал: доволен. Спросил я его: не хотел ли бы он быть барином? Отвечал он: нет, барство мне не нужно. Тут я не выдержал: вынул из кармана пятирублевую синюю ассигнацию, единственный капитал, которым я владел в то время, и отдал ее крестьянину. Долго радовался я впечатлению, которое оставила во мне эта прогулка à la Chalikoff» (ПСС, т. 1, стр. XII). В 1827 г. борьба с шаликовщиной уже не была актуальна. Поэтому Вяземский выпады против Шаликова сочетал с выпадами против Булгарина (Фиглярина). В журнальной публикации «Первому отдыху Вздыхалова» предпослано следующее вступление: «Автор в путешествии своем наезжает на разных путешественников, между прочим на Фиглярина, Вздыхалова и других, и знакомит с ними читателей своих путевых записок. Здесь сообщает он одно приключение из пешеход-

ного странствования Вздыхалова с собачкою своею; в других главах будут описаны: встреча Вздыхалова с Фигляриным и предварительные переговоры союза оборонительного и нападательного, заключенного между ними; военная шутка из мирного странствования Фиглярина по передним и проч. и проч.». *Бижу* — кличка комнатной собачки (по-французски — драгоценность, драгоценная безделушка). *Стерн* — см. стр. 412. *Йорик* — персонаж «Сентиментального путешествия» Стерна. *Селадон* — герой романа «Астрея» французского писателя Юрфе (1568—1625). Это имя стало нарицательным для чувствительного влюбленного. *Гебея* — Геба (греч. миф.), на пирах богов разносила божественный напиток — нектар. *Церера* (римск. миф.) — богиня плодородия и сельской жизни. *Киферея* (греч. миф.) — одно из наименований богини любви Афродиты. *Нежный журнал* — издававшийся Шаликовым журнал «Аглая». *Марабу* — разновидность аиста; перьями марабу дамы украшали прическу. *Он съел свой гриб великодушно.* Съесть гриб — остаться ни при чем, опростоволоситься. *Бавкида.* В греческом мифе о Филемоне и Бавкиде последняя — добродетельная и гостеприимная женщина, живущая простой сельской жизнью.

Друзья нынешнего века (стр. 58). Впервые — «Санкт-Петербургский вестник», 1812, № 5, стр. 166. Подпись: «В. З.». Сохранилась авторизованная копия. Направлено против Павла Ивановича Голенищева-Кутузова (1767—1829). Кутузов — стихотворец, сенатор и попечитель (куратор) Московского университета, занимал позиции крайне реакционные. Даже Карамзина он считал «якобинцем» и писал на него доносы.

К моим друзьям Жуковскому, Батюшкову и Северину (стр. 59). Впервые — «Санкт-Петербургский вестник», 1812, № 8, стр. 153. Подпись: «К. В.». В авторизованном рукописном сборнике 1855 г. (ЛБ. Вяз. 1/1) Вяземский под этим стихотворением приписал: «Писано в Вологде ночью 1812 г.». *Северин* Дмитрий Петрович (1791—1865) — дипломат и дилетант-литератор, был тесно связан с кругом последователей Карамзина; с 1815 г. являлся деятельным участником «Арзамаса». Дружба Вяземского с Севериным завязалась еще в 1805 г. в петербургском иезуитском пансионе патера Чижа, где оба они воспитывались. Приняв участие в Бородинском сражении, Вяземский 1 сентября 1812 г., перед самым вступлением французской армии в Москву, выехал из Москвы в Ярославль, где уже находилась его жена, а оттуда вместе с семьей отправился в Вологду. 7 ноября 1812 г. Вяземский из Вологды писал А. И. Тургеневу: «Ты увидишь в «Петербургском Вестнике» стихи, вылившиеся из души моей в одну из вологодских ночей, в которую я более обыкновенного был удручен мрачными предчувствиями и горестными воспоминаниями. В них услышишь ты голос моего сердца» (О. А., т. 1, стр. 9). В письмах из Вологды Вяземский жалуется на оторванность от друзей («Мы живем здесь в Вологде совершенными изгнанниками. . .» — О. А., т. 1, стр. 4). Жуковский осенью 1812 г. находился в армии, и Вяземский не имел о нем никаких известий. Батюшков уехал в Нижний-Новгород. Северин был включен в состав русской миссии в Мадриде. Он писал Вяземскому о своем отъезде в Испанию (об этом Вяземский упоминает в письме

к А. И. Тургеневу от 16 октября из Вологды, см. О. А., т. 1, стр. 5). *Один из вас в борьбах недуга* и т. д. Возможно, что речь здесь идет о Батюшкове, который болел летом 1812 г.; болезнь долго мешала ему вступить в армию.

Послание к Жуковскому («Итак, мой друг, увидимся мы вновь...») (стр. 60). Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 6. М., 1816, стр. 35. Сохранился автограф с пометами Жуковского. Стих 19 первоначально читался: *Есть ныне край и слез и нищеты.* Жуковский написал на полях: «Жуковский не одобряет «край слез». Стихи 27—30 — правка Жуковского. Первоначально они читались:

Где он, склоня главу на дщери грудь,
Мнил в тишине сном вечности заснуть;
Теперь один рукою молит нищей
Он для себя приюта на кладбище.

Начиная со стиха 36 и до конца Жуковский отчеркнул текст и приписал на полях: «Прекрасно!». Автограф датирован 1813 г. Эта датировка точнее указанной в подзаголовке. Вяземский вернулся из Вологды в Москву в начале 1813 г. Он был поражен разрушениями, причиненными неприятельскими войсками, и бедственным положением населения. Жуковский в это время находился в Белеве. В апреле 1813 г. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу, что он ожидает приезда Жуковского в Москву и в Остафьево (см. О. А., т. 1, стр. 14). *Летит теперь, отмщеньем вдохновенный* и т. д. Возможно, что эти строки относятся к Батюшкову, который в июле 1813 г. отправился в Германию, догоняя русскую армию, уже сражавшуюся там с французами.

К Тиртею славян (стр. 62). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 39. Печ. по авторизованной копии. Стихотворение датируется 1813 г., так как оно явно написано вскоре после смерти М. И. Кутузова. *Тиртей* — греческий поэт VII—VI в. до н. э., своими песнями возбуждавший мужество спартанцев во время второй мессенской войны. *Тиртеем славян* Вяземский называет Жуковского, имея в виду его знаменитое стихотворение «Певец во стане русских воинов», написанное Жуковским в 1812 г. в лагере у села Тарутина. В этом произведении Жуковский воспел русскую армию и ее военачальников, в первую очередь Кутузова, о котором и идет речь в стихотворении Вяземского «Тиртею славян». *О, сколь тебе прекрасен перед строем* и т. д. — перифраза посвященных Кутузову строк из «Певца во стане русских воинов»: «О, сколь с израненным челом Пред строем он прекрасен!» В 1774 г. в сражении при Алуште Кутузов был тяжело ранен в голову и потерял правый глаз. *Внезапно смерть простерла ночи тень.* Кутузов, возглавивший в 1813 г. заграничный поход русской армии, умер 16 апреля 1813 г. в силезском городке Бунцлау. *Обвей свою ты кипарисом лиру.* Кипарис с древнейших времен считался эмблемой печали, траура по умершим.

На некоторую поэму (стр. 63). Впервые — «Благонамеренный», 1821, № 10, стр. 147. Подписано: «Варшава». Сохранилась авторизованная копия. Написано по поводу поэмы А. Н. Грузин-

цева «Спасенная и победоносная Россия в девятом-на-десять веке», вышедшей в 1813 г. с посвящением Александру I. В письме к А. Тургеневу от 29 октября 1813 г. Вяземский сообщает первую редакцию эпиграммы:

Кутузова рукой победной
От дерзких пришлецов Россия спасена,
Но от дурных стихов твоей поэмы бедной,
Ах! не спаслась она!
(О. А., т. 1, стр. 17).

Батый — здесь: Наполеон.

«Картузов — сенатор...» (стр. 63). Впервые — «Русский архив», 1866, стр. 489. Сохранился автограф. Направлено против П. И. Голенищева-Кутузова. См. примечание к эпиграмме «Друзья нынешнего века». По поводу этой эпиграммы Д. Дашков писал Вяземскому 19 декабря 1813 г.: «Эпиграмма отправилась тотчас путешествовать по Петербургу под фирмою: *Из Катулла,* чему в Беоции нашей многие добродушно поверят, — и я постараюсь доставить ее самому Картузову через какого-нибудь масона в полном собрании ложи. Ручаюсь вам, что скоро все здешние попугаи будут кричать из окошек «Картузов-куратор» («Русский архив», 1866, стр. 491—492).

К партизану-поэту («Анакреон под дуломаном...») (стр. 63). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 2, стр. 27. Обращено к Д. В. Давыдову, который в 1812 г. прославился как выдающийся организатор партизанской войны. Это первое из дошедших до нас стихотворных обращений Вяземского к Давыдову. И в этом послании, и в последующих Вяземский рисует тот образ, который Давыдов сам создавал в своей лирике, а позднее окончательно закрепил в своей «Автобиографии», появившейся в 1832 г. Это образ лихого гусара и поэта, довольствующегося «рукописною или карманною славой». Следует помнить, что в поэтизации гусарских кутежей и дружеских пиров читатель того времени угадывал оттенок оппозиционности против бюрократической казенщины и ханжеской официально-церковной морали. В 1825 г. Вяземский напечатал в «Московском телеграфе» статью «О разборе трех статей, помещенных в Записках Наполеона» (ПСС, т. 1, стр. 193—197). Автором этого «Разбора» был Д. Давыдов. В своей небольшой статье Вяземский отмечает заслуги Давыдова-партизана и дает высокую оценку Давыдову-прозаику. *Анакреон* (VI—V вв. до н. э.) — греческий лирик, воспевавший любовь и пиры. В новой поэзии, в частности в русской поэзии XVIII — начала XIX вв., небольшие, легкие стихотворения, в которых шла речь о любви и вине, стали называться «анакреонтическими». *Дуломан* (доломан) — гусарская куртка. *Ты с лирой, саблей иль стаканом.* К последнему слову этого стиха в «Новостях литературы» сделано подстрочное примечание: «Поэт под сим словом разумеет острые шутки и веселость в дружеском пиру, умеренно приправленные тем напитком, который веселит сердце человека. Прим. издат.». *Георгия приятно зреть.* За боевые действия во время Отечественной войны Давыдов был награжден Георгиевским крестом четвертой степени.

К партизану-поэту («Давыдов, баловень счастливый. . .») (стр. 64). Впервые — «Амфион», 1815, № 4, стр. 71. Обращено к Д. В. Давыдову. См. примечание к предыдущему стихотворению. Стихотворение, опубликованное в апрельском номере «Амфиона», написано, очевидно, во второй половине 1814 г. (Давыдов вернулся из заграничных походов в мае 1814 г.) или в начале 1815. В послании говорится о служебных неудачах Давыдова. Боевого офицера Вяземский противопоставляет карьеристам и военным бюрократам. Военно-придворная бюрократия сводила счеты с Давыдовым, резко критиковавшим порядки, насаждаемые ею в армии, и принадлежавшим к оппозиционному кругу А. П. Ермолова. Давыдов впоследствии утверждал, что «в течение сорокалетнего, довольно блистательного военного поприща был сто раз обойден, часто притесняем и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловредными. . .» (Д. Давыдов. Военные записки. М., 1940, стр. 16). Чин генерал-майора, которого он долго добивался, Давыдов получил наконец в 1815 г. *Не той волшебницы слепой* (первоначально: *Не потаскушки той слепой. . .*) и т. д. Вяземский имеет в виду Фортуну (римск. миф.), богиню счастливого случая, удачи. Фортуна изображалась в виде женщины с повязкой на глазах. *Пусть грудь твоя, противным страх* и т. д. Речь здесь идет о том, что Давыдова обошли орденами. *Аи* — марка шампанского. *Бурцов* Алексей Петрович (ум. в 1813 г.) — сослуживец Давыдова по Белорусскому гусарскому полку, воспетый им в нескольких стихотворениях. Бурцов пользовался широкой известностью среди военной молодежи. Современник писал о нем, что он «величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга из всех гусарских поручиков» (С. П. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 74). В примечании к этому месту «Записок современника» Жихарева Б. М. Эйхенбаум сообщает, что в экземпляре «Записок», принадлежавшем Соболевскому, на полях рукой П. И. Бартенева сделана относящаяся к Бурцову приписка: «Умер в 1813 году, вследствие пари, заключенного в пьяном виде. Наскакал со всего бегу на околицу и разбил себе череп» (там же, стр. 706).

К друзьям («Гонители моей невинной лени. . .») (стр. 66). Впервые — «Российский музеум», 1815, № 2, стр. 132. Стихотворение написано не ранее мая 1814 г., так как Вяземский упоминает в нем о своей «Надписи к бюсту императора Александра I». Это четверостишие было сочинено к празднеству, устроенному в Москве 19 мая 1814 г. по случаю взятия Парижа и опубликовано в том же году в посвященной этому празднеству брошюре. Вместе с тем настоящее послание, напечатанное в февральском номере журнала, не могло быть написано позднее самого начала 1815 г. Это стихотворение, являющееся своего рода декларацией литературного дилетантизма, обращено к Жуковскому и Батюшкову, призывавшим Вяземского к более систематическому литературному труду. На это произведение Жуковский откликнулся посланием «К Вяземскому (Ответ на его послание к друзьям)», напечатанным в следующем (третьем) номере «Российского музеума». Жуковский в своем послании говорит о величии поэтического призвания и характеризует Вяземского как истинного поэта; начинается оно стихами:

Ты, Вяземский, хитрец, хотя ты и поэт!
Проблему, что в тебе ни крошки дара нет,
Ты вздумал доказать посланьем,
В котором, на беду, стих каждый заклеймен
Высоким дарованьем!

Быть может, с похвалой воспел царя-героя и т. д. Вяземский имеет в виду упомянутое выше четверостишие: «Муж твердый в бедствиях и скромный победитель. Какой венец ему? Какой алтарь? Вселенная! Пади пред ним, он твой спаситель; Россия! Им гордись: он сын твой, он твой царь!» *Пиндар* (521—441 до н. э.) — древнегреческий поэт, прославившийся возвышенными одами. Лже-Пиндарами Вяземский называет напыщенных одописцев, воспевавших Александра I. *И мать счастливая увенчанного сына* и т. д. — мать Александра I, императрица Мария Федоровна, которая с одобрением отозвалась о «Надписи» Вяземского. *И Рубан при одном стихе вошел в храм славы.* Рубан, Василий Григорьевич (1742—1795) — плодовитый писатель и переводчик; известен был современникам главным образом своими рукописными «подносными» одами, в которых он выпрашивал подачки у «знатных особ». Под стихом, с которым Рубан «вошел в храм славы», Вяземский явно подразумевает рубановскую «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи Петра Великого», начинавшуюся строкой: «Колосс Родосский! свой смири прегордый вид». *Гашпар* — герой ирои-комической поэмы А. Шаховского «Расхищенные шубы». Арзамасцы прозвали Гашпаром самого Шаховского. *Скюдери* — Жорж Скюдери (1601—1667), автор многочисленных и посредственных пьес в духе раннего французского классицизма, и его сестра Мадлена Скюдери (1607—1701), чьи многотомные, в жеманной манере написанные романы пользовались успехом у современников, но впоследствии вызывали ироническое отношение.

К подушке Филлиды (стр. 68). Впервые — «Амфион», 1815, № 3, стр. 71. *Филлида* — имя, встречающееся в античной поэзии, откуда оно перешло в поэзию французского классицизма и в элегическую и анакреонтическую лирику начала XIX в. *Элеонора.* Это имя, вероятно, подсказано Вяземскому знаменитыми «Эротическими стихотворениями» Парни (1778), в которых возлюбленная поэта Эстер Трусайль воспета под именем Элеоноры.

Весеннее утро (стр. 70). Впервые — «Амфион», 1815, № 10—11, стр. 129. *Аргус* (греч. миф.) — многоглазый великан, которого ревнивая Гера, жена Зевса, приставила стражем к своей сопернице Ио. *Дафна* — возлюбленная Аполлона, превращенная в лавровое дерево. У Вяземского это здесь, очевидно, условное поэтическое имя, какие были в ходу у лириков XVIII и начала XIX вв.

К друзьям («Кинем печали!..») (стр. 71). Впервые — «Российский музеум», 1815, № 9, стр. 264. Подпись: «В ***». Возможно, что размер этого стихотворения (двустопный дактиль с женской и мужской рифмой) подсказан Вяземскому знаменитой «Пуншевой песнью» Шиллера. В 1816 г. Пушкин тем же размером

(с иным, чем у Вяземского, чередованием рифм) написал «Заздравный кубок».

Когда? Когда? (стр. 72). Впервые — «Российский музеум», 1815, № 9, стр. 261. Подпись: «В ***». *Когда утихнут дни волненья* и т. д. По-видимому, в первой строфе идет речь о международных событиях 1812—1815 гг. *Неверных злобная орда.* Вяземский, очевидно, имеет в виду тех литераторов (членов «Беседы» и др.), с которыми вели борьбу арзамасцы.

«Кто вождь у нас невеждам и педантам...» (стр. 73). Впервые опубликовано В. Нечаевой в «Избранных стихотворениях», стр. 405. Печ. по автографу, который охватывает ряд эпиграмм, написанных не позднее 1815 г. В автографе против 3—4 стиха рукой Жуковского написано: «Дурно, потому что несправедливо». Против 5—6 стиха — «Не только несправедливо, но и дурно». Эпиграмма направлена против Александра Семеновича Шишкова (1754—1841). См. о нем вступительную статью.

Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги (стр. 73). Эпиграммы 6-я, 7-я, 9-я этого цикла впервые — «Российский музеум», 1815, № 12, стр. 234—235. Подпись: «В». Остальное печ. по авторизованной копии. В том числе и эпиграммы 5-я и 8-я, напечатанные в «Летописи русского театра», сост. П. Араповым, СПб., 1861, стр. 240, поскольку публикация в «Летописи» не авторская. В копии против 2-й эпиграммы рукой Жуковского написано: «Нехорошо». Адресат этого эпиграмматического цикла — Александр Александрович Шаховской (1777—1846), драматург и режиссер, игравший видную роль в театральной жизни 1800—1810 гг. Член «Беседы», литературный враг Карамзина и его последователей, Шаховской подвергался ожесточенным нападкам арзамасцев. В эпиграмматическом цикле упоминается ряд произведений Шаховского: комедии «Коварный», «Новый Стерн», осмеивавшая Карамзина, «Полубарские затеи», «Китайская сирота», переделка пьесы Вольтера, ирои-комическая поэма «Расхищенные шубы», «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Последняя комедия, в которой Жуковский был осмеян под именем Фиалкина, вызвала особое возмущение арзамасцев. *Трагедией ты зрителя смешишь.* Речь идет о скандальном провале единственной трагедии Шаховского «Дебора» (1810). *Соседов ссорил* — намек на комедию Шаховского «Ссора, или Два соседа». *Убийца сироты.* Переделку пьесы Вольтера постигла полная сценическая неудача.

К подруге (стр. 75). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 95. Печ. по копии с авторской правкой. Сохранился более ранний автограф с пометами Жуковского. Против некоторых стихов Жуковский отмечает: «Прекрасно!», «Превосходно!» Стихи:

И вечных болтунов,
С злословьем неразлучных

Жуковский предлагает заменить:

И злых вестовщиков

Против стихов:

О милая подруга!
Укроемся со мной

написано: «Я думаю, здесь надобно бы точно сказать, куда укроемся».
Против стихов:

Уже воображенье
Сближает отдаленье

написано: «Это нехорошо. Что такое сближает отдаленье?»
Против стихов:

И тишины любитель,
И младости моей

написано: «Эти два *и* мне скребут душу».
Против относящегося к Жуковскому стиха *Балладою ужасной* написано: «Не выдавай меня за ужа».
Послание обращено к жене поэта Вере Федоровне Вяземской, рожд. княжне Гагариной (1790—1886). Вяземский женился на ней в 1811 г. В письме от 13 июня 1813 г. Батюшков писал Вяземскому: «Я с нетерпением буду ожидать послания к княгине...» Нет, однако, оснований утверждать, что подобное послание действительно было тогда написано и что речь шла именно о послании «От шума, от раздоров...» В то же время имеется письмо Батюшкова к Вяземскому от 1815 г. с подробным разбором послания «К подруге». Послание, очевидно, и написано в 1815 г. Эта датировка подтверждается тем обстоятельством, что в послании идет речь о приезде в Остафьево Батюшкова. Именно в 1815 г. Вяземский, не видевшийся с Батюшковым со времени войны, поджидал его из Каменец-Подольска (Батюшков состоял там на службе) в Москву и в Остафьево. 19 ноября 1815 г. Батюшков пишет Гнедичу: «Вяземский пишет ко мне; он приготовил мне комнаты; я воспользуюсь его приглашением и гостеприимством месяца на три, т. е. до весны...» (К. Н. Батюшков. Сочинения, т. 3. СПб., 1886, стр. 352). В упомянутом письме к Вяземскому от 1815 г. Батюшков писал: «О, милая подруга... Если б ты меня звал под свой кров и написал в разговоре столько эпитетов, то я, верно бы, не пошел. Бога ради, это поправь! Вообрази себе, что к р о в р о д н о й — этого довольно, а еще у е д и н е н н ы й и п р о с т о й; с ч а с т л и в ы й — этого мало, но еще — г д е с ч а с т ь е н е и з м е н н о! Замени это живописными стихами... Я говорю, что ты здесь в первый раз поэт и не гоняешься за умом... Противоположение счастья домашнего с шумом и суетой света очень удачны... То, что ты говоришь о Жуковском, не очень счастливо... И что значит:

«Наперсник ведьм и граций!»

Ведьм! Не лучше ли фей? Перемени это. Конец весь прекрасен...» (К. Н. Батюшков. Сочинения, т. 3. СПб., 1886, стр. 312). *От жалких пастушков* и т. д. Речь идет о поэзии сентиментализма, выродившейся в альбомно-мадригальный стиль. *Кров родной* — родовое

имение Остафьево. *Но в вихре юных лет Нас горе испытало.* В августе 1814 г. у Вяземских умер двухлетний сын Андрей. Вяземский, очевидно, имеет также в виду войну 1812 г., принудившую его с семьей покинуть Москву; наконец, пошатнувшееся материальное благосостояние — результат огромных проигрышей в карты. *Бессмертный Клии сын* — Карамзин (Клия — муза истории). *Как самый Громобой.* В этой и предыдущих строках речь идет о Жуковском. Громобой — герой баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев». *Цитера* — остров греческого архипелага, где находился храм, посвященный Афродите. *Тибулл наш сладкогласный* — Батюшков (Тибулл — римский элегический поэт I в. до н. э.). *Книда* — древний город в Малой Азии, где находился храм Венеры. *Тибур* — древний город близ Рима; в его окрестностях находилась вилла Горация. *Эпикур* (IV—III в. до н. э.) — греческий философ, учивший, что целью жизни является наслаждение, в основном интеллектуальное и эстетическое.

В альбом Неелову (стр. 79). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 105. Печ. по авторизованной копии, датированной 1815 г. Стихотворение обращено к Сергею Алексеевичу Неелову (1779—1852). В «Старой записной книжке» Вяземский впоследствии вспоминал: «Неелов — основатель стихотворческой школы, последователями коей были Мятлев и Соболевский... В течение едва ли не полувека малейшее житейское событие в Москве имело в нем присяжного песнопевца. Шуточные и сатирические стихи его были почти всегда неправильны, но зато всегда забавны, остры и метки. В обществе, в Английском клубе, на балах он по горячим следам импровизировал свои четверостишия. Жаль, что многие, лучшие из них, не укладываются в печатный станок» (ПСС, т. 8, стр. 158—159). Неелов очень дорожил связями с литераторами Дмитриевым, В. Пушкиным, Вяземским и гордился своей независимой жизнью московского барина и литературного дилетанта. Стариком уже он писал:

Я семь андреевских в родстве своем имел,
И всякий был из них правителем начальства.
Чрез них, как и другой, я мог бы быть в чинах,
В крестах,
В местах,
Но не хотел
Из моего оригинальства.
Я независимость раненько полюбил,
И не служил.
К тому же я в душе поэт,
Всегда свободой восхищался,
И до семидесяти лет
Корнетом гвардии, не сетуя, остался.

Краткие биографические сведения о Неелове можно найти в посвященной ему заметке М. Гершензона, который опубликовал некоторое количество стихотворений Неелова (в том числе два послания к Вяземскому). См. «Русские пропилеи», т. 2. М., 1916, стр. 1—19. *Вздыхалов томный* — П. И. Шаликов. См. о нем стр. 411.

Ответ на послание Василью Львовичу Пушкину (стр. 80). Впервые — «Российский музеум», 1815, № 3, стр. 261. В предыдущем номере «Российского музеума» было напечатано «Послание к кн. Петру Андреевичу Вяземскому» В. Л. Пушкина. В нем автор сетовал по поводу судьбы истинных талантов, преследуемых невежественными и злонамеренными «зоилами», — их жертвой стали Карамзин, Озеров, сам В. Л. Пушкин. К стихотворной переписке между Вяземским и В. Л. Пушкиным присоединился Жуковский, обратившийся к ним с тремя посланиями. В первом из них — оно было напечатано в том же году, в шестом номере «Российского музеума» — Жуковский призывал друзей не обращать внимания на суд «толпы» и писать для «избранных» и для потомства. Второе послание Жуковского содержит стилистический разбор послания Вяземского к В. Л. Пушкину; в третьем он как бы подводит итоги всей этой поэтической переписке. Второе и третье послания были опубликованы только в 1866 г. в «Русском архиве». *Ливий* Тит (59—17 до н. э.) — римский историк. *Не примечая их, наказывает он* и т. д. — Карамзин твердо придерживался правила не отвечать в печати на выпады своих противников.

«На степени вельмож Сперанский был мне чужд...» (стр. 81). Впервые — О. А., т. 1, стр. 358. Печ. по автографу письма Вяземского к Тургеневу. В 1812 г. реакционные круги добились ссылки М. М. Сперанского. Полная опала Сперанского продолжалась до 1816 г., когда он был назначен пензенским губернатором; в марте 1819 г. — сибирским генерал-губернатором. За этот период Сперанский отошел от своих прежних либеральных позиций и, в частности, сблизился с представителями официального мистицизма 1810-х гг. 22 ноября 1819 г. (уже после назначения Сперанского губернатором) Вяземский писал А. Тургеневу: «Меня тошнит от Фомы Кемпийского, то есть от переводчика его (в 1819 г. Сперанский выпустил перевод «Подражания Христу» Фомы Кемпийского. — *Л. Г.*). Я не прощаю людям, которые заставляют меня переменить о них мнение. Я этого человека хотел уважать. Знаешь ли стихи, которые вырвались у меня, проезжая мимо его новгородской деревни; он уже тогда библейничал (следует текст эпиграммы. — *Л. Г.*). Он поставил в дураки своего Фому, который говорил: «Человек имеет два крила, на коих может воспарить от вещей земных: простоту и чистоту». Он навязал себе два лучшие крила: ханжество и подлость. Как можно себя унизить до такой степени, чтобы промышлять этою дрянью; и как можно унизить людей до того, чтобы требовать от них такие дурачества!» (О. А., т. 1, стр. 358). Это письмо позволяет датировать эпиграмму периодом между 1814—1816 гг., так как именно в эти годы Сперанский находился в ссылке в своей новгородской деревне.

Вечер на Волге (стр. 81). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 28, стр. 81. В авторизованном рукописном сборнике 1855 г. (ЛБ. Вяз. 1/1) к этому стихотворению имеется авторская приписка: «Внести в „Дорогу“, так же как и „Утро на Волге“». Авторская датировка 1816 г. внушает сомнения в связи с тем, что 1815 г. датировано стихотворное послание Жуковского «К кн. Вяземскому», посвященное разбору «Вечера на Волге». Возможно, однако, что

это послание неточно датировано издателями сочинений Жуковского. Разбор «Вечера» в упомянутом послании Жуковского чрезвычайно характерен для арзамасской стилистической критики с ее требованиями точности, логической ясности и следования нормам «хорошего вкуса» (об этом послании см. также во вступительной статье). Жуковский отмечает, что стихи Вяземского он обсуждал вместе с Тургеневым, Гнедичем, Блудовым и Дашковым. Впечатления Вяземского от волжских пейзажей, вероятно, связаны с его поездками в Костромскую губернию, где ему принадлежало с. Красное. *Державин, Нестор муз, и мудрый Карамзин, И Дмитриев, харит счастливый обожатель.* Все три писателя были уроженцами Поволжья. Мудрый Нестор — действующее лицо «Илиады» Гомера, старейший из участников Троянской войны. Называя престарелого Державина «Нестором муз», Вяземский подчеркивает его роль патриарха русских поэтов.

Погреб (стр. 83). Впервые — «Вестник Европы», 1816, № 17, стр. 11. Подпись: «К. В-й». *Когда ковша он славил дщерь.* Вяземский имеет в виду стихотворение Державина «Кружка» (печаталось также под заглавием «Застольная песня»). Вторая строфа «Кружки» начинается строками: «Ты дщерь великого ковша, Которым предки наши пили». *Мелецкий* — Ю. А. Нелединский-Мелецкий, см. о нем стр. 425. *Шолье* Гильом (1637—1720) — французский поэт, автор непринужденных дружеских посланий, стихов в анакреонтическом роде и т. п. *Пиндар наш.* О Пиндаре см. стр. 417; Пиндаром, то есть возвышенным одописцем, Вяземский, вероятно, называет здесь Ломоносова.

К овечкам (стр. 85). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 131. Печ. по авторизованной копии. Копия датируется 1816 г. *Теокрит* (Феокрит, IV в. до н. э.) — греческий поэт, автор идиллий, воспевающих сельскую жизнь.

Обжорство (стр. 85). Впервые — «Русский архив», 1866, № 3, стр. 484. «Эти притчи, — писал Вяземский в пояснительной заметке к публикации «Литературные арзамасские шалости», — писаны в подражание, и, сказать можно без хвастовства, довольно удачно, притчам графа Хвостова, особенно тем, которые заключаются в первом издании (речь идет об издании 1802 г. «Избранные притчи гр. Д. Хвостова». — *Л. Г.*)... Эта книга была нашею настольною и потешною книгою в «Арзамасе». Жуковский всегда держал ее при себе и черпал в ней нередко свои арзамасские вдохновения. Она послужила ему и темою для вступительной речи при назначении его членом арзамасского общества» («Русский архив», 1866, стр. 478—479). Пародия написана, вероятно, не позднее 1816 г. Упомянутая Вяземским речь Жуковского была произнесена 11 ноября 1815 г. Вторая часть ее вся построена на цитировании нелепых выражений из притчей Хвостова. См. «Арзамас и арзамасские протоколы», Л., 1933, стр. 107—109. В частности, и Жуковский и Вяземский использовали притчу «Осел и рябина».

«Зачем Фемиды лик ваятели, пииты...» (стр. 86). Впервые опубликовано В. Нечаевой в «Избранных стихотворениях»,

стр. 394. Печ. по авторизованной копии. Копия датируется 1816 г. *Фемида* (греч. миф.) — богиня правосудия.

К Батюшкову («Мой милый, мой поэт...») (стр. 86). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 100. Печ. по копии с авторской правкой. Сохранился более ранний автограф с пометками автора, Жуковского и Воейкова. Стих *Расколом к смертной казни* в автографе читается: *«Беседой» к смертной казни.* Против стиха *Труд тысячи людей* пометка Воейкова: «Труд трудный стихотворца виден». К стихам:

И ломких столь и бренных,
Как счастье прилепленных
К их блеску богачей —

помета автора: «Мне кажется, что столь лишнее». Эти три стиха отчеркнуты, и рукою Воейкова написано: «Жуковский вопит: браво!» Против стиха *Сей сволочи бездумной* написано той же рукой: «Воейков говорит: низко, а Жуковский говорит: хорошо». Против стиха *Прельщенных жертв своих* рукой Воейкова: «Надобно: прельщенные жертвы свои. Просим почаще кушать грамматику и синтаксис». Против стиха *В условленный пусть срок* рукой Жуковского: «Дурен стих, очень груб» и т. д. В 1811 г. Батюшков своим знаменитым посланием «Мои пенаты» создал в русской поэзии традицию дружеских посланий (написанных трехстопным хореем), воспевающих независимость, «сладостное безделье», эпикуреизм. Послание Вяземского «К Батюшкову» написано по этому образцу, но написано значительно позднее. В послании идет речь о встрече друзей у Батюшкова в Москве. Батюшков уехал из Москвы в 1811 г. К этому периоду послание никак не может относиться, так как в нем говорится о возвращении Северина из Англии, что имело место в 1814 г. Следовательно, послание связано со следующим пребыванием Батюшкова в Москве — в 1816 г. Этим годом мы его и датируем. *Тибурские рощи* — см. стр. 420. *Виргилий* (I в. до н. э.) — римский поэт. *Друг Делии* — римский поэт Тибулл (I в. до н. э.), воспевавший в элегиях свою возлюбленную Делию. *И староста Пафоса* и т. д. Речь идет об Анакреоне. Пафос — город на Кипре, в греческой мифологии местопребывание Афродиты. *Теос* — малоазиатский город, родина Анакреона. *Селадон* — см. стр. 413. *Пиндар* — см. стр. 417. *Белева мирный житель.* Жуковский родился в Белевском уезде Тульской губернии и много времени проводил в своих родных местах. *Эпиктет* (I в. до н. э.) — римский философ-стоик, проповедовавший равнодушие к земным благам и бедствиям. *Здесь с берега свободы* и т. д. Д. П. Северин, состоявший за границей на дипломатической службе; в 1814 г. вернулся из Англии. *Радклиф* Анна (1764—1823) — английская писательница; ее романы, наполненные ужасами и тайнами, имели в свое время большой успех. *Катулл* (I век до н. э.) — римский лирик. *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — в молодости либерал и член «Арзамаса», впоследствии крупный бюрократ и усердный исполнитель предначертаний Николая I. *Слепая богиня* — Фортуна (римск. миф.), богиня случая.

К перу моему (стр. 90). Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 5, М., 1816, стр. 71. Стихотворение было прочитано автором на публичном заседании Общества любителей российской словесности 29 апреля 1816 г. В письме Вяземского А. Тургеневу от апреля 1816 г. Батюшков сделал приписку: «...Его «Послание к перу» никогда не умрет. О, какой талант!» (О. А., т. 1, стр. 43). Стихотворение представляет собой вариацию на разработанную в VII сатире Буало тему судьбы поэта-сатирика. *Вздыхалов.* См. стр. 411. *Талия* — муза комедии. *Мельпомена* — муза трагедии. *Мидас* (греч. миф.) — фригийский царь, за невежественные суждения об искусстве награжденный Аполлоном ослиными ушами. *Аруег* — настоящая фамилия Вольтера. *Несчастия от муз не отучили Тасса.* Тассо, Торквато (1544—1595) — итальянский поэт. По приказанию герцога Феррарского Тассо был объявлен сумасшедшим и заключен в госпиталь, где его продержали семь лет. Во время заключения и после освобождения Тассо продолжал писать. *Бавий* (I в. до н. э.) — римский поэт, противник Горация и Виргилия. Здесь употреблено как нарицательное обозначение писателя-завистника.

К Огаревой (стр. 94). Впервые — «Сын отечества», 1816, № 16, стр. 141. Подпись: «В». Адресат стихотворения был установлен авторской пометой на рукописи, до нас не дошедшей (ПСС, т. 3, примеч., стр. III). Елизавета Сергеевна *Огарева,* рожд. Новосильцева (1786—1870), была образованной женщиной, ценительницей литературы. Муж ее, сенатор Н. И. Огарев, пользовался расположением Карамзина. В Царском Селе у Карамзина летом 1816 г. с Огаревой встречался Пушкин, написавший тогда же «Экспромт на Огареву», а в 1817 г. стихотворение «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада». Стихотворение Вяземского скорее всего написано в 1816 г., во время полуторамесячного пребывания Вяземского в Петербурге (февраль — половина марта), когда Вяземский, очевидно, встречался с Огаревой у Карамзиных. В этот период Вяземский посетил несколько заседаний «Арзамаса» и постоянно общался с арзамасцами. Арзамасские настроения и интересы отразились в настоящем стихотворении, направленном против столпов шишковской «Беседы». *Гашпар* — см. стр. 417. Вяземский иронически утверждает, что Шаховской в качестве автора комедий соперничает с меланхолическим английским поэтом Эдуардом *Юнгом* (1681—1765), а в качестве автора трагедий с французским писателем Полем *Скарроном* (1610—1660), писавшим комедии, а также поэмы и романы в бурлескном роде. *Маковый венок* — здесь символ снотворности; снотворные свойства мака известны были с древнейших времен. *Сей старец-юноша, певец-Анакреон* и т. д. Вяземский имеет в виду переводы Анакреона, изданные в 1801 г. И. И. Мартыновым. *Что Сафе нового Фаона бог привел* и т. д. По преданию, греческая поэтесса Сафо (VII—VI в. до н. э.) покончила с собой из-за неразделенной любви к юноше Фаону. Стихи Сафо переводил член «Беседы» П. И. Голенищев-Кутузов (1767—1829), он же перевел «Сельское кладбище» английского элегического поэта Томаса *Грея* (1716—1771). *Водой своих стихов Вольтера соль развел.* Член «Бе-

седы» П. М. Карабанов (1765—1829) перевел трагедию Вольтера «Альзира». *Мелецкий* — Нелединский-Мелецкий, Юрий Александрович (1751—1828), сенатор и поэт-дилетант, близкий к направлению Карамзина и Дмитриева.

Д. В. Давыдову («Давыдов! где ты? что ты? сроду...») (стр. 95). Впервые — альм. «Урания», 1826, стр. 40. Сохранился автограф; начиная с 31-го стиха автограф дает редакцию, значительно отличающуюся от текста, напечатанного в 1826 г.:

Будь счастлив с постояльцем новым!
Но берегись, чтоб наконец
К тебе хозяином суровым
Не обратился твой жилец.
Иль, может быть, любовь и дружбу,
Сих двух житейских побродяг,
Ты презрел для небесных благ,
Вступив в мистическую службу?
Чем не пошутит хитрый враг?
Уж верить ли моим гаданьям?
Сказав «прости» очарованьям,
Назло пленительных грехов,
И упоительным мечтаньям
Весны, веселий и стихов,
Любви призыву ты не внемлешь,
Но в клире набожных певцов,
Ковач благочестивых строф,
Псалтырь славянскую приемлешь
И мысленно заране дремлешь
В академических венках.
В твоем камине на кострах
Пылает сатаны угодник,
Походов девственных певец,
Теоса мудрый греховодник
И соблазнительный мудрец,
Наставник счастия Гораций;
И окаянного Парни,
Причастника единых граций,
Ты променял во оны дни
На житие церковных дедов;
Постясь в монашеской сени,
Не знаешь жирных мясоедов,
Ни шумных дружеских обедов,
Ни тайных ужинов вдвоем,
И, следуя примерам общим,
Ханжишь, слывя живым усопшим,
С собой, с людьми и с божеством.
Или... но расстаюсь с пером.
Изобретательному гневу
И стихотворному напеву
Пора мне положить конец!
Ты будь гусар или чернец,

Любви отступник или жрец,
Или шалун неугомонный,
Иль сонный член «Беседы» сонной —
До этого мне дела нет...

Последние четыре строки — как в печатном тексте. Кроме того, ст. 18 читается *Или как полный генерал.* Рукописный вариант является памфлетом — гораздо более резким, нежели окончательный — против шишковской «Беседы» и против официального мистицизма 1810-х гг. Вместо Богдановича окончательной редакции *(Роскошной Душеньки певец)* в рукописной упоминается Вольтер в качестве автора антиклерикальной поэмы «Орлеанская девственница» *(Сатаны угодник, Походов девственных певец).* Автограф подвергся авторской правке, явно имевшей целью смягчить стихотворение и приспособить его для печати. *Мистическую* заменено *стоическую; набожных — нравственных* и т. п. Эту правку Вяземский не довел до конца и впоследствии для печати создал новую редакцию послания, более завершенную и обработанную, которую поэтому мы и приняли в качестве основной. Она настолько отличается от первоначальной, что невозможно механически освободить ее от смягчений, сделанных ввиду цензуры. *Давыдов! где ты? что ты?* В 1816 г. служебные обязанности удерживали Давыдова на Украине. *Или, перенимая моду* и т. д. Эта строка и следующие восемь являются пародией на стиль поэтов-сентименталистов шаликовского толка, в первую очередь на обязательные перифразы: вместо дважды наступала весна — *Май два раза природу Зеленым бархатом постлал* и т. д., *Но в клире нравственных певцов* и т. д. *Упоительным мечтаньям.* 14 октября 1823 г. Пушкин писал Вяземскому по поводу «Кавказского пленника»: «Упоительным мечтам. Твоя от твоих: помнишь свое прелестное послание Давыдову?» *Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807) — после Сумарокова самый видный представитель русского классицизма. Поэзия Хераскова отличалась подчеркнутой нравоучительностью. *Душеньки певец* — Богданович, Ипполит Федорович (1743—1802). Поэма Богдановича «Душенька», в которой он руссифицировал античный миф о любви Амура и Психеи, оказала большое влияние на развитие поэзии русского сентиментализма. *Теоса мудрый греховодник* — Анакреон (о нем см. стр. 415). *Парни* Эварист Дефорж (1753—1814) — французский поэт, прославившийся своей эротически-элегической лирикой. Русские поэты начала XIX в., в том числе и молодой Пушкин, увлекались поэзией Парни. *Не испугавшись Мольера* и т. д. Речь идет о комедии Мольера «Тартюф», направленной против ханжей и лицемеров. *Бурцов* — см. стр. 416.

К итальянцу, возвращающемуся в отечество (стр. 97). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 27, стр. 38. Авторская датировка 1816 г. Адресат этого стихотворения не установлен.

«Когда беседникам Державин пред концом...» (стр. 98). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 334. Печ. по автографу. Заседания «Беседы» происходили в доме Державина на Фонтанке. По соседству с домом Державина помещалась больница для умали-

шенных. Эпиграмма датируется предположительно по году смерти Державина (1816).

«Спасителя рожденьем...» (стр. 98). Впервые — неисправно «Искра», 1870, № 49, стр. 1539. По другому списку — «Русский архив», 1896, вып. 7, стр. 403. Печ. по копии А. И. Тургенева. В «Искре» стихотворение, напечатанное под заглавием «Святки», по крайне неисправному списку (искаженный текст Вяземского, очевидно, соединен с отрывками из ноэлей других авторов), приписано Д. П. Горчакову. П. Бартенев напечатал в «Русском архиве» ноэль без имени автора, под заглавием «Старинная сатира» и со следующим примечанием: «Писано не позже 1815 года. Печатается (с небольшими, по необходимости, изменениями и опущениями) по списку руки А. И. Тургенева; некоторые намеки остаются для нас непонятными». В «Русском архиве» начало ноэля читается:

Амурчика рожденьем
Встревожился народ,
К Венере с поздравленьем..

Подобные цензурные изменения проведены через весь текст, в остальном довольно исправный. Из дошедших до нас текстов ноэля наиболее авторитетным несомненно является список Тургенева (В «Избранных стихотворениях» ноэль напечатан по неисправному тексту «Нового рукописного сборника»), ближайшего друга Вяземского, которому последний сразу сообщал все написанное. На этом списке сделана надпись: «Стихи князя Вяземского, писаны рукою А. И. Тургенева». Заглавие отсутствует. Вместо того сверху написано: «De Jesus la naissance» («Рождение Иисуса»). К тому же первоисточнику, что список Тургенева, явно восходит и список, хранящийся в Библиотеке имени Ленина; в нем имеются лишь незначительные разночтения и отсутствует строфа, посвященная Филарету (несколько строф из этого списка напечатаны в сообщении И. Кудрявцева «Рукописи, поступившие в 1954 г.» Государственная библиотека СССР имени Ленина, «Записки Отдела рукописей», вып. 17, М., 1955). Принадлежность ноэля Вяземскому не вызывает сомнений. Сатирику Д. Горчакову (1758—1824) приписывался ряд чужих произведений, в том числе и «Гавриилиада» Пушкина. К списку Тургенева с надписью — другой рукой — «Стихи князя Вяземского..» можно прибавить следующие несомненные свидетельства авторства Вяземского. В письме от 18 сентября 1817 г. А. Тургенев цитирует вторую строфу ноэля в следующем контексте: «...Не могу я скрыть от вашего сиятельства, что когда речь зашла о почтенном имени вашем, то, чтобы объяснить, кто вы, вместо ответа одна из жертв вашего остроумия запела:

Мы, право, право, ничего etc.

и дальнейшее объяснение не было уже нужно для слушателей» (О. А., т. 2, стр. 87). В письме к Тургеневу от октября 1828 г. Вяземский сам цитирует вариант 14-й строфы ноэля в контексте, не оставляющем никаких сомнений: «И не правду ли отгадал я в своем ноэле, когда заставил его <Филарета> сказать:

И что я в умники попал —
Не знаю, как случилось
(О. А., т. 3, стр. 180).

«Спасителя рожденьем...» написано не раньше 1814 г., так как в строфе 10-й говорится об Ф. Растопчине: *Подводит из Москвы полиции когорту.* В 1814 г. Растопчин был уволен от должности московского главнокомандующего и назначен членом Государственного совета. Стихотворение написано не позднее 1817 г., поскольку оно упоминается в цитированном выше письме А. Тургенева от 1817 г. В средневековой Франции ноэлями (noël) назывались народные духовные песни, прославлявшие рождение Христа. С конца XVII в. ноэлями стали называть сатирические куплеты, сочинявшиеся к рождественским праздникам. В России ноэли писал Д. Горчаков, известны два ноэля Пушкина («На лейб-гусарский полк» и «Ура, в Россию скачет...»). «Спасителя рожденьем...» написано канонической для ноэлей восьмистрочной строфой с определенным чередованием шестисложных, восьмисложных и тринадцатисложных стихов. В ноэле Вяземского осмеяны видные сановники и литераторы 1810-х гг. *Наш Неккер* — Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825), министр финансов с 1810 г. по 1823 г. Гурьев был известен пристрастием к гастрономии; от него, между прочим, получила свое название гурьевская каша. Неккер (1732—1804) — автор ряда трудов по вопросам финансов, министр финансов Франции в период, предшествовавший Великой французской революции. В 5-й строфе выведен «сподвижник» Гурьева, директор департамента внешней торговли генерал Обресков Михаил Алексеевич (1754—1842). Департамент внешней торговли был учрежден при преобразовании министерств в 1810—1811 гг. В строфе 6-й выведен *Пестель* Иван Борисович (1765—1843) — генерал-губернатор Сибири. Этот жестокий сатрап, грабивший край, которым он бесконтрольно управлял, предпочитал жить в Петербурге, в частности для того, чтобы давать отпор любым попыткам разоблачения своих действий. В строфе 7-й выведен Козодавлев Осип Петрович (род. в 1750-х гг. — ум. в 1819) — министр внутренних дел с 1810 г. по 1819 г. С 1809 г. издавал официальную газету «Северная почта». В строфе 8-й выведен Чичагов Павел Васильевич (1765—1849) — адмирал; в 1812 г. ему было поручено преследование отступающей армии Наполеона. Общественное мнение обвиняло Чичагова в том, что медлительность его действий дала возможность Наполеону в ноябре 1812 г. переправиться через реку Березину и тем самым избежать плена. В строфе 9-й выведен *Витгенштейн* Петр Христианович (1768—1824) — фельдмаршал. В 1813 г., после смерти Кутузова, Витгенштейн был назначен главнокомандующим русскими и прусскими войсками, но после неудачных сражений при Люцене и Бауцене уволен от этого звания. В строфе 10-й выведен Растопчин Федор Васильевич (1763—1826), в 1812—1814 гг. московский главнокомандующий. В строфе 11-й — *Захаров* Иван Семенович (ум. в 1816 г.) — писатель, один из председателей «Беседы». В строфе 12-й — *Карабанов* Петр Матвеевич (1765—1829) — член «Беседы», автор торжественных од. *Сказал: «Наш разживает хлев»* и т. д. По евангелию, Христос родился в яслях. *С поэмою холодной.* Имеется

в виду ирои-комическая поэма Шаховского (см. о нем стр. 418) «Расхищенные шубы». В одной из эпиграмм Вяземский писал: «Ты в «Шубах» Шаховской холодный». В строфе 14-й выведен *Филарет,* в миру Василий Михайлович Дроздов (1783—1867). В будущем митрополит московский, Филарет уже в 1810-х гг. выдвинулся своими проповедями. В 1813 г. Филарет произнес привлекшее к нему общее внимание слово на смерть Кутузова. *Боссюэ* Жак-Бениньь (1627—1704) — французский проповедник, автор исторических и политических трактатов. Проповеди Боссюэ считались образцом ораторского искусства. *Князь Шахматный* — князь С. А. Ширинский-Шихматов (см. о нем стр. 437). В строфе 16-й выведены *Хвостовы* — Дмитрий Иванович, служивший постоянным предметом арзамасских эпиграмм и пародий, и его двоюродный брат Александр Семенович (1753—1820), поэт и переводчик, председатель одного из разрядов «Беседы». *За ними пара Львовых* и т. д. Вяземский имеет в виду Львова Николая Александровича (1751—1803), писателя, принадлежавшего к литературному кружку Державина, Капниста, Хемницера, — и Львова Павла Юрьевича (1770—1825), автора исторических и «сельских» повестей; оба Львова были членами «Беседы». В строфах 18—19 выведен Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1765—1851), член «Беседы». Муравьев-Апостол, знаток древних и новых языков, состоял «кавалером» при в. к. Александре и Константине Павловичах, то есть участвовал в их воспитании; позднее был посланником в Испании. В числе его сочинений были «Письма из сожженной Москвы в Нижний-Новгород к другу» и переводы из Горация. *Локк* Джон (1632—1704) — английский философ, занимавшийся также вопросами педагогики. В строфе 20-й выведен *Горчаков* Дмитрий Петрович (1758—1824), член «Беседы». *Похвальных ей стихов* — здесь, вероятно, подразумеваются ноэли Горчакова. В строфе 21-й выведен *Языков* Дмитрий Иванович (1773—1845) — писатель и переводчик, непременный секретарь Российской академии. Языков доказывал бесполезность буквы ять и твердого знака (по славянски — ер) и некоторые свои произведения печатал без этих букв.

Доведь (стр. 103). Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 9. М., 1817, стр. 80. В. Л. Пушкин прочитал «Доведь» на заседании Общества, состоявшемся 24 февраля 1817 г. (О. А., т. I, стр. 70). *Доведь* — шашка, прошедшая в дамки. В 1817 г. тема временщика была в высшей степени актуальной, принимая во внимание все возраставшее после 1815 г. значение Аракчеева.

Устав столовой (стр. 103). Впервые — «Благонамеренный», 1820, № 2, стр. 120. Подписано: «Варшава». Написано в 1817 г. 5 сентября 1817 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Смастерил я по следам Панара «Столовый устав», который посылаю тебе» (О. А., т. I, стр. 85). *Панар* Шарль-Франсуа (1694—1765) — французский поэт, автор множества песен, комических опер, водевилей. Компания литераторов, к которой принадлежал Панар, образовала «общество погребка». Для этого «общества» Панар писал застольные песни. Образцом Вяземскому послужила

песня «Les lois de la table» (входит во второй том «Oeuvres choisies» Панара, изданных в Париже в 1803 г.). *Толстой* Федор Иванович («Американец») — см. стр. 433.

Прощание с халатом (стр. 105). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 37, стр. 178. В августе 1817 г. Вяземский после довольно продолжительных хлопот был наконец определен на службу в Варшаву (к месту службы он отправился только в феврале 1818 г.). Настроения, связанные с этим шагом — с точки зрения Вяземского необходимым, но трудным, — отразились в стихотворении «Прощание с халатом». В своей автобиографии Вяземский писал: «При расставании моем с Москвою и беззаботною жизнию моею написал я стихотворение „Прощание с халатом"» (ПСС, т. 1, стр. XXXVIII). Халат становится воплощением этой беззаботности, литературного дилетантизма, материальной независимости, которой гордилось фрондирующее дворянство. В конце сентября Вяземский писал А. И. Тургеневу, способствовавшему его назначению в Варшаву: «Тебе, одному из виновников или, по крайней мере, из главных орудий размолвки моей с халатом, посылаю «Прощание» мое с ним. Желаю стихам моим счастия при тебе и арзамасском ареопаге» (О. А., т. I, стр. 88). 5 октября Тургенев ответил: «Я получил два письма твои и прекрасный «Халат» твой, в котором ты явился нам со всею прекрасною душою твоею. Жуковский, отправившийся вчера в Москву, перескажет тебе о чтении послания в „Арзамасе"» (там же, стр. 89). *Хлыстов* — так называли арзамасцы члена «Беседы» графа Дмитрия Ивановича Хвостова (1757—1835). Этот необычайно плодовитый графоман служил постоянной мишенью для арзамасских эпиграмм и пародий. *Анакреон* — см. стр. 415. *Владычицы, из своенравной урны* и т. д. Речь идет о Фортуне.

К Батюшкову («Шумит по рощам ветр осенний...») (стр. 108). Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», ч. 7. М., 1817, стр. 51. В декабре 1816 г. Батюшков уехал из Москвы в свою деревню Хантоново Новгородской губернии, где оставался до осени 1817 г. Сохранился автограф этого стихотворения с замечаниями Жуковского. Против стихов 17—28 Жуковский приписывает на полях: «Прекрасно, как невозможно лучше. Легкость, простота и поэзия, приличные сюжету». Против стиха *Любимца счастья — мотылька* — «Думаю, лучше поставить Флоры (Вяземский так и сделал. — *Л. Г.*); любимца мотылька — эти два винительных падежа сходны в окончаниях с родительным счастья, это всегда неприятно». Против стихов:

Любви, небесным вдохновеньям,
Забавам, дружбе, наслажденьям
Дней наших поручая бег —

«Едва ли можно чему-нибудь поручать бег? Нельзя ли:

Любви небесным вдохновеньем,
Весельем дружбы, песнопеньем
Крылатых дней означив бег».

«Наш свет — театр; жизнь — драма; содержатель...» (стр. 109). Впервые в смягченной для цензуры редакции — альм. «Денница», 1830, стр. 140. Печ. по автографу. Датируется предположительно 1818 г. по положению в рукописи вместе с эпиграммами этого года.

Ухаб (стр. 109). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 42, стр. 81. Подпись: «К. В-ий». В авторизованной копии имеются три строфы, отсутствующие в печатном тексте; две из них, 6-ю и 7-ю, мы восстанавливаем на основании письма Вяземского А. Тургеневу от 7 ноября 1821 г.: «Зачем «Сын» засыпал два куплета моего «Ухаба»? Неужели и тут цензура отмежевала» (О. А., т. 2, стр. 224). Строфу 8-ю (по счету строф авторизованной копии) Вяземский, вероятно, снял сам, так как в ней речь шла о Шаховском и его направленной против Жуковского комедии «Липецкие воды»:

Иной по Липецкому тракту
Заехать к Талии хотел,
Но с первого он сбился акту,
В ухаб свалился и засел.

Все это в 1821 г. уже потеряло свою актуальность. О том, как возникло это стихотворение, Вяземский рассказал в «Автобиографическом введении». Он выехал из Москвы в Варшаву, к месту службы, на рассвете после бала, который его теща давала в честь Александра I. «Этот крутой переворот от бальных платьев в дорожные, из блеска многолюдного праздника в дорожную повозку внушил мне тут же стихотворение «Ухаб»...» (ПСС, т. 1, стр. XL). Тем самым стихотворение датируется февралем 1818 г., когда Вяземский выехал в Варшаву. «Ухаб», так же как «Прощание с халатом», показывает, что Вяземский предвидел разочарования и неудачи, которые ему принесет попытка вступления на бюрократическое поприще. *Фаэтон* (греч. миф.) — сын бога солнца Гелиоса, упросивший своего отца на один день доверить ему солнечную колесницу. Юноша на мог справиться с конями Гелиоса и едва не зажег небо и землю. Чтобы предотвратить гибель вселенной, Зевс поразил Фаэтона ударом молнии.

Петербург (стр. 111). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г., стр. 256. Конец, с 97-го стиха, впервые опубликован В. Нечаевой в книге «Избранные стихотворения», стр. 140. Последняя часть стихотворения, в которой отразились оппозиционные, сближавшие его с декабристами, настроения Вяземского, была опущена «Полярной звездой» по цензурным причинам. Сохранилась авторизованная копия, содержащая полный текст «Петербурга». Однако копия дает лишь первоначальный текст, в дальнейшем подвергшийся переработке (В. Нечаева напечатала «Петербург» по тексту так называемого «Нового рукописного сборника», близкому к тексту авторизованной копии). Этой переработке Вяземский придавал серьезное значение. 1 августа 1819 г. он писал Тургеневу: «Теперь сижу над своим «Петербургом». Вот что я говорю о свободе земледельца, вместо двух сухих стихов прежних:

С чела оратая сотрется пот неволи.
Природы старший сын, ближайший братьев друг
Свободно проведет в полях наследный плуг,
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной.

Не знаю, сила выражения отвечает ли в двух последних стихах силе мысли, и не душно ли ей, кипящей жизнью, в этой оболочке? Нельзя ничего вообразить ужаснее. Поля почитаются святилищем свободы: теснимый в обществе идет к ним расходиться; земледелец наш именно тут и находит неволю. Противоположность разительная!» (О. А., т. 1, стр. 277—278). В качестве основного текста «Петербурга» мы принимаем текст «Полярной звезды», переработанный автором. Однако мы прибавляем по авторизованной копии последнюю часть стихотворения (41 стих), изъятие которой возмутило Вяземского. 7 января 1824 г. он писал Тургеневу: «Меня скопцом вывели в «Полярной»...» (О. А., т. 3, стр. 1); 20 января А. А. Бестужеву: «...Вы поступили со мною беззаконно, выпустив меня на позор несчастным скопцом. Я писал Жуковскому, что для выгоды книжки вашей и моей предпочел бы я, если ничего моего не напечатали бы вы, а сказали в особенном замечании, что из присланного князем Вяземским ничего в этой книжке не печатается по некоторым обстоятельствам. Таковое замечание сделало бы фортуну мою и вашей книжки» («Русская старина», 1888, № 11, стр. 323—324). 28 января Бестужев отвечал Вяземскому: «Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь, когда воображать можете, что она бы позволила ремарку о н е к о т о р ы х причинах, не позволивших напечатать ваших стихов. А мы многое бы потеряли, если б отказались от такого наследства, как седьмая часть ваших стихов» («Литературное наследство», т. 60, стр. 213). Окончательная редакция последней части стихотворения до нас не дошла. Но, согласно ясно выраженной авторской воле, мы заменяем два стиха

Несчастный раб земли, отвергнутый от братий,
В свободе примет мзду страдальческих занятий —

пятью стихами, которые Вяземский цитирует в приведенном выше письме к Тургеневу. Впервые Вяземский упоминает о «Петербурге» в письме к Тургеневу из Варшавы, от 24 августа 1818 г.: «...Я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет. Теперь — ни слова, но надеюсь скоро кончить и тогда пришлю тебе свой законносвободный (так переводилось слово «конституционный». — *Л. Г.)* и законоположительный восторг» (О. А., т. 3, стр. 116). 28 сентября стихотворение было уже отправлено Жуковскому (там же, стр. 125). Жуковский отозвался о «Петербурге» отрицательно (там же, стр. 161). Из переписки Вяземского с Тургеневым за 1818—1819 гг., в которой часто упоминается «Петербург», явствует, что стихотворение, расходившееся в списках, вызвало противоречивые толки. Впоследствии Вяземский пытался смягчить впечатление, произведенное «Петербургом». В своей «Исповеди», представленной Николаю I в 1829 г., он писал: «В двух, так называемых, либеральных стихотворениях моих: «Петербург» и «Негодование» отзывается везде желание законной сво-

боды монархической и нигде нет оскорбления державной власти. Первое кончилось воззванием к императору Александру; писано оно было вскоре после первого польского сейма и тогда гласным образом ходило по Петербургу» (ПСС, т. 2, стр. 101). *Бегут — и где они? — <и> снежные сугробы* и т. д. Речь идет об отступлении из России армии Наполеона. *Питомец твой, громов метатель двоеглавый.* На государственном гербе царской России изображался двуглавый орел. *Рымникский.* А. В. Суворову присвоено было имя Рымникский за победу над турками в 1789 г. при реке Рымник в Валахии. *Задунайский.* П. А. Румянцеву за победы, одержанные во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг., было присвоено имя Задунайский. *Алкид* — Геракл (Геркулес). *Там предрассудков меч и светоч возмущенья* и т. д. Речь идет о событиях Великой французской революции XVIII в.; как типичный представитель оппозиционного дворянства 1810—1820-х гг., Вяземский был поклонником жирондистов и отрицательно относился к якобинской диктатуре. *Полтавская рука сей разводила сад* и т. д. Речь идет о Летнем саде в Петербурге. В петровские времена Летний сад был частью обширного парка. В саду стоял небольшой дворец Петра. *Апеллес* (IV в. до н. э.) — греческий живописец. *Природу испытав, Невтонов ученик* и т. д. — Ломоносов. *Шувалов* Иван Иванович (1727—1797) — вельможа, пользовавшийся огромным влиянием при Елизавете Петровне; покровительствовал Ломоносову. *Приветствие в Ферней.* Екатерина II переписывалась с Вольтером, в последний период жившим в Фернее (Швейцария). *И твоего певца уста уже безмолвны.* Державин умер в 1816 г.

Толстому (стр. 114). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 161. Вариант первых одиннадцати строк напечатан в сб. «В дороге и дома», стр. 339. Печ. по авторизованной копии. Копия датирована: «Октября 19, 1818, Варшава». В письме от 30 октября 1818 г. из Петербурга А. И. Тургенев сообщал Вяземскому, что накануне он получил от него «стихи Толстому». Адресат послания, граф Федор Иванович *Толстой* (1782—1846), приобрел известность в литературных и светских кругах дуэлями, скандалами и всевозможными авантюрами. Вместе с тем это был даровитый и образованный человек, связанный дружескими отношениями со многими выдающимися литераторами своего времени. Молодым офицером Толстой принял участие в кругосветном плавании адмирала Крузенштерна. За нарушение дисциплины он был высажен на берег русской колонии в Северной Америке, после чего посетил Алеутские острова. По этому случаю Толстой получил прозвище «Американца». Дважды разжалованный за дуэли в солдаты, Толстой участвовал в войне 1812 г. ратником ополчения и храбростью вернул себе офицерский чин. Существует предположение, что в повести «Два гусара» для Турбина-старшего Л. Н. Толстому в какой-то мере послужил прототипом его двоюродный дядя Ф. И. Толстой-Американец. Называя Толстого *цыганом,* Вяземский мог иметь в виду и беспорядочную жизнь Толстого, и его наружность (Толстой был смугл, черноглаз и черноволос), и особую его страсть к цыганскому пению и кутежам с цыганами (впоследствии, в 1821 г., Толстой женился на цыганке). В 1810-х гг. Толстой обосновался в Москве.

Его открытый дом славился изысканными обедами. Этим объясняется «гастрономическая» тема настоящего послания и выражение Вяземского: *Обжор властитель, друг и бог. Под бурей рока твердый камень* и т. д. Эти два стиха Пушкин хотел взять эпиграфом к «Кавказскому пленнику», но отказался от своего намерения из-за ссоры с Толстым. *Кондильяк* (1715—1780) — французский философ-сенсуалист. *Жан-Жак* — Жан-Жак Руссо. *Втереть меня к библейской знати* и т. д. Последний период царствования Александра I отмечен разгулом мистического мракобесия в придворных и правительственных кругах. «Библейское общество» (1813—1826) — одна из влиятельных религиозно-бюрократических организаций, принадлежность к которой обеспечивала «кресты», то есть ордена и продвижение по службе. На принадлежавшем ему экземпляре «В дороге и дома» Вяземский написал по поводу напечатанного там отрывка из настоящего послания: «Начало послания моего к Толстому из Варшавы; я просил его приискать и выслать мне хорошего повара; между прочим помню из этого послания следующие стихи:

Я не прошу у благодати
Припрячь меня к библейской знати
И по кресту ввести к крестам.
Мне нужен повар от Толстого,
Я только повара прошу.

Эти стихи были написаны в самый разгар библейского общества. Библию обратили в орудие подлости и чиновнического честолюбия. Даже Сперанский в изгнании промышлял ею».

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин...» (стр. 116). Впервые — «Русский архив», 1866, стр. 475. Более исправный текст — О. А., т. 1, стр. 129. Печ. по автографу письма Вяземского к А. Тургеневу. *Свиньин* Павел Петрович (1788—1839) — путешественник, писатель и журналист. В 1818 г. Свиньин поместил в «Сыне отечества» статью «Поездка в Грузино» (Грузино — имение Аракчеева в Новгородской губернии) со следующими стихами в виде эпиграфа:

Я весь объехал белый свет,
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою, —
Дивился многому умом,
Но только в Грузине одном
Был счастлив сердцем и душою,
И сожалел, что не поэт!

13 октября 1818 г. Вяземский пишет А. Тургеневу из Варшавы: «...Мне так понравились... стихи Свиньина, напечатанные в «Сыне отечества», что я решился их перевести... Мой перевод: (следует текст эпиграммы. — *Л. Г.*). Ведь это, ей-богу, стыдное дело, что мне из-за границы должно отправлять вашу полицию. У вас под носом режут и грабят. Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи, и еще какие, а вы ни слова, как будто не ваше дело. Да чего же смотрит Сверчок (арзамасское прозвище Пушкина. — *Л. Г.*), полуночный бутошник? При каждом таком бесчинстве должен он крикнуть эпи-

грамму» (О. А., т. 1, стр. 129—130). 10 августа 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «Да нет ли стихов покойного поэта Вяземского, хоть эпиграмм? Знаешь ли его лучшую эпиграмму: «Что нужды? говорит расчетливый...» etc. ...Не напечатать ли, сказав: «Нет, я в прихожую пойду путем доходным»; если цензура не пропустит осьмого стиха, так и без него обойдемся; главная прелесть: «Я не поэт, а дворянин!»

«Иссохлось бы перо твое бесплодно...» (стр. 117). Впервые — О. А., т. 1, стр. 124. Печ. по автографу письма Вяземского к А. Тургеневу. Эпиграмму Вяземский сообщил Тургеневу в письме от 25 сентября 1818 г. из Варшавы. Направлено против Каченовского. См. примечание к «Посланию к М. Т. Каченовскому».

Быль (стр. 117). Впервые — «Московский телеграф», 1828, № 19, стр. 271. В «Московском телеграфе» Вяземский сопроводил публикацию «Были» следующим примечанием: «Сия быль написана лет за десять и лежала забытая в моих бумагах. 19 и 20 № «Московского вестника» привел мне ее на память и дает ей ныне цену новости и уместной случайности. Критика, подобная критике г-на Арцыбашева, «Московский вестник», который с коленопреклонением принимает ее и молит, как даяния, достойного себя; торжественное известие, сообщенное «Московским вестником», что наконец и г-н Каченовский собрался с силами и готовится идти по следам г-на Арцыбашева; г-н Арцыбашев, критикующий слог и язык Карамзина; «Московский вестник», признающийся, что критика г-на Арцыбашева написана с «выходками, лично относящимися к Карамзину и писанными не с хладнокровием», но несмотря на то, или, может быть, именно смотря на то, открывающий ей радушные объятия; союз, смешение и заговор сих имен в виду имени, заслуг и славы Карамзина, — все это явление более смешное, нежели прискорбное для нашей литературной и народной чести. Тут нет повода к рассуждениям, к исследованиям, к ответам систематическим; тут один повод к осмеянию. Сочинитель». В 1828 г. историк Николай Сергеевич Арцыбашев (1773—1841) выступил в «Московском вестнике» со статьей «Замечания на «Историю Государства Российского» Карамзина. В том же году возобновил свою критику Карамзина Каченовский в статье «О белых лобках и куньих мордках». Это побудило Вяземского опубликовать свой старый памфлет на противников Карамзина. Очень возможно, что эпиграмма написана именно в 1818 г., так как к этому году относится первое выступление Каченовского против Карамзина (см. примечание к «Посланию к М. Т. Каченовскому»). Эпиграмма несомненно направлена также против шишковцев, боровшихся с установками Карамзина в области языка и стиля.

«Ты прав! Сожжем, сожжем его творенья!..» (стр. 118). Впервые — «Новости литературы», 1824, № 19, стр. 112. Подпись: «К. В-ий». Вероятно, как и предыдущая эпиграмма, направлена против Каченовского. См. примечание к «Посланию к М. Т. Каченовскому».

«Надменный нуль, пигмей, крикун картавый...» (стр. 118). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 299. Печ. по автографу. Автограф находится на одном листе с двумя предшествующими стихотворениями. Поэтому эпиграмма предположительно датируется 1818 г.

Человек и мотылек (стр. 119). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 48, стр. 81. Подписано: «Варшава».

Две собаки (стр. 119). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 47, стр. 14. Подписано: «Варшава». Сохранилась авторизованная копия.

Два живописца (стр. 119). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 47, стр. 35. Подписано: «Варшава».

Два чижа (стр. 119). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 47, стр. 35. Подписано: «Варшава».

Битый пес (стр. 120). Впервые — «Сын отечества», 1819, № 47, стр. 34. Подписано: «Варшава».

«Вписавшись в цех зоилов строгих...» (стр. 120). Впервые — «Благонамеренный», 1820, № 2, стр. 128. Подписано: «Варшава». Эту эпиграмму и следующую, с незначительными разночтениями, Вяземский сообщил А. Тургеневу в письме от 24 марта 1819 г. из Варшавы. По свидетельству Вяземского, эпиграммы он написал, «выезжая из Петербурга». Вяземский ездил из Варшавы в отпуск в Москву и Петербург; в Петербурге находился в январе 1819 г. *Жуковский пишет для немногих.* В 1818 г. Жуковский выпустил сборник стихов (тексты немецких авторов и переводы) под названием «Для немногих».

«Чтоб полный смысл разбить в творениях певца...» (стр. 120). Впервые — «Благонамеренный», 1820, № 2, стр. 128. Подписано: «Варшава». См. примечание к эпиграмме «Вписавшись в цех зоилов строгих...»

Жрец и кумир (стр. 120). Впервые — «Сын отечества», 1822, № 39, стр. 273. Вяземский послал эту басню А. Тургеневу 28 ноября 1819 г. Он писал при этом: «Если какой-то покажется жестко Яценку (цензору. — *Л. Г.*), то поставь восточный; пускай эти восточники отдуваются за наших западников» (О. А., т. 1, стр. 364).

«Как мастерски пророков злых подсел...» (стр 121). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 248. Печ. по авторизованной копии. Входит в рукописный сборник 1821—1822 гг. Предположительно датируется 1810-ми гг.

«В двух дюжинах поэм воспевший предков сечи...» (стр. 121). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 249. Печ. по авторизованной копии. Входит в рукописный сборник 1821—1822 г. На-

писано, вероятно, в арзамасский период. Адресат эпиграммы — Ширинский-Шихматов, Сергей Александрович (1783—1837), поэт, член «Беседы». Шихматов был автором поэм «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия», «Петр Великий. Лирическое песнопение в восьми песнях» и т. п. Предметом насмешек литературных противников Шихматова явилось, в частности, то обстоятельство, что он не употреблял глагольные рифмы. Батюшков назвал его — «Шихматов безглагольный» («Певец в Беседе славянороссов»).

«Как «Андромахи» перевод...» (стр. 121). Впервые ПСС, т. 3, стр. 269. Печ. по авторизованной копии. В Институте русской литературы Академии наук СССР, в архиве К. Н. Батюшкова, хранится черновой автограф этой эпиграммы. Трагедию Расина «Андромаха» в 1810-х гг. перевел Д. И. Хвостов. В 1810-х гг. его перевод переиздавался и ставился на сцене. В черновом варианте речи, произнесенной Жуковским на заседании «Арзамаса» 11 ноября 1815 г., имелась обращенная к Хвостову фраза: «Трагедия «Андромаха», в которой надобно плакать от горести и в которой плачешь от смеха» («Арзамас и арзамасские протоколы». Л., 1933, стр. 109). *Стикс* — в греческой мифологии река, протекавшая в царстве мертвых. *Прадон* Николá (1632—1698) — французский поэт, автор трагедий, пытавшийся соперничать с Расином. Прадон стал мишенью для эпиграмм почитателей Расина.

«Княжнин! К тебе был строг судеб устав...» (стр. 122). Впервые — «Русский архив», 1874, стр. 490. Включено в публикацию «Из старой записной книжки». В архиве К. Батюшкова сохранился автограф (на одном листе с автографом предыдущей эпиграммы) другой редакции стихотворения:

Княжнин! святых судеб устав
С тобою поступил безбожно;
«Вадима» в свет издать не можно,
А напечатан твой «Рослав».

Редакция прижизненной публикации «Из старой записной книжки» является политически более острой. В 1789 г. Я. Б. Княжнин написал трагедию «Вадим Новгородский», проникнутую тираноборческими и республиканскими идеями. События Французской революции побудили Княжнина отказаться от попыток напечатать или поставить трагедию. В 1793 г. — через два года после смерти Княжнина — книгоиздатель Глазунов, получивший рукопись «Вадима» от наследников автора, напечатал ее в типографии Академии. Тогда же она вошла в т. 39 издававшегося Академией сборника русских драматических пьес «Российский феатр». Появление вольнолюбивой трагедии привело в ярость Екатерину, испуганную якобинской диктатурой во Франции. По ее указанию, Сенат приговорил конфисковать экземпляры «Вадима» и сжечь их рукой палача. В выходившие вслед за тем собрания произведений Княжнина (в том числе в 1817 г.) «Вадим» не включался (снова был издан только в 1871 г.). В оппозиционных кругах 1810—1820-х гг. «Вадима» знали и высоко ценили. Трагедия Княжнина «Рослав» (она издавалась и

ставилась на сцене), несмотря на свое героическое содержание, воспринималась как напыщенная и риторическая.

«Один Фаон, лесбосская певица...» (стр. 122). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 268. Переводчиком на русский язык греческой поэтессы Сафо (VII—VI в. до н. э.) был П. И. Голенищев-Кутузов (см. о нем стр. 413). Сафо жила на острове Лесбосе. По преданию, она покончила с собой, бросившись в море из-за неразделенной любви к юноше Фаону.

К кораблю (стр. 122). Впервые — О. А., т. 1, стр. 251. Печ. по автографу письма к А. Тургеневу. Образцом Вяземскому послужила ода Горация «O navis referant in mare...» Стихотворение было сообщено Вяземским А. Тургеневу в письме из Варшавы от 13 июня 1819 г. В письме Вяземский восторженно отзывается о Горации и далее пишет: «Так и быть, не выдержу. Только что успел накидать на бумагу. Я думаю, и Гораций так делал с Меценасом: посылал ему черное. Слушай!» За этим следует текст стихотворения. «К кораблю» — одно из тех произведений Вяземского, в которых он примыкает к декабристской идеологии, с характерным для нее сочетанием вольнолюбия и патриотизма. В упомянутом письме к Тургеневу Вяземский пишет: «Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом» (О. А., т. 1, стр. 252). *Мы видели тебя игрой сердитой влаги.* Речь идет о событиях 1812 г.

К В. А. Жуковскому («О ты, который нам явить с успехом мог...» (стр. 124). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 10, стр. 129. В журнальной публикации стих 24 читается: *Державин рвется в стих, а попадет Херасков.* Мы принимаем позднейшую поправку Вяземского, внесенную им в авторизованный рукописный сборник 1855 г. (ЛБ, Вяз. 1/1). В «Сыне отечества» к стихотворению имеется редакционное примечание: «Стихи сии и другие, помещенные в нынешнем году в «Сыне отечества», могут служить ответом на прозу «Вестника Европы», кн. 2, стр. 160. Доныне говорили, что проза есть язык истины, а стихи язык воображения, вымысла; теперь выходит противное. Издатель». Речь в этом примечании шла о полемике издателя «Вестника Европы» М. Каченовского с издателем «Сына отечества» А. Воейковым («Вестник Европы», 1821, № 2, стр. 161—163). Стихотворение печаталось с подзаголовком: «Подражание III сатире Депрео» (Депрео — вторая фамилия Буало). Мы исправляем ошибку, заменяя третью сатиру второй. 7 августа 1819 г. Вяземский писал из Варшавы А. Тургеневу: «Этот оберчерт Жуковский! Письмо твое со стихами пришло в то самое время, как я кончал подражание сатире Депрео к Мольеру о трудности рифмы, и мои стихи так мне огадились, что я не в силах продолжать» (О. А., т. 1, стр. 284). Именно вторая сатира Буало (1664) посвящена Мольеру, и речь в ней идет о рифме. Стихотворение Вяземского — вольное подражание второй сатире, местами далеко уходящее от образца. Отразившиеся в сатире Буало французская литературная борьба, французские литературные отношения заменены русскими. *Державин рвется в стих, а втащится Херасков* (у Буало: «La raison dit Virgile et la rime Quinault» т. е. «Разум говорит — Виргилий, а рифма говорит — Кино»). Вяземский высоко

ценил Державина, а о Хераскове (1733—1807) в «Старой записной книжке» писал: «Посади меня на Хераскова одного на две недели, меня от стихов будет тошнить. Он не худой стихотворец, а хуже. «Чистите, чистите, чистите ваши стихи», — говорил он молодым людям, приходившим к нему на советывание... И свои так он чистил, что все счищал с них: и блеск, и живость, и краску» (ПСС, т. 8, стр. 32). *Катон* (III—II в. до н. э.) — римский государственный деятель, отличавшийся непримиримостью, с которой он отстаивал свои убеждения. *Как. . . . . жирный.* В журнальном тексте многоточием, по-видимому, заменена фамилия; то же в авторизованном рукописном сборнике 1855 г. (ЛБ, Вяз. 1/1). Возможно, что здесь подразумевалось: *как Тургенев жирный.* Тучность и лень А. И. Тургенева постоянно служили предметом дружеских насмешек. *Прикованный к столу, как древле изгнанный преступник на скалу* и т. д. Имеется в виду миф о Прометее (греч. миф.), титане, который за похищение небесного огня был прикован Зевсом к Кавказскому хребту, где коршун клевал его печень. *Николев* Николай Петрович (1758—1815) — чрезвычайно плодовитый поэт, один из последних в XIX в. эпигонов сумароковской школы. *Заикин* — книгопродавец.

Сибирякову (стр. 127). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 210. Печ. по авторизованной копии. Стихотворение написано в августе 1819 г., что явствует из письма Вяземского к А. И. Тургеневу (О. А., т. 1, стр. 298). Адресат послания — Иван Семенович *Сибиряков* (ум. в 1848 г.), крепостной поэт-самоучка. Сибиряков принадлежал рязанскому губернскому предводителю дворянства Д. Н. Маслову, у которого состоял в должности кондитера. Мечтая об освобождении от крепостной зависимости, Сибиряков подносил свои стихи разным высокопоставленным лицам. Сибирякову удалось привлечь к себе внимание. В 1818 г. П. Свиньин напечатал в «Трудах Общества любителей российской словесности» статью «Природный русский стихотворец» с приложением стихотворений Сибирякова. Статья была перепечатана в «Вестнике Европы» и в «Отечественных записках». Судьбой Сибирякова заинтересовались Вяземский, братья Тургеневы, Жуковский, Ф. Глинка, даже петербургский генерал-губернатор Милорадович. Последний в письменной форме предложил Маслову дать согласие на выкуп Сибирякова. На это предложение Маслов ответил Милорадовичу необыкновенным по цинизму письмом (из переписки Вяземского с Тургеневым явствует, что письмо это сразу получило огласку). Признав, что он почитает «священной обязанностью способствовать счастию человека, своими достоинствами умевшего в почтенных любителях отечественной словесности снискать участие к его освобождению», Маслов продолжал: «Но как Сибиряков обучен еще кондитерству, почему для занятия должностей, ныне им отправляемых, должно заплатить значительную сумму, каковой расход при неизбыточном моем состоянии очень чувствительный, то по всей справедливости считаю не превосходную цену получить за него 10 000 рублей, дабы процентами с оной мог платить занимаемую услугу вместо Сибирякова, не стесняя издержек на воспитание малолетних детей моих» («Русский архив», 1873, кн. 1, стр. 642—643). Эта неслыханная сумма была собрана по подписке (Вяземский принял в ней участие), и

Сибиряков получил свободу. Литературного дарования у Сибирякова не было. Он вскоре бросил заниматься литературой и поступил на сцену. Работал сначала актером, потом суфлером. О Сибирякове см. в примечаниях В. И. Саитова к О. А. (т. 1, стр. 623—625 и др. по указателю). Послание к Сибирякову — характерный документ вольнолюбия и антикрепостнических настроений конца 1810-х гг. Тема трагической судьбы крепостного интеллигента, человека, приобщившегося к образованию и оставшегося собственностью помещика, трактуется в умеренном духе. Вяземский призывает своего героя не к активному протесту, но к осознанию своего внутреннего достоинства и «внутренней свободы». Тем не менее от намерения напечатать послание пришлось отказаться по цензурным соображениям (см. О. А., т. 1, стр. 304). Переписка Вяземского с А. И. Тургеневым показывает, что, создавая образ крепостного поэта, он стремился выразить отрицание крепостнической системы в целом. Первое упоминание о стихотворении «Сибирякову» находим в письме Вяземского из Варшавы от конца августа: «. . .Меня рвет желчью стихотворной. Маслов был моим вдохновением, предводителем моим на Парнасе. Я писал горячо». В письме от 2 сентября из Петербурга Тургенев сообщает, что послание «Сибирякову» читал брату Н. И. Тургеневу, который восхищался «родным ему чувством». И далее в том же письме: «Вчера читал я княгине Г<олициной> стихи твои и был свидетелем Пушкина восхищения и одобрения. . . Пушкин бесится, что ты отнял у него такой богатый сюжет, а я этому рад; ибо он пересолил бы самое негодование». Вслед за тем Тургенев выражает сомнение в возможности напечатать «Сибирякову». Еще 15 августа Вяземский писал по поводу цитированного выше ответа Маслова Милорадовичу: «Это — редичная душа и капустная голова, которая прожить не может без леденцов и которая ценою крови и сахара хочет дать воспитание детям. Видал ли ты ужаснейшую смесь варварства, глупости? Неужели не предадут его костру общего мнения? Я сейчас напечатал бы все это с выпискою. . . письма Милорадовича. . . а письмо Маслова, если можно, — в увеличенном формате, но нет, его увеличить нельзя! И после этого мы не в Турецип, не людоеды! . . Вот кстати сказать с Сумароковым:

Ах, должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль? Может бык людей быку продать».

(О. А., т. 1, стр. 289, 298, 302—304). *Как призрен был двором беглец из Холмогор.* Речь идет о М. В. Ломоносове. *Ты попадешь и в честь, и в адрес-календарь.* Адрес-календарями назывались ежегодно (с 1775 г.) издававшиеся росписи должностных лиц.

Первый снег (стр. 129). Впервые — «Новости литературы», 1822, № 24, стр. 173. В 1822 г. Вяземский напечатал это стихотворение с подзаголовком: «В 1817-ом». Но эта дата означает, по-видимому, не время написания стихотворения, а время изображенной в нем прогулки. 5 октября 1816 г. Батюшков сделал приписку к письму (из Москвы) Вяземского к А. И. Тургеневу: «Вяземский пишет элегию «Первый снег», которая не доживет до первого пути» (О. А., т. 1, стр. 55). Это произведение тогда, очевидно, не

было написано. 16 октября Вяземский писал Тургеневу: «Помню пословицу: собака лежит на сене. Сам ничего хорошего не сделаю, а другого отведу. Вчера отдал я Батюшкову все права на «Первый снег», а сам сижу при оттепели» (стр. 57—58). «Первый снег» в качестве нового произведения Вяземского был послан А. И. Тургеневу только 22 ноября 1819 г. из Варшавы. Посылая элегию, Вяземский сообщает: «Свой «Первый снег» писал я частью с воображения, но и с природы. У нас с неделю стоит зима и санная дорога. . .» (О. А., т. 1, стр. 359). Таким образом, «Первый снег» можно датировать ноябрем 1819 г. (до 22 числа). Стих *В победе сей других побед прияв залог* восстанавливаем по автографу, так как есть прямое указание на то, что стих этот был изменен цензурой, которая, очевидно, сочла его «безнравственным». 15 декабря 1822 г., извещая Вяземского о том, что «Первый снег» появился в печати, Тургенев добавляет: «один только стих переменен:

В победе чистыя любви приняв залог»
(О. А., т. 2, стр. 289).

Так же восстанавливается стих *Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой.* 1 декабря 1821 г. А. Тургенев писал Вяземскому: «Красовский не пропускает восьми стихов твоих в «Снегу», где ты говоришь о тесноте ног и прочее, и просит почтенного автора переменить и прочее. Я употребил хитрость, чтобы взбесить Красовского, и отдал стихи Воейкову, который уверен, что Бируков их пропустит без перемены для него в „Прибавлениях инвалида“» (О. А., т. 2, стр. 230—231). В результате цензура изменила стих 64 на *Ревнивых не боясь, сидел рука с рукой.* «Первый снег» вместе со стихотворением «Уныние» создали Вяземскому репутацию лирического поэта. В письме к Вяземскому от 10 декабря 1819 г. Тургенев писал: «Давно уж ты таких свежих и полных стихов не писал, как «Первый снег». Есть стихи, которые врезываются и в память, и в сердце с первого раза». Далее в том же письме Тургенев подробно разбирает «Первый снег». В целом он дает стихотворению восторженную оценку, хотя и делает ряд критических замечаний. Стихи *И жить торопится, и чувствовать спешит* Пушкин взял эпиграфом к первой главе «Евгения Онегина». В пятой главе «Евгения Онегина» Пушкин посвятил «Первому снегу» следующие строки:

Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях. . .

Послание к Тургеневу с пирогом (стр. 132). Впервые — «Сын отечества», 1820, № 4, стр. 175. Подписано: «Варшава». Адресатом послания является А. И. Тургенев. 10 января 1820 г. Вяземский пишет Тургеневу в Петербург из Варшавы: «Каков мой пирог и стихи пирожные?» 21 января Тургенев отвечает: «Спасибо за пирог, спасибо за стихи! Одно другого стоит, — и это лучшая

похвала обжоры. . . Стихи твои ко мне печатаются в «Сыне отечества» под заглавием «Послание с пирогом» (О. А., т. 2, стр. 7, 9—10). Тучность Тургенева и его гурманство служили в дружеском кругу предметом шуток и намеков. Воспевание изысканного стола восходит к легкой французской поэзии XVIII в. У Вяземского эта тематика переплетается с мотивами независимости, враждебности к официальному, сановному миру, столь характерными для настроений передового русского общества конца 1810-х гг. *Пёриге* — город во Франции, славившийся между прочим торговлей трюфелями и изготовлением паштетов. *Ком* (ант. миф.) — бог веселого пира. *А ты, дитя не тех угрюмых школ* и т. д. Противопоставляя эпикурейцам последователей угрюмых школ, Вяземский подразумевает, очевидно, стоиков, проповедовавших воздержанность и равнодушие к внешним жизненным благам. *Оставивший поварни трубадуру.* Трубадуром поварни, т. е. певцом кухни, Вяземский называет французского поэта XVIII в. Панара (см. о нем стр. 429). *Искусство есть преподавал стихом.* Намек на стихотворение Панара «Законы стола». *Солон* (VII—VI в. до н. э.) — государственный деятель древних Афин, чье имя стало нарицательным как имя мудрого законодателя. *Шаль* здесь употреблено в смысле — блажь.

Уныние (стр. 134). Впервые — «Сын отечества», 1820, № 12, стр. 265. Подписано: «Варшава». «Уныние» написано в Варшаве в конце 1819 г. 6 декабря 1819 г. Вяземский послал «Уныние» А. И. Тургеневу. В письме от 6 декабря он писал: «. . . Стихи мои — те же я: это род моей исповеди» (О. А., т. 1, стр. 367). В «Унынии» отразились оппозиционные настроения Вяземского конца 1810-х гг., настроения, находившие отклик у его друзей. В письме от 17 декабря А. И. Тургенев, восторженно оценивая «Уныние», писал:

«Святую ненависть к бесчестному зажгла
И чистую любовь к изящному и благу —

этими стихами можно зажечь любовь к поэзии и к поэту, который написал их. «Святая ненависть» — прелестно!

Тирану быть врагом и жертве верным другом —

я повторил эту клятву в сердце своем, когда прочел стих. Он в меня врезался, ибо чувство сродное его приняло» (О. А., т. 1, стр. 374—375). В апреле 1820 г. Пушкин писал Вяземскому: «. . . Присылай нам своих стихов; они пленительны и оживительны. «Первый снег» прелесть; «Уныние» — прелестнее».

Негодование (стр. 136). Впервые — с пропуском 22 стихов ПСС, т. 3, стр. 164; полностью — альм. «Литературная мысль», кн. 2. Пг., 1923, стр. 230. Печ. по авторизованной копии. На копии рукой автора помечено: «В Варшаве». В «Литературной мысли» полный текст «Негодования» опубликовал С. Любимов. Он сообщает, что рассматривавший ПСС Вяземского цензор Ратынский считал возможным полностью напечатать в т. 3 «Негодование». Однако сын Вяземского, П. П. Вяземский, занимавший в это время пост председателя петербургского комитета иностранной цензуры, по собственному желанию исключил 22 стиха, политически наибо-

лее острых (стр. 234). 13 ноября 1820 г. Вяземский писал А. Тургеневу: «Моя «Негодяйка» («Негодование». — *Л. Г.*) добита; надобно еще два-три дни полежать ей под сукном, а там и в свет... Кажется, нигде столько души моей не было, как тут» (О. А., т. 2, стр. 102). Тургенев пишет Вяземскому 19 января 1821 г.: «Негодование» — лучшее твое произведение. Сколько силы и души! .. Но как можешь ты думать, чтобы цензура нашего времени пропустила эту цензуру нашего времени и нас самих... Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, переписать твое «Негодование». В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. «Дрожь берет при одном чтении, — сказал он, — не угодно ли вам поручить писать другому?» (стр. 140, 142). В том же письме по поводу «Негодования» Тургенев делает ряд стилистических замечаний. Стилистические замечания содержит и письмо Тургенева от 26 января. 2 февраля Тургенев пишет: «Ко мне ездят слушать «Негодование», и я уже его вытвердил наизусть, но ни одной копии не выдал и не выдам» (стр. 153). В своей «Исповеди», представленной Николаю I в 1829 г., Вяземский пытался смягчить политическую остроту «Негодования» и «Петербурга», утверждая, что в них «отзывается везде желание законной свободы монархической». О «Негодовании» он в «Исповеди» писал: «Я написал его в самую эпоху борьбы или перелома мнений, и, разумеется, должно носить оно живой отпечаток мнений, которым я оставался предан и после их падения» (ПСС, т. 2, стр. 101). Характеристику «Негодования» см. во вступительной статье. *Зрел промышляющих спасительным глаголом* — намек на засилие мистических, религиозных обществ в последние годы царствования Александра I. *Перун* (слав. миф.) — бог грома и молнии.

Послание к М. Т. Каченовскому (стр. 141). Впервые — «Сын отечества», 1821, № 2, стр. 76. Печ. по этому тексту с исправлениями по автографу. По автографу восстановлены стихи 29—32 и 43—48 (впервые они были опубликованы В. Нечаевой в «Избранных стихотворениях»), выпущенные в журнальном тексте явно по цензурным соображениям. В «Сыне отечества» эти купюры заменены многоточием. В тексте авторизованного рукописного сборника 1855 г. (ЛБ, Вяз. 1/1) после стиха 42 также стоит многоточие и рукой Вяземского приписано на полях: «Не знаю, где отыскать непропущенные цензурою стихи». В журнальном тексте и в автографе пунктуация первого стиха (обращение к Каченовскому) придает стиху умышленно двусмысленное значение. Адресат послания — Михаил Трофимович *Каченовский* (1775—1842) — историк и журналист, профессор Московского университета, редактор журнала «Вестник Европы». Как историк Каченовский был для своего времени серьезным исследователем, но в области литературы он защищал отсталые взгляды. Каченовский был непримиримым противником карамзинской школы, но особое возмущение последователей Карамзина вызвали его выступления (начиная с 1818 г.) против исторических трудов учителя. В 1819 г. Каченовский выступил со статьей «От киевского жителя к его другу», в которой подверг критике «Историю Государства Российского» Карамзина. 4 декабря 1820 г., посылая А. Тургеневу из Варшавы «Послание к

Каченовскому», Вяземский писал: «...Посылаю известное и дописанное «Послание» к негодяю... Приношу на жертву все стихи, которые ценсура не проглотит: пускай выставятся точки». (О. А., т. 2, стр. 113—114). «Послание» вызвало много толков и споров в литературной среде. Карамзин, по обыкновению, выразил свое отрицательное отношение к журнальной полемике. 20 января 1821 г. Карамзин писал Вяземскому: «Пишу... почти в сердце на вас за эпистолу к Каченовскому, хотя в ней и много прекрасных стихов. Вы знаете мой образ мыслей, весьма искренний. Я не имею нужды ни в защите, ни в мести, и если не врагам, то друзьям своим говорю от души: „Оставьте меня в покое"» («Старина и новизна», кн. 1, СПб., 1897, стр. 109). И. Дмитриев, напротив того, в письме от 3 февраля того же года горячо приветствовал стихотворное выступление Вяземского в защиту Карамзина (см. «Старина и новизна», кн. 2, стр. 145). В январском номере «Вестника Европы» за 1821 г. Каченовский перепечатал послание Вяземского под заголовком «Послание ко мне от князя Вяземского», сопроводив его издевательскими примечаниями. Примечание к первому стиху гласило: «Благодарность издателям «Сына отечества»! Поставив запятую и знак восклицательный, они отвели ругательство от меня и подозрение от г. Вяземского, которого выспренний гений, презирающий правила грамматики и синтаксиса, легко мог просмотреть ничтожные знаки препинания». В этой связи Пушкин писал Вяземскому 2 января 1822 г. из Кишинева: «...Бранюсь с тобою за... послание к Каченовскому; как мог ты сойти в а р е н у с этим хилым кулачным бойцом — ты сбил его с ног, но он облил бесславный твой венок кровью, желчью и сивухой; как с ним связываться — довольно было с него легкого хлыста, а не сатирической твоей палицы». В майском номере «Вестника Европы» Каченовский напечатал направленное против Вяземского «Послание к Птелинскому-Ульминскому» (фамилия образована от лат. и греч. слова «вяз»):

Перед судом ума сколь, Птелинский, смешон,
Кто самолюбием, пристрастьем увлечен,
Век раболепствуя, с слепым благоговеньем,
Считает критику ужасным преступленьем
И хочет всем назло, чтоб весь подлунный мир
За бога принимал им славимый кумир!

Послание написал С. Т. Аксаков, в молодости связанный с кругом «Беседы». В своих воспоминаниях Аксаков рассказывает историю возникновения этого послания (С. Т. Аксаков. Полное собрание сочинений, т. 4, СПб., 1886, стр. 47). *В Элизий скромных дев.* Элизий (греч. миф.) — страна вечного загробного блаженства; здесь — блаженный приют муз (скромных дев). *Аристид* (540—467 до н. э.) — афинский политический деятель, прозванный «справедливым». *От Лужников до Рима.* Каченовский, проживавший в Москве в Лужниках, подписывал некоторые свои статьи «Лужницкий старец». Отсюда прозвище Лужницкий, фигурировавшее в эпиграммах на Каченовского. *Миних* Бурхард Христофор (1683—1767) — фельдмаршал. После дворцового переворота 1741 г., возведшего на престол Елизавету Петровну, Миних был сослан в Пелым, откуда возвращен в 1762 г. Петром III. *Велизарий* (490—565) — полково-

дец византийского императора Юстиниана. Под конец жизни Велизарий подвергся опале, что подало повод к возникновению легенды об ослеплении Велизария. *Старец-мудрец* — Сократ. *Растит и гордый дуб и сановитый кедр.* Здесь подразумеваются Карамзин и Дмитриев.

«Василий Львович милый! здравствуй!..» (стр. 144). Впервые опубликовано В. Нечаевой в «Избранных стихотворениях», стр. 162. Печ. по автографу. В автографе сверху написано: «Вот мое поздравление Пушкину на Новый год». Стихотворение послано было В. Л. Пушкину в конце 1820 г. из Варшавы. В нем отразились вольнолюбивые настроения Вяземского этой поры. 29 декабря 1820 г. А. Тургенев писал Вяземскому из Петербурга: «Тебе кланяются и восхищаются посланием к Львовичу» (О. А., т. 2, стр. 131). *Толстой* — см. о нем стр. 433. Толстой женился на цыганке А. М. Тугаевой. *Вральман* — персонаж комедии Фонвизина «Недоросль». *Пусть Вестник, будто бы Европы.* «Вестник Европы», журнал, издававшийся Каченовским. *Менандр* (342—292 до н. э.) — греческий драматург, автор комедий.

«Пусть остряков союзных тупость...» (стр. 145). Впервые — «Сын отечества», 1820, № 10, стр. 173. Подписано: «Варшава».

Пожар (стр. 146). Впервые — О. А., т. 2, стр. 29. Печ. по автографу письма Вяземского к А. Тургеневу. Вяземский сообщил это стихотворение Тургеневу в письме от 22 марта 1820 г. Там же в шуточной форме Вяземский выражает сомнение в возможности напечатать басню. Она не была напечатана. Цензуру, очевидно, испугала тема огня просвещения, который мракобесы стремятся погасить.

Катай-валяй (стр. 146). Впервые — альм. «Альбом северных муз», 1828, стр. 346. В примечании к этому стихотворению В. Нечаева отмечает, что оно входит в рукописный сборник, охватывающий стихотворения Вяземского, написанные не позднее 1820 г. Стихотворение обращено к Д. В. Давыдову. *Ум с фафошкой.* Возможно, что слово фафошка произведение от фофан (дурак), слова, встречающегося у Вяземского. В таком случае это выражение означает: ум с дурачеством, с придурью. *Арей* (греч. миф.) — бог войны.

«Для славы ты здоровья не жалеешь...» (стр. 147). Впервые — газ. «Рецензент», 1821, № 26, 6 июля, стр. 102.

«Благословенный плод проклятого терпенья...» (стр. 148). Впервые — газ. «Рецензент», 1821, № 26, 6 июля, стр. 103.

Характеристика (стр. 148). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1826 г., стр. 38. Эпиграмма написана не позднее 1821 г., так как ее упоминает И. Дмитриев в письме к А. Тургеневу от 14 февраля 1821 г. («Русский архив, 1867, № 7, стр. 1134).

Надписи к портретам. (1. «N.N. вертлявый по природе...»; 2. «Кутейкин, в рясах и с скуфьею...») (стр. 148). Впервые — «Русский архив», 1866, стр. 1710. Обе эпиграммы Вяземский сообщает в письме к И. И. Дмитриеву. «Прилагаю... свою новинку, — пишет он, — плод шутки и дороги...» Адресат первой эпиграммы — Михаил Леонтьевич Магницкий (1778—1855), в начале своей карьеры приближенный и единомышленник Сперанского, впоследствии один из тех реакционеров конца 1810-х—1820-х гг., которые использовали мистику в качестве орудия полицейского угнетения. В бытность Магницкого попечителем Казанского учебного округа (1819—1826) был разгромлен Казанский университет за «безбожное направление». Заголовок «Надписи к портретам» заставляет предполагать, что эпиграммы обращены к разным лицам. В таком случае вторая направлена, очевидно, против Дмитрия Павловича Рунича (1780—1860), который в качестве попечителя Санкт-Петербургского учебного округа осуществлял в Петербурге те же мероприятия, что Магницкий в Казани. В 1821 г. Рунич организовал суд над профессорами Петербургского университета, в лекциях которых он усмотрел «противухристианскую проповедь». Суд окончился увольнением профессоров.

Стол и постеля (стр. 149). Впервые — «Благонамеренный», 1821, № 10, стр. 145. Подписано: «Варшава». *Лель* (слав. миф.) — бог любви и весны. *Услад* — древнерусский воин-певец, литературный персонаж, подсказанный образом Баяна из «Слова о полку Игореве». В 1819 г. Вяземский напечатал балладу «Услад».

«Благодарю вас за письмо...» (стр. 149). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 253. Печ. по авторизованной копии. Возможно, что стихотворение обращено к дочери Карамзина *Екатерине Николаевне* (1809—1867), впоследствии в замужестве княгине Мещерской. В 1821 г. Карамзины жили в Петербурге и А. И. Тургенев, который упоминается в стихотворении, был их постоянным посетителем. *Лаваль* граф, Иван Степанович (ум. в 1846) — французский эмигрант, церемониймейстер двора. *Тремя помноженный Антон* и т. д. — Прокопович-Антонский, Антон Антонович (1771—1848), профессор Московского университета, директор университетского Благородного пансиона, в котором учились братья Тургеневы и Жуковский, председатель Общества любителей российской словесности. *Василий Львович* — В. Л. Пушкин. *Привесть в печатанную веру.* В 1821 г. подготовлялось издание стихотворений В. Л. Пушкина. *Горголи* Иван Саввич (1770—1862) — петербургский оберполицмейстер. *Крон* (греч. миф.) — бог времени.

Всякий на свой покрой (стр. 151). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 182. Судя по выпадам против «Беседы», стихотворение могло быть написано и значительно раньше 1822 г. *Денис* — Д. И. Фонвизин. *Вралькин* — вероятно, подразумевается Шаховской. *Пускай ворчат себе расколы.* В арзамасском кругу «Беседу» в качестве сборища староверов называли расколом.

Отложенные похороны (стр. 152). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 281. Печ. по авторизованной копии. Написано не позднее

1822 г., так как помещено в рукописном сборнике этого года. *Стикс* (греч. миф.) — река, за которой начиналось царство мертвых.

Цветы (стр. 154). Впервые — «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 266. *Лиза бедная.* Имеется в виду героиня повести Карамзина «Бедная Лиза». *Нарцис* (греч. миф.) — прекрасный юноша, который влюбился в свое отражение в воде. После смерти он обратился в цветок.

Гусь (стр. 155). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 4, стр. 63.

Мудрость (стр. 156). Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, № 7, стр. 69. Басня «Мудрость» читалась на публичном собрании Общества соревнователей просвещения и благотворения, состоявшемся 22 мая 1823 г.

Молоток и гвоздь (стр. 156). Впервые — альм. «Полярная звезда» на 1824 г., стр. 31.

Язык и зубы (стр. 156). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 38, стр. 187.

Мои желания (стр. 157). Впервые — «Новости литературы», 1823, № 17, стр. 59. В журнальном тексте выпал — по-видимому случайно — стих 14. В тексте ПСС этот стих восстановлен (т. 3, стр. 314) без указания на источник. Печ. по первой публикации с восстановлением стиха 14 по ПСС. *Гость с холмов Токая* — токайское вино.

Воли не давай рукам (стр. 158). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г., стр. 198. *Архонты* — в древних Афинах архонтами назывались верховные правители республики, избиравшиеся на год. Здесь Вяземский употребляет слово «архонты» в смысле — вельможи, сановники. *Пусть слепа, да руки зрячи.* Богиня правосудия Фемида (греч. миф.) изображалась с весами в руках и с повязкой на глазах (в знак беспристрастия). *Долгоруков благородный смело волю дал рукам.* Князь Яков Федорович Долгорукий (1659—1720), один из приближенных Петра I, позволял себе в Сенате резко оспаривать мнения царя. По преданию, он однажды изорвал заготовленный по приказанию Петра указ. Петр в конце концов согласился с Долгоруким и указ не возобновил. Об этом поступке Долгорукого говорит и Пушкин в «Стансах». Долгорукий был героем в глазах тех представителей дворянства, которые мечтали о некоторой политической независимости своего класса по отношению к самодержавию. *Мой Пегас под стать ослам* и т. д. Пегас — крылатый конь, служивший музам (греч. миф.). Вяземский намекает здесь на цензурные стеснения.

Давным-давно (стр. 159). Впервые — «Полярная звезда» на 1824 г., стр. 322. В тексте «Полярной звезды» третий стих последней строфы читается: *Давно ль на воздухе притворном.* В авторизованном рукописном сборнике стихотворений Вяземского 1855 г.

против этого стиха рукой автора написано: «Так сказано и напечатано для цензуры, а, разумеется, следует придворном».

Песня зеваки (стр. 160). Впервые — «Новости литературы», 1824, № 6, стр. 94. Без подписи. 31 января 1824 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Вот песня из водевиля, которая очень понравилась нашим зевакам. Дай Карамзиным и Воейкову; только скажи именно, чтобы не выставлять моего имени, потому что на вызов публики назвать авторов остались мы неизвестными» (О. А., т. 3, стр. 7). Водевиль «Кто брат, кто сестра?» Вяземский написал в конце 1823 г. совместно с А. С. Грибоедовым, по просьбе директора Московского императорского театра Ф. Ф. Кокошкина, для бенефиса актрисы М. Д. Львовой-Синецкой, которой Кокошкин покровительствовал. Бенефис состоялся 24 января 1824 г. Об обстоятельствах написания водевиля Вяземский рассказал в статье «Дела иль пустяки давно минувших лет». Полемизируя с появившейся в «Русском вестнике» в 1873 г. статьей В. Родиславского о неизданных пьесах Грибоедова, Вяземский отмечает: «...Ошибочно показание, что куплеты «Жизнь наша сон! Все песнь одна!..» писаны именно Грибоедовым. Напротив, написаны они именно мною, в подражание французской песне, которую певал в то время заезжий француз» (ПСС, т. 7, стр. 338). По свидетельству Вяземского, он взял на себя «всю стихотворную часть», а Грибоедов всю прозу.

Цензор (стр. 161). Впервые — «Славянин», 1830, № 1, стр. 42. Подписано: «С франц<узского>. К. В-ий». Издатель «Славянина» Воейков вместо Красовского поставил Ларобине, вместо Голицине — Г — е; к Г — е он сделал подстрочное примечание: «Генерал-полицмейстер парижский, славный невежеством, но еще более ханжеством». Ему же принадлежит и указание: «С французского». Восстанавливаем имена на основании авторизованного рукописного сборника 1855 г. (БЛ, Вяз. 1/1). В этом сборнике против стихотворения «Цензор» Вяземский написал: «Это примечание и имя Ларобине рукоделие Воейкова. У меня было Красовский и князь Голицын. Впрочем, стихи были напечатаны совершенно без моего ведома и цензорства». Несмотря на внесенные им изменения, Воейков за напечатание этой эпиграммы попал на гауптвахту. *Красовский* Александр Иванович (1780—1857) — цензор Петербургского цензурного комитета в 1821—1828 гг., один из самых беспощадных, тупых и ханжеских цензоров 1820-х гг. *Голицын* Александр Николаевич (1773—1844) — один из вдохновителей реакции и мистического мракобесия последнего периода царствования Александра I. Эпиграмма скорее всего написана до 1824 г., когда Голицын был удален с поста министра народного просвещения, следовательно перестал ведать цензурой. В письмах Вяземского к Тургеневу 1822—1823 гг. имя Красовского упоминается очень часто и всегда с величайшим возмущением. 21 мая 1823 г. Вяземский пишет по поводу цензоров Красовского и Бирукова: «Уж лучше без обиняков объявить мне именное повеление (как в том уверили однажды Василия Львовича) не держать у себя бумаги, перьев, чернил и дать расписку, что отказываюсь навсегда от грамоты... А делать из каждой странички моей государ-

ственное дело, которое должно переходить через все инстанции, право, ни на что не похоже» (О. А., т. 1, стр. 323). 31 мая Вяземский пишет по поводу пушкинских «Братьев-разбойников»: «Я благодарил его и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах. Я пробую, сколько могу, но все же ныряю ко дну. Дело в том, что их было двое, а мне достается одному уплывать на островок рассудка, вопреки погони Красовских с товарищами» (О. А., т. 1, стр. 327).

Ответ древнего мудреца (стр. 161). Впервые — «Новости литературы», 1824, ч. 10, стр. 96. Подпись: «К. В-ий».

Прелести деревни (стр. 161). Впервые — «Новости литературы», 1824, ч. 10, стр. 34. Подпись: «К. В-ий». Направлено против сентиментализма. *Эклога* — стихотворение, воспевающее сельскую, пастушескую жизнь.

Того-сего (стр. 162). Впервые — «Полярная звезда» на 1825 г., стр. 191. *Старик Вольтер дар угождать имел.* Вяземский намекает на то, что Вольтер, заклеймивший в своих сочинениях церковь и деспотическую монархию, в то же время жил при дворе прусского короля Фридриха II и переписывался с Екатериной II. *Куда как пуст Лужницкого журнал!* Издатель враждебного Карамзину и его последователям «Вестника Европы» М. Т. Каченовский (см. о нем стр. 443) некоторые свои статьи подписывал «Лужницкий старец» (от Лужники — район Москвы).

Недовольный (стр. 163). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г., стр. 287.

К журнальным близнецам (стр. 164). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1825 г., стр. 289. Подпись: «Кн. Вяз. . .». *Журнальные близнецы* — Дмитриев, Михаил Александрович (1796—1866), который в 1824 г. с антиромантических позиций вел с Вяземским полемику по поводу «Бахчисарайского фонтана» Пушкина, и его единомышленник, водевилист Писарев, Александр Иванович (1803—1828). В статье 1873 г. «Дела иль пустяки давно минувших лет» Вяземский вспоминает о том, как Писарев задел его, под именем Мишурского, в одном из своих водевилей. «Это было во время полемики моей с М. А. Дмитриевым по поводу «Бахчисарайского фонтана» (ПСС, т. 7, стр. 338—339).

«Клеврет журнальный, аноним. . .» (стр. 165). Впервые — «Новости литературы», 1825, № 2, стр. 91. Подпись: «К. В-ой».

«Педантствуй сплошь, когда охота есть. . .» (стр. 165). Впервые — «Новости литературы», 1825, № 5, стр. 131. Подпись: «Кн. В-ой».

«Жужжащий враль, едва заметный слуху!..» (стр. 165). Впервые — «Новости литературы», 1825, № 8, стр. 118. Подпись: «К. В-ой».

Черта местности (стр. 165). Впервые — «Северные цветы» на 1825 г., стр. 298. Стихотворение связано с полемикой 1824 г. о классицизме и романтизме (см. об этом во вступительной статье). «Высокому слогу» классиков Вяземский шутливо противопоставляет здесь «черты местности» (местный колорит), являющиеся принадлежностью поэтики романтизма.

«Пред хором ангелов семья святая...» (стр. 166). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 390. Издатели ПСС указывают, что эпиграмма печатается по копии 1825 г. Обнаружить эту копию не удалось. В. Нечаева в примечании к этой эпиграмме высказала убедительное предположение, что она направлена против царской семьи (стр. 544).

Альбом (стр. 166). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 53.

Семь пятниц на неделе (стр. 167). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 102. *Брюсовский альманах* — средневековый календарь, содержавший всевозможные предсказания на сотни лет вперед. *Графов* — прозвище графа Д. И. Хвостова. *Флюгарин иль Фиглярин* — прозвища Фаддея Булгарина. *Семь пирамид* — вероятно, Вяземский имеет в виду Гизескую группу пирамид древнего Египта, в которую входила великая пирамида Хеопса. *Семь мудрецов* — мыслители древней Греции, жившие в VIII и VI вв. до н. э. С некоторыми расхождениями в именах мудрецов о них упоминают многие древние авторы. *Семь чудес.* Семью чудесами света назывались в древности семь архитектурных и скульптурных произведений: пирамиды египетских фараонов, висячие сады вавилонской царицы Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, созданная Фидием статуя Зевса, надгробный памятник царя Мавзола в Галикарнасе, Колосс родосский, маячная башня в Александрии. *Владыке снилось., семь коров.* В библейском сказании об Иосифе Прекрасном рассказывается о том, что египетскому фараону приснились семь тощих коров, которые пожрали семь тучных коров; этот сон предвещал семь лет голода. *Рим семь холмов подошвой давит.* Рим называли городом на семи холмах. *Семь городов входили в спор* и т. д. По преданию, семь городов Греции оспаривали друг у друга честь считаться местом рождения Гомера.

К мнимой счастливице (стр. 169). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 108. В мае 1826 г. Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: «Твои стихи к мнимой красавице (ах, извини: счастливице) слишком умны. А поэзия, прости, господи, должна быть глуповата». *От Пигмальоновой любви.* Скульптор Пигмалион (греч. миф.) влюбился в изваянную им статую Галатеи. Вняв его мольбам, Афродита оживила статую.

Нарвский водопад (стр. 173). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 63. Это стихотворение (в первоначальной редакции) Вяземский послал Пушкину в Михайловское в письме из Ревеля от 4 августа 1825 г.: «Вот, пожалуй, что вылилось у меня здесь! Только надобно кое-что исправить. Заметь и доставь мне за-

мечания... Я доволен тут одним нравственным применением, но стихи что-то холодны!» В ответном письме от 14—15 августа Пушкин подробно разбирает «Нарвский водопад»; о некоторых строках он отзывается восторженно, другие подвергает критике. Часть пушкинских замечаний Вяземский принял, перерабатывая стихотворение для печати. В письме от 28 августа — 6 сентября Вяземский откликнулся на пушкинский разбор «Водопада», частью соглашаясь с замечаниями Пушкина, частью отстаивая свои поэтические образы. «Вбей себе в голову, — пишет он в этом письме, — что этот весь водопад не что иное, как человек, взбитый внезапною страстию. С этой точки зрения, кажется, все части соглашаются, и все выражения получают une arrière pensèe <заднюю мысль>, которая отзывается везде» («Переписка» Пушкина, т. 1. СПб., 1906, стр. 253—254, 264—265, 281—282).

О. С. Пушкиной (стр. 174). Впервые — «Северные цветы» на 1826 г., стр. 3. Стихотворение обращено к сестре Пушкина, Ольге Сергеевне Пушкиной (1797—1868), по мужу (вышла замуж в 1828 г). Павлищевой. Лето 1825 г. О. С. Пушкина, как и Вяземские, проводила в Ревеле. В письме из Ревеля от 4 августа 1825 г. (с текстом «Нарвского водопада») Вяземский пишет: «Здесь есть и Льва Сергеевича сестра, милое, умное, доброе создание, с которою видимся раз десять в день и говорим о племяннике Василья Львовича» («Переписка Пушкина», т. 1, стр. 252).

Станция (стр. 175). Впервые — альм. «Подснежник», 1829, стр. 32. Издатели ПСС поместили это стихотворение под 1828 г., сославшись на современный список, в котором рукой автора дата 1825 переправлена на 1828. Этот список нам неизвестен; в примечании же к «Станции» Вяземский прямо говорит: «Эта глава путешествия точно писана за несколько лет». Исходя из этого, мы принимаем датировку 1825 г. Двадцать стихов из «Станции» (16—35) Пушкин включил в примечания к «Евгению Онегину» (к строфе XXXIV седьмой главы; начинается стихом «Теперь у нас дороги плохи»). Из «Станции» же взят, в несколько измененном виде, эпиграф к «Станционному смотрителю»:

Коллежский регистратор
Почтовой станции диктатор.

Поясняем только те реалии, которые не объяснены или не полностью объяснены в «Примечании» Вяземского. Стих *Для проходящих* взят из басни Дмитриева «Прохожий». *За славной тенью Задунайской.* Фельдмаршал Петр Александрович Румянцев (1726—1796) одержал во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. ряд побед (в частности в битве при Кагуле), за что ему было присвоено имя Задунайского. *Мы доберемся до луны.* Здесь луна (полумесяц) — символ Оттоманской империи и ислама. *За тенью царственной жены* — Екатерины II. *За греков молвим речь в Стамбуле.* Намек на национально-освободительную борьбу греков против турецкого владычества. *Истории тьму-таракани.* Каламбур: в X в. на Керченском проливе образовалось русское княжество Тмутаракань. *Мой Пушкин, строф твоих достойных.* Вяземский имеет в виду

строфы XXX—XXXIV первой главы «Евгения Онегина»; в них говорится о женских ножках. *Тут романтическая связь: Единства места не держась.* Единство места — одна из догм классической драматургии (все действие пьесы должно было происходить на одном и том же месте), которую отвергали романтики. В «Примечании» Вяземского: *Поэт волею или неволею должен быть педантом или Кесарем: писать комментарии на самого себя.* Вяземский имеет в виду произведения Юлия Цезаря: «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне».

Две луны (стр. 185). Впервые — ПСС, т. 3, стр. 388. Печ. по автографу. Издатели ПСС располагали также копией, датированной 1825 г.

Запретная роза (стр. 186). Впервые — «Московский телеграф», 1826, № 5, стр. 3. Подпись: «В». Героиня стихотворения «Запретная роза» — Елизавета Петровна Киндякова (ум. в 1854 г.), племянница Е. А. Тимашевой (см. о ней стр. 458); в 1824 г. она вышла замуж за И. А. Лобанова-Ростовского, в 1826 г. развелась с ним и в 1828 г. вышла замуж за А. В. Пашкова. Лобанов-Ростовский и Пашков изображены в стихотворении Вяземского в виде шмеля и пчелы любви. В 1826 г. Пушкин написал стихотворение «К. А. Тимашевой», в котором есть строки:

Соперницы запретной розы
Блажен бессмертный идеал.

В статье «Взгляд на русскую литературу в 1825 и 1826 гг.», появившейся в 1827 г. в № 1 «Московского телеграфа», русская литература была иносказательно изображена в виде «запретной розы». В этой связи III Отделение получило донос на «Московский телеграф», вероятно написанный Булгариным (см. М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855. СПб., 1908, стр. 257).

Коляска (стр. 186). Впервые — «Московский телеграф», 1826, № 20, стр. 146. Печ. по авторизованной копии. В этой копии (в рукописном сборнике 1855 г.) текст подвергнут основательной переработке, очевидно в виду предполагавшегося издания стихотворений Вяземского. В этой редакции он и напечатан в сб. «В дороге и дома». Мы принимаем эту редакцию как несомненно отражающую последнюю авторскую волю. Приводим наиболее значительные варианты журнального текста. Эпиграф — из биографии Альфиери, в переводе гласящий: «Но, не находя нигде покоя, кроме как в движении и рассеянии, даваемом путешествием...» К заглавию подстрочное примечание: «Разумеется, что это путешествие вымышленное: ученый не найдет в нем статистических сведений, политик — государственных обозрений, философ — наблюдений нравственных относительно того или другого народа, сатирик — лукавых намеков, эпиграмматических применений и проч. Не для них оно писано, а для благосклонных охотников до путешествий за тридевять земель, в тридесятое царство и покоряющихся правилу: не любо, не слушай, а врать не мешай. Сочинитель». Вместо стихов 34—57 в журнальном тексте:

И недоступного обзора
От нас бегущие края,
И океан воздушной степи
Без берегов и без границ,
Стихии вольности и птиц,
Которой чужды наши цепи,
Наш хищный дух и наша злость,
В которой смертный — робкий гость,
И прихоть ветров непослушных,
В досаду кесарей воздушных,
Мечтавших в зыбкой вышине
Хозяйничать, как в дольнем мире, —
Всё ум развязывает шире!
И всё, что в беспробудном сне,
В душе запущенной, под спудом
Таилось на забвенном дне,
На вольном воздухе, как чудом,
Всё быстро ожило во мне.
Телесной лености острастка
Нужна и в нравственном быту!
Как скачет легкая коляска,
Так мыслит ум мой на лету...

После стиха *И контролирую себя* в журнальной редакции:

То, чтоб долги и неустойки
Мне выручить в свою чреду,
Смельчак, в воздушные постройки
Надежды капитал кладу.

К стиху *Знакомый песнью нам пострел* в журнальном тексте подстрочное примечание: «Le menage de garçon» — песня, переведенная Д. В. Давыдовым». В конце — примечание редакции «Московского телеграфа»: «Можем обещать читателям «Телеграфа», что в книжках нашего журнала за 1827 год будут печататься следующие главы из сего „Путешествия“». Главы эти не появились и нам неизвестны. Вместо того в 1827 г. Вяземский напечатал в «Московском телеграфе» свое старое стихотворение, посвященное Шаликову, под заглавием «Эпизодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Вздыхалова» (см. примечание к этому стихотворению). *Безмолвней строгого трапписта.* Трапписты — монашеский орден, строгий устав которого предписывал, между прочим, полное молчание. *И роберт жизни на крестах.* Каламбур: крéсти — карточная масть, и кресты — ордена. Роберт (роббер) — законченная партия в некоторых карточных играх. *Прекрасным всадником гордясь.* Шуточная переделка, применительно к Пегасу (мифологическому коню поэтов), стиха из десятой оды Ломоносова, где о коне императрицы Елизаветы Петровны говорится:

И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь.

Йорик — герой «Сентиментального путешествия» Стерна.

Море (стр. 192). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1828 г., стр. 18. Стихотворение написано летом 1826 г., после того как до Вяземского в Ревель дошло известие о казни пяти декабристов. Вяземский сообщил «Море» Пушкину в письме от 31 июля 1826 г. (об этом письме см. вступительную статью). Декабрьская катастрофа, ужас перед расправой над лучшими людьми России составляют подтекст стихотворения «Море». Так его и воспринял Пушкин, ответивший Вяземскому в письме от 14 августа:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

«Правда ли, — продолжает Пушкин, — что Николая Т<ургенева> привезли на корабле в ПБ? Вот каково море наше хваленое!» («Переписка Пушкина», т. 1, стр. 359—362, 364). *Светлеет лик младой богини* и т. д. Вяземский имеет в виду миф о рождении Афродиты из морской пены.

Байрон (стр. 195). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 13, стр. 41. Смерть Байрона, в апреле 1824 г., произвела на Вяземского потрясающее впечатление. 26 мая 1824 г. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «Какая поэтическая смерть — смерть Байрона! Он предчувствовал, что прах его примет земля, возрождающаяся к свободе, и убежал от темницы европейской. Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину. Вот случай Жуковскому! ...Греция древняя, Греция наших дней и Байрон мертвый — это океан поэзии! Надеюсь и на Пушкина». (О. А., т. 3, стр. 48—49). И в письме от 26 июля: «Я сам брюхат смертью Байрона, прозою...» (там же, стр. 62). *Иракловы столпы.* Геракл или Геркулес (греч. миф.) прошел через Европу и Ливию и в память об этом странствии воздвиг «Геркулесовы столбы», которые считались пределом древнего мира.

Теперь мне недосуг (стр. 198). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 14, стр. 6.

Выдержка (стр. 199). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 17, стр. 121. *Матадор* — козырная карта в игре ломбер. *Носки* — карточная игра, по условиям которой проигравшего бьют по носу. *Жлуди* — карточная масть (трефы). *Вины* — карточная масть (пики). *Не усидит, когда загну.* Загнуть угол карты в игре в банк — увеличить ставку. *Вот партьи дамской игрочки, Друзья, два бедные Макара.* Возможно, что речь идет о сотрудниках шаликовского «Дамского журнала» М. Н. Макарове и Б. К. Бланке (см. стр. 412). *Муха* — карточная игра. *Горка* — карточная игра. *Умный выйграл ноги.* Поговорка картежников при проигрыше: «Хоть выиграл ноги — есть на чем бежать». *Плевки* — игра, состоящая в

состязании, кто дальше плюнет. *Игрой ты не убьешь бобра.* Имеется в виду пословица: «Не убить бобра — не видать добра».

К Илличевскому (стр. 202). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 15, стр. 3. Адресат этого стихотворения — Алексей Демьянович *Илличевский* (1798—1837), лицейский товарищ Пушкина. В лицее Илличевский в первое время считался соперником Пушкина; излюбленным его жанром были эпиграммы. В 1827 г. Илличевский издал сборник стихотворений «Опыты в антологическом роде». Настоящим стихотворением Вяземский, очевидно, откликнулся на присылку ему этого сборника.

1828 год (стр. 202). Впервые — «Русский зритель», 1828, № 1, стр. 67. Стихотворение написано в Мещерском, имении Саратовской губернии, принадлежавшем П. А. Кологривову, отчиму В. Ф. Вяземской. В декабре 1827 г. Вяземский выехал в Мещерское, где уже находилась его семья, и там встречал Новый год. Стихотворение «1828 год» перекликается с новогодним посланием к В. Л. Пушкину (1820). *Кребильон* Проспер (1674—1762) — французский драматург, прославившийся трагедиями.

«Кто будет красть стихи твои?..» (стр. 205). Впервые — «Памятник отечественных муз», 1827, стр. 132.

«Крохоборам» (стр. 205). Впервые — «Московский телеграф», 1825, ч. 1, стр. 216. Без подписи.

«Двуличен он! избави боже!..» (стр. 206). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1829 г., стр. 184.

Послание к А. А. Б. (стр. 206). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1829 г., стр. 164. Адресата этого стихотворения установить не удалось. *Весь век стал бригадир* — неточная цитата из оды Державина «На счастие»; у Державина: «И целый свет стал бригадир». *Слёнин* Иван Васильевич (1789—1836) — книгопродавец и издатель, владелец книжной лавки на Невском проспекте.

Простоволосая головка (стр. 208). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1829 г., стр. 189. 26 июля 1828 г. Вяземский писал Пушкину из села Мещерского Саратовской губернии: «Здесь есть милая бабочка, Всеволожская, Пелагея Николаевна... Вот портрет Всеволожской, на днях написанный (далее следует текст стихотворения «Простоволосая головка». — *Л. Г.*). Сделай милость, на эту тему напиши мне что-нибудь и на листочке формата письма моего: я обещал ей дать твоего письма в альбум, да пришли еще что-нибудь твоего неизданного для того же альбума. Только прошу не убивать меня в своем ответе: тебе прибыли издали никакой не будет, а меня только погубишь» («Переписка Пушкина», т. 2, стр. 70—72). В ответном письме от 1 сентября Пушкин писал: «Благодарю тебя умом и сердцем, т. е. вкусом и самолюбием, за портрет Пелагеи Николаевны». В черновой редакции этого письма: «Благодарю за стихи и за то, что ты сравнил красавицу с моим стихом».

Черные очи (стр. 209). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 280. Стихотворение обращено к Александре Осиповне Россет (1809—1882), в замужестве Смирновой. Смирнова поддерживала дружеские отношения с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, впоследствии была близка с Гоголем. Пушкин, которому в 1828 г. нравилась А. А. Оленина, откликнулся на «Черные очи» Вяземского стихотворением «Ее глаза», противопоставляя в нем южной красоте Смирновой (отец Смирновой был французский эмигрант) северную красоту Олениной. *Торквато* — Торквато Тассо, см. о нем стр. 424.

Зимние карикатуры (стр. 210). Впервые — альм. «Денница» на 1831 г., стр. 41. Зимой 1828 г. Вяземский жил в Мещерском, имении Кологривовых в Саратовской губернии, откуда ездил в Пензу. По поводу «Зимних карикатур» Пушкин писал Вяземскому 2 января 1831 г.: «Стихи твои прелесть... Обозы, поросята и бригадир удивительно забавны». *Мерзлый пар.* Это выражение взято из оды Ломоносова «Вечернее размышление о божьем величии». *Дюпень* Шарль (1784—1873) — французский математик и экономист. *И сколько блюд и сколько звезд* — имеются в виду орденские звезды. *Покоем беспокойным.* Речь идет о столах, расставленных в виде буквы П. Славянское наименование буквы П — Покой. *Простор локтям! — изрек французской кухни суд* — намек на стихотворение Панара, в подражание которому Вяземский написал стихотворение «Устав столовой» (см. это стихотворение и примечание к нему). *Разносит кушанья по табели о рангах* — т. е. по старшинству чинов. Табель о рангах — закон Петра I о гражданских чинах, разделенных на четырнадцать классов. *Несут вдову Клико, согретую в руках.* Клико — марка шампанского, называвшегося так по имени владелицы виноградников. *Рокамболь* — карточная игра.

Русский бог (стр. 215). Впервые — отдельный листок, Лондон, 1854. Вольная русская типография. Печ. по автографу. Текст «Русского бога» (с незначительными разночтениями) находится в письме Вяземского к А. Тургеневу от 18 апреля 1828 г. («Архив братьев Тургеневых», вып. 6, стр. 65). Вяземский сообщает, что написал это стихотворение «дорогою из Пензы, измученный и сердитый...». «Русский бог» широко расходился в списках. Герцен не только опубликовал «Русского бога» отдельным листком, он напечатал его и во второй книжке «Полярной звезды» (1856). Эта сатира вошла также в сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», изданный Огаревым (1861). Полемизируя с Вяземским как реакционным государственным деятелем 50-х гг., Герцен неоднократно язвительно напоминал ему, что он является автором «Русского бога». Например, в статье 1857 г. «Под спудом» («Колокол», л. 5). Герцен писал о Вяземском: «Мы его почти считаем нашим сотрудником по «Полярной звезде» за его милое стихотворение, напечатанное нами». Далее, в той же статье, Герцен цитирует «Русского бога». В бумагах Маркса сохранился сделанный для него Н. Сазоновым немецкий перевод «Русского бога». *Душ, представленных в залог,* — намек на разорение дворянства, вследствие которого значительная часть помещичьих имений с крепостными «душами»

была заложена государству. *Бригадирш обоих полов.* Бригадир — офицерский чин, упраздненный еще Павлом I. Вяземский здесь имеет в виду комедию Фонвизина «Бригадир», в которой между прочим осмеяна глупая провинциальная барыня-бригадирша. *Бог всех с анненской на шеях.* Царский орден св. Анны давался в петлицу или «для ношения на шее». *Бог бродяжных иноземцев* и т. д. Эта строфа выражает враждебность Вяземского по отношению к наемной царской бюрократии, в рядах которой видную роль играли прибалтийские немцы.

К ним (стр. 217). Впервые — «Литературная газета», 1830, № 5, 21 января, стр. 36. Сохранился автограф с пометками Пушкина. Некоторые из поправок Пушкина Вяземский ввел в окончательный текст. Сверху на автографе надписано рукой Вяземского: «Мои стихи вчерне, с замечаниями Пушкина». С другой стороны наверху рукой Пушкина: «Ради Христа, очисти эти стихи — они стоят „Уныния"». Слова *незримою стрелою* Пушкин взял в скобки и сбоку приписал: «Лишнее». Вместо стиха *В раскладке жребиев участок был мне нужен* в автографе был стих *Новорожденному дар на зубок был нужен.* На полях против этого стиха Пушкин написал: «Княгиня права, что морщится». Стих *Ему подвластные он обрекает дни* Пушкин поправляет: «Он обрекает наши дни». Начиная от стиха *Сей дар для избранных бывает мздой и казнью* и до конца Пушкин отчеркнул и на полях написал «прекрасно». В апреле 1828 г., во время русско-турецкой войны Вяземский получил от правительства демонстративный отказ на свою просьбу о прикомандировании к главной квартире действующей армии. В июле того же года Вяземскому запрещено было издавать газету, под тем предлогом, что «его императорскому величеству известно бывшее его поведение в С.-Петербурге и развратная жизнь его, недостойная образованного человека» (материалы, относящиеся к этим эпизодам, см. ПСС, т. 9, стр. 96—114). Вяземский был убежден, что на него в 1828 г. были посланы доносы, и в первую очередь подозревал Булгарина. В 1829 г. Вяземский представил Николаю I свою «Исповедь». В «Исповеди» он оправдывает свой образ действий, утверждает, что его либерализм никогда не выходил за пределы «законно-монархические», и намекает на существование черневших его врагов и клеветников. Стихотворение «К ним» несомненно создавалось под влиянием этих настроений. *Тать* — вор. *Перун* (слав. миф.) — бог грома и молний; употреблялось также в значении молнии, удара грома. Вяземский здесь имеет в виду удары, исходящие от верховной власти.

Три века поэтов (стр. 218). Впервые — альм. «Радуга» на 1830 г., стр. 79. Греческий писатель Гесиод разработал древнюю легенду о четырех веках человечества: золотом, серебряном, медном и железном. Вяземский применил эту легенду к эволюции социального положения писателя. Фантастическому «золотому веку» слияния с природой, безмятежности и блаженства противополагается «серебряный век» дворянской поэзии с официальным восхвалением вельмож и засилием светски-альбомных жанров. Но еще низменнее, с точки зрения Вяземского, буржуазный «железный век», когда в литературу проникают коммерческие отношения и

поэт становится «оброчником альманахов». *Бриарей* (греч. миф.) — титан с пятьюдесятью головами и сотнею рук.

Слезы («Сколько слез я пролил...») (стр. 219). Впервые — альм. «Денница» на 1830 г., стр. 99.

Слеза («Когда печали неотступной...») (стр. 219). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1830 г., стр. 124.

Дорожная дума («Колокольчик однозвучный...») (стр. 220). Впервые — «Литературная газета», 1830, № 3, 11 января, стр. 20.

Святочная шутка (стр. 220). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г., стр. 88. Адресат стихотворения — Екатерина Александровна Тимашева (1798—1881), жена наказного атамана Оренбургского казачьего войска. Тимашева была дилетанткой-поэтессой. Ей посвящали стихи Пушкин («Я видел вас, я их читал...»), Баратынский, Ростопчина. В «Северных цветах» непосредственно после «Святочной шутки» Вяземского помещен «Ответ» Тимашевой на это стихотворение. Подпись под ответом: «К....а Т.....шева». *Кто сват его: Европы ль Вестник.* Редактором журнала «Вестник Европы» был М. Т. Каченовский, давнишний противник Вяземского и его литературных единомышленников. *Или старам стала глупам.* В «Старой записной книжке» Вяземский рассказывает о князе Платоне Степановиче Мещерском, казанском наместнике при Екатерине II. Между прочим он сообщает: «Поговорка: старам стала, плохам стала — ведется от этого Мещерского. Эти слова сказаны о нем казанским татарином» (ПСС, т. 8, стр. 89).

Леса (стр. 221). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г., стр. 94.

Родительский дом (стр. 222). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г., стр. 111. Эпиграф взят из стихотворения Жуковского «Торжество победителей» (вольный перевод баллады Шиллера «Das Siegfest»). *Пока детей своих с Сатурном* и т. д. Сатурн (римск. миф.) — бог времени, пожирающий своих собственных детей.

Осень 1830 года (стр. 227). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г., стр. 68. Эпиграф взят из рассказа Виктора Гюго «Последний день осужденного». Во время холерной эпидемии, свирепствовавшей осенью 1830 г., Вяземский с семьей укрылся в своем подмосковном имении Остафьеве. Там и написано это стихотворение.

К журнальным благоприятелям (стр. 229). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1831 г., стр. 119. Стихотворение написано в разгар ожесточенной полемики между «Литературной газетой», объединявшей Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского и других, с изданиями Булгарина, Греча и Полевого. За-

одно Вяземский вспоминает и свою прошлую деятельность — автора сатир и эпиграмм. *Из глазуновского кладбища.* Глазунов, Иван Петрович (1762—1831) — петербургский книгопродавец. В тогдашней поэзии его книжная лавка не раз фигурировала в качестве кладбища непризнанных поэтов («Видение на берегу Леты» Батюшкова, «К другу стихотворцу» Пушкина и др.). *Из вас я повил пред народом* и т. д. В «Слове о полку Игореве» Всеволод говорит Игорю: «А мои ти куряни... под трубами повиты, под шеломы възлелеяны, конець копїя въскоръмлени...»

Хандра (стр. 231). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1832 г., стр. 88.

Тоска (стр. 232). Впервые — альм. «Северные цветы» на 1832 г., стр. 90. *Бухарина* Вера Ивановна (1812—1902), с 1832 г. по мужу Анненкова, с 1830-х гг. поддерживала отношения с рядом выдающихся русских писателей. Ей же посвящены стихотворения Вяземского 1832 г. «К Бухариной» и «Вера и София». Настоящее стихотворение написано как бы от лица Бухариной.

Разговор 7 апреля 1832 года (стр. 233). Впервые — сб. «Новоселье», СПб., 1833, стр. 497. Стихотворение обращено к графине Елене Михайловне *Завадовской* (1807—1874), считавшейся одной из первых петербургских красавиц. Пушкин написал ей стихотворение «Все в ней гармония, все диво». М. Боровкова-Майкова утверждает, что Завадовская является прототипом Нины Воронской («Евгений Онегин»), ссылаясь на свидетельство Вяземского (в письме к жене). См. заметку М. Боровковой-Майковой: «Нина Воронская» («Евгений Онегин»), «Звенья», 1934, № 3—4, стр. 172—175. Автор заметки касается и отношений Вяземского с Завадовской. Вяземский обосновался в Петербурге в 1830 г., когда он поступил на службу в министерство финансов.

К старому гусару (стр. 235). Впервые — сб. «Новоселье», СПб., 1833, стр. 449. Стихотворение обращено к Д. В. Давыдову по случаю выхода в 1832 г. издания его сочинений. Вяземский вспоминает «дружескую артель», собиравшуюся в 1810—1811 гг. в его московском доме, — это Д. Давыдов, Федор Толстой, Жуковский, В. Пушкин, Батюшков. *Черт ли в тайнах идеала.* Намек на увлечение литературной молодежи 20-х начала 30-х гг. немецкой романтически-идеалистической философией и поэзией. *Моэт* — марка шампанского. *Невинно* — каламбур (без вина). *На водах* — на курортах, где лечатся водами.

Поручение в Ревель (стр. 237). Впервые — альм. «Альциона», 1833, стр. 105. Николай Николаевич *Карамзин,* сын Н. М. Карамзина и племянник Вяземского, родился в 1817 г., умер шестнадцати лет 21 апреля 1833 г. в Дерпте, куда Карамзины переселились для того, чтобы сыновья могли учиться в Дерптском университете. В 1820-х гг. Вяземские и Карамзины несколько раз проводили лето в Ревеле (Таллине). *Олай* — церковь св. Олая, увенчанная чрезвычайно высоким шпилем. *Штрихберг, Вимс, Тишерт, Фаль* — живописные места в окрестностях города. *Рейсдаль* Якоб

(1628 или 1629—1682) — голландский художник-пейзажист. В 1862 г. в «Искре» (№ 39) В. Курочкин откликнулся сатирическим фельетоном «В гостях и дома» на выход сборника «В дороге и дома». В этом фельетоне он между прочим пародирует «Поручение в Ревель» в стихотворном монологе, который «произносит» В. А. Соллогуб:

О поэт!
Ты атлет,
Брат Гомеру родной!
И в кафе, на софе
Je suis ivre tout à fait,[1]
Наслаждаясь тобой.

O mon cher,
Dans tes vers[2]
Скрыта мудрость веков:
В них талмуд, алкоран,
Tu es bon, tu es grand,[3]
Гарибальди стихов!

Ты из скал
Высекал
Каждый стих, каждый штрих:
Штрихберг, Вимс, Тишерт, Фаль —
Вся скалистая шваль —
Отражается в них!

Как Олай,
Извергай
Бурных рифм водопад,
И прельстишь весь Париж,
Как прельщал до vertige[4]
Киссинген и Карлсбад!

«Надо помянуть, непременно помянуть надо...» (стр. 239). Впервые — газ. «Берег», 1800, № 114, 17 июля. Стихотворение опубликовал П. П. Вяземский (сын Петра Андреевича) в работе «А. С. Пушкин 1826—1837 по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям». Печ. по факсимиле в изд. «Семь автографов А. С. Пушкина. 1816—1837. Из собрания П. П. Вяземского. 26 мая 1880 г.». Эта шутка написана Вяземским совместно с Пушкиным (Пушкину принадлежат стихи от *Господина Шафонского* до *Да англичанина Warnt'a)* и послана была Жуковскому в письме от 26 марта 1833 г. «Мы часто поминаем, — пишет Вяземский, — Василия Андреевича Жуковского и кума его Михаила Трофимовича Каченовского». Стихотворение представляет собой умышленно бессвязный набор самых разных имен.

[1] Я совершенно пьян (франц.) — *Ред.*
[2] О дорогой мой, в твоих стихах (франц.) — *Ред.*
[3] Ты добр, ты велик (франц.). — *Ред.*
[4] Головокружения (франц.). — *Ред.*

К Языкову (стр. 242). Впервые — сб. «Новоселье», СПб., 1834, стр. 570. В тексте «Новоселья» имеется ряд опечаток. В стихе 3 вместо «не» — «же»; в стихе 28 вместо «пить» — «пищ»; в стихе 43 вместо «однообразьи» — «однообрачьи». Н. М. Языков в 1822—1829 гг. был студентом Дерптского университета. В 1827 г. по инициативе Языкова в Дерпте была основана русская студенческая корпорация «Рутения» (по образцу немецких корпораций); Языков был первым ее председателем. К дерптскому периоду относятся застольные песни Языкова, в которых воспевание вина, дружеских пирушек и т. п. сочетается с политическим вольнолюбием. Песни Языкова пользовались популярностью в Дерптском и других университетах. *Вновь Дерпту задал Юрьев день.* В XI в. русский великий князь Ярослав I основал город Юрьев (ныне — Тарту). В XIII в. город был захвачен немецкими рыцарями; он получил название Дерпт. В 1704 г. Дерпт, принадлежавший тогда Швеции, был снова присоединен к России. Юрьев день (26 ноября) — день, когда в Московской Руси крестьянам разрешалось переходить от одного владельца к другому. В данном контексте, однако, Вяземский, очевидно, не имеет в виду это значение «Юрьева дня»; здесь это просто русская форма имени св. Георгия. *Здесь пить о имени твоем.* Вяземский имеет в виду стих «И пьянствуйте об имени моем» из песни Языкова «Когда умру, смиренно совершите. . .» *Сквозь кои ты промчался жарко* и т. д. Приведенные в сноске к этим строкам стихи являются цитатой из послания Языкова к А. Н. Вульфу (1828).

Два разговора в книжной лавке (стр. 244). Впервые — альм. «Альциона» на 1833 г., стр. 55. Направлено против Н. А. Полевого. Вяземский, в 1825—1827 гг. деятельный сотрудник журнала Полевого «Московский телеграф», к концу 1820-х гг. порывает с Полевым (в начале 1830-х гг. отношения приняли характер открытой вражды). Вяземский, в частности, не мог примириться с критическим отношением Полевого к Карамзину, в первую очередь к историческим трудам Карамзина. В 1829 г. Полевой приступил к работе над своей «Историей русского народа», которая должна была полемически противостоять «Истории Государства Российского» Карамзина. Полевой объявил подписку на 12 томов. Первый том «Истории русского народа» вышел в 1830 г., шестой том — в 1833 г. (к 33 г., очевидно, и относится эпиграмма Вяземского). На этом издание прекратилось, а в руках у противников Полевого оказалось новое против него оружие. *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель. Еще Пушкин в полемической статье об «Истории русского народа», помещенной в 1830 г. в «Литературной газете», подчеркивал, что Полевой находится под влиянием французских буржуазных историков эпохи Реставрации (Баранта, Тьерри), к их числу принадлежал и Гизо.

Еще тройка (стр. 244). Впервые — сб. «Новоселье», СПб., 1834, стр. 244. Стихотворение представляет собой своего рода вариацию пушкинских «Бесов» (1830).

К графу В. А. Соллогубу (стр. 245). Впервые — сб. «Новоселье». СПб., 1834, стр. 46. *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — автор ряда повестей (наиболее известная — «Тарантас», 1845). В 1829—1834 гг. Соллогуб был студентом Дерптского университета, где учился одновременно с сыновьями Карамзина. С семьей Карамзина во время пребывания ее в Дерпте Вяземский и члены его семьи поддерживали тесную связь. Поэтому Вяземский, очевидно, и был в курсе сердечных дел Соллогуба, товарища своих племянников Карамзиных.

Флоренция (стр. 247). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 192. Печ. по авторизованной копии. Авторская датировка 1834 г. В ноябре 1834 г., по пути в Рим к больной дочери, Вяземский останавливался во Флоренции.

Роза и кипарис (стр. 248). Впервые — «Современник», 1836, № 1, стр. 226. Стихотворение посвящено Марии Александровне Потоцкой, рожд. Салтыковой (ум. в 1845 г.), жене графа Болеслава Станиславовича Потоцкого.

Kennst du das Land? (стр. 248). Впервые — «Современник», № 3, стр. 91. Подпись: «К. В.». В стихотворении идет речь о резиденции жены в. кн. Михаила Павловича Елены Павловны (1806—1873) в Ораниенбауме. Заглавие стихотворения взято из первой строки песни Миньоны (роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», кн. третья). Эпиграф представляет собой переделку той же первой строки. У Гете: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen». *Dahin! Dahin!* — также цитата из песни Миньоны. Песня Миньоны высоко ценилась романтиками как выражение романтического стремления в бесконечное. *Жуковский.* В журнальном тексте фамилия Жуковский заменена тремя звездочками. *Торквато* — Тассо (см. о нем стр. 424). *Тициан* Вечеллио ди Кадоре (1477—1576) — итальянский художник.

Шутка (стр. 250). Впервые — «Москвитянин», 1841, № 1, стр. 59. В журнальной публикации стихотворения имеется примечание: «Это стихотворение, давно написанное, до сих пор не было еще напечатано». В ПСС стихотворение это напечатано с подзаголовком: «Графине Соллогуб, ныне Свистунова». Надежда Львовна Соллогуб (умерла в 1903 г.) — двоюродная сестра писателя В. А. Соллогуба, фрейлина в. кн. Елены Павловны в 1830-х гг., пользовалась славой одной из первых петербургских красавиц. Она нравилась Пушкину, который в 1832 г. посвятил ей стихотворение: «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» Если стихотворение Вяземского действительно относится к Н. Л. Соллогуб, то написано оно не позднее 1836 г., так как в этом году Н. Л. Соллогуб вышла замуж за А. Н. Свистунова (брата декабриста П. Н. Свистунова), и Вяземский не мог уже называть ее графиней. *Фофон* — глупец.

«Синонимы: *гостиная, салон...*» (стр. 251). Впервые — О. А., т. 3, стр. 322. Текст эпиграммы Вяземский сообщает А. Тургеневу в письме от 7 июля 1836 г. В первой книжке «Совре-

менника» появилась «Хроника русского в Париже» А. Тургенева. В статье «Мнение о литературном журнале «Современник», издаваемом А. С. Пушкиным на 1836 год» («Северная пчела», № 129) Булгарин обрушился между прочим на «Хронику» Тургенева, в частности на язык автора, который он называет «смесью французского с нижегородским»: «Русский хронист „нашел салоны и прихожие, полные посетителей, у гг. Тьера и Гизо“». Посылая эпиграмму Тургеневу, Вяземский писал: «...Вот ответ Булгарину. Передай его в „Наблюдатель“». В «Московском наблюдателе» эпиграмма не появилась. *Видок* и *Фиглярин* — прозвища Булгарина.

Я пережил (стр. 251). Впервые — «Альманах на 1838 год», стр. 309. Четверо сыновей Вяземского умерли в малолетстве, в 1835 г. он потерял дочь Прасковью. Возможно, что стихотворение также навеяно смертью Пушкина и смертью И. И. Дмитриева в 1837 г.

Ты светлая звезда (стр. 252). Впервые — «Альманах на 1838 год», стр. 322.

На память (стр. 253). Впервые — «Современник», 1837, ч. 5, стр. 314.

Памяти живописца Орловского (стр. 254). Впервые — «Альманах на 1838 год», стр. 342. Третий стих пятой строфы печатаем с позднейшим авторским исправлением в копии: *То-то песни заунывны* вместо *Что за песни заунывны. Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — художник, бравший для своих картин и рисунков темы из военного, а также крестьянского и мещанского быта. Любил изображать ямщиков, мчащуюся тройку и т. п. В 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Орловский — фламандской школы, но кто русее его в содержаниях картин?» (О. А., т. 1, стр. 377). *Ям* — село, жители которого несли почтовую повинность.

«На радость полувековую...» (стр. 257). Впервые — газ. «Санкт-Петербургские ведомости», 1838, № 29, 5 февраля. Перепечатано в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1838, № 7, стр. 125, вместе со стихотворениями Бенедиктова и Гребенки, под общим заглавием: «Стихотворения, сочиненные для пятидесятилетнего юбилея И. А. Крылова». 2 февраля 1838 г. сугубо официальным образом было отпраздновано пятидесятилетие литературной деятельности Крылова. В зале Дворянского собрания был устроен по подписке обед на триста человек. За этим обедом Жуковский и В. Одоевский говорили речи, Блудов прочитал юбилейные стихи Бенедиктова, О. Петров спел стихи Вяземского, положенные на музыку М. Вьельгорским. В 1823 г. Вяземский, работавший тогда над статьей «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева», принял участие в полемике вокруг Дмитриева и Крылова в качестве сторонника Дмитриева; басни Крылова Вяземский тогда считал «грубыми». Пушкин, уже в начале 1820-х гг. высоко ценивший Крылова, был крайне недоволен позицией Вяземского (эти разногласия между Пушкиным и Вяземским отразились в их переписке 1823—1825 гг.). К 1838 г. Вяземский полностью пересмотрел свое

отношение к Крылову. Н. Греч, описывая в своих «Записках» юбилей Крылова, язвительно заметил: «Пели очень хорошие куплеты кн. Вяземского. За несколько лет до того Вяземский в одном послании своем воспевал трех баснописцев «Иванов»: Лафонтена, Хемницера и Дмитриева, а слона-то и не заметил; теперь же возгласил: „Здравствуй, дедушка Крылов“» (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. СПб., 1886, стр. 501). На это обвинение Вяземский отвечает в «Приписке» 1876 г. к статье «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» (ПСС, т. 1). *И дочкам он давал уроки* — намек на комедию Крылова «Урок дочкам» (1806). *Петр кивает на Ивана* и т. д. Вяземский перефразирует здесь строки Крылова: «Про взятки Климычу читают, А он украдкою кивает на Петра» («Зеркало и Обезьяна»).

Брайтон (стр. 259). Впервые — «Отечественные записки», 1839, № 12, стр. 3. *Брайтон* — приморский город в Англии, где Вяземский провел осень 1838 г.

Самовар (стр. 260). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1840 г., стр. 425. *Убри* Петр Яковлевич (1774—1847) — русский посланник во Франкфурте. Эпиграф — цитата из стихотворения Державина «Арфа». *Хоть вы причислены к Германскому союзу.* Намек на служебное положение хозяина дома во Франкфурте. *Лёве* — немецкая актриса. *Дюран* — французский актер, гастролировал в Германии и России. *Гернани* (Эрнани) — герой одноименной драмы В. Гюго, впервые поставленной в 1830 г. Вокруг этого спектакля разгорелась страстная борьба между романтиками и «классиками».

Любить. Молиться. Петь (стр. 263). Впервые — «Одесский альманах» на 1840 г., стр. 448.

Петербургская ночь (стр. 264). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1841 г., стр. 138. *Елисейские поля* (греч. миф.) — страна загробного блаженства.

«Смерть жатву жизни косит, косит...» (стр. 266). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1841 г., стр. 204. Цитируя стихи 21—36 этого стихотворения, Белинский писал в статье «Русская литература в 1844 году»: «Мое время, наше время — какие это волшебные слова для человека! И как не считать ему своего времени за золотой век Астреи: ведь он тогда был молод и счастлив! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлением его юный ум, его юное сердце, а впечатления юности неизгладимы! .. И потому мы не можем без живой симпатии читать этих стихов, в которых отжившее свой век поколение, в лице одного из замечательнейших своих представителей, с такою грустною искренностью признает себя побежденным и, отказываясь делить интересы нового поколения, уже не обвиняет его за то, что оно живет жизнью тоже своего, а не чужого времени. .. Да, понятна такая грусть, равно как и то, что поколение карамзинского периода нашей литературы проиграло тяжбу о своем первенстве скорее, нежели увидело и призналось, что его тяжба проиграна» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 8. М., 1955, стр. 435—436). *И сколько лир висит безгласных на кипарисах молодых.* С 1826 по 1839 гг. русская

поэзия лишилась Рылеева (1826), Веневитинова (1827), Грибоедова (1829), В. Л. Пушкина (1830), Дельвига (1831), Гнедича (1833), Пушкина (1837), И. Дмитриева (1837), Ал. Бестужева (1837), Д. Давыдова (1839). Со всеми перечисленными здесь поэтами Вяземский был близок или знаком.

Дорожная дума (стр. 267). Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1842 г., стр. 308. В сентябре 1841 г. Вяземский посетил в Михайловском вдову Пушкина. В ПСС указано: «Сохранился автограф, под которым означено: 23 сентября 1841 г. в карете. Переписал в сельце Михайловском, в доме Пушкина» (ПСС, т. 4, стр. VIII). Автограф этот сейчас обнаружить не удалось.

Русские проселки (стр. 268). Впервые — «Современник», 1842, ч. 25, стр. 93. В своем экземпляре «В дороге и дома» Вяземский в предпоследнем стихе *но наш авось велик* заменил *но русский бог велик* (так и в черновом автографе). Мы вводим эту поправку. В черновом автографе имеется помета: «25 сентября, в карете (между Островом и Михайловским)». Как и стихотворение «Дорожная дума» (см. примечание к нему), написано в 1841 г., во время поездки в село Михайловское. *Мак-Адам* (1756—1836) — английский инженер, специалист по мощению дорог. *Как Демон Пушкина злословит всё и всех.* Вяземский имеет в виду стихотворение Пушкина «Демон» (1823). *Я на море горел.* В 1838 г. на пароходе, на котором Вяземский ехал в Германию, произошел пожар.

Наталии Николаевне Пушкиной (стр. 270). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 262. Авторизованная копия, датированная 1841 г., утрачена. После гибели Пушкина его вдова прожила два года в имении своего брата. В 1839 г. Н. Н. Пушкина вернулась в Петербург. В первое время она жила довольно замкнуто, поддерживая отношения главным образом с кругом Карамзиных — Вяземских.

Комар и клоп (стр. 271). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 296. Печ. по автографу. Стихотворение, написанное в 1842 г., направлено против Ф. Булгарина. В 1842 г. Булгарин издал сборник нравоописательных очерков под заглавием «Комары. Всякая всячина. Рой первый».

Листу (стр. 271). Впервые — отдельным листом «Стихи Листу». СПб., 1842. В 1842 г. Лист гастролировал в России.

Ночь в Ревеле (стр. 272). Впервые — «Москвитянин», 1844, № 4, стр. 237. Стихотворение посвящено дочери Н. М. Карамзина Екатерине Николаевне (1809—1867). В 1828 г. Е. Н. Карамзина вышла замуж за князя П. И. Мещерского. Карамзины, Мещерские и Вяземские неоднократно проводили лето в Ревеле. *Кащей* (Кощей)-бессмертный — фантастический персонаж русских сказок и былин. *Дней Петровых современник* и т. д. Речь идет о герцоге де Кроа (Круа), Карле-Евгении. Он служил в армиях датской, австрийской и русской и в 1700 г. под Нарвой был взят в плен шведами. В 1701 г. герцог де Кроа умер в Ревеле, оставив большие долги и, по шведским законам, был за это лишен погребения

(впредь до оплаты долгов наследниками). Тело де Кроа долго сохранялось в церкви св. Николая, под стеклянным колпаком, в известковом погребе, предохранявшем его от тления. *Бригитта* — шведская святая; под Ревелем был воздвигнут монастырь св. Бригитты, разрушенный еще в XVI в.; от него остались развалины. *Олай.* Церковь св. Олая — один из выдающихся архитектурных памятников Ревеля. *О тебе не раз державы Переведались в бою* и т. д. Ревель (ныне Таллин) в XIII—XVI вв. переходил из рук в руки. Им завладевали Дания, Швеция, меченосцы, Ганзейский союз. В 1710 г. принадлежавший тогда Швеции Ревель перешел к России в результате побед Петра I над войсками шведского короля Карла XII (1682—1718).

«Уж не за мной ли дело стало?..» (стр. 275). Впервые — сб. «Вчера и сегодня», кн. 1. СПб., 1845, стр. 164. Стихотворение, очевидно, навеяно смертью близких людей. В 1840 г. умерла дочь Вяземского Надежда, в 1844 г. — Баратынский. Стихотворение написано, очевидно, до смерти А. И. Тургенева, умершего в декабре 1845 г.

«К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный...» (стр. 276). Впервые — «Москвитянин», 1845, № 2, стр. 87. *Фиглярин* — одно из прозвищ Ф. В. Булгарина. Вяземский утверждал, что Булгарина он «окрестил в Фиглярина и Флюгарина» (ПСС, т. 10, стр. 246). В литературных кругах особое возмущение вызвало то обстоятельство, что Булгарин хвастал своей близостью с Грибоедовым. В 1830 г. Булгарин напечатал в «Сыне отечества» «Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове».

Хавронья (стр. 276). Впервые «Отечественные записки», 1845, № 4, стр. 328. Подпись: ***. Стихотворение, перефразирующее басню Крылова «Свинья», направлено против Ф. Булгарина как театрального критика. Булгарин, несомненно осведомленный об авторстве Вяземского, откликнулся на появление «Хавроньи» в «Северной пчеле» (№ 106): «Едва ли, кроме двух-трех сцен в «Мертвых душах», появилось что-либо подобное в печати, как стихотворение «Хавронья». В русской литературе никогда не появлялось картины отвратительнее. «Хавронья» «Отечественных записок» входит в театр во всей нечистоте: с грязною щетиною и запахом. Ведь у женщин могут случиться нервные припадки от таких благовонных стихов. Хороша поэзия, в которую нельзя заглянуть, не запасшись английскою солью и одеколоном». В № 6 «Отечественных записок» стихотворение Вяземского взял под защиту Белинский. В статье «Несколько слов о фельетонисте «Северной пчелы» и „Хавронье“», входившей в состав «Литературных и журнальных заметок», Белинский писал: «Ему почему-то очень не понравилась напечатанная в «Отечественных записках» басня «Хавронья». О вкусах спорить нечего! Он нашел крайне неприличными слова: грязная щетина, запах и вонь. И об этом не спорим. Кому не известно, что и басня Крылова «Свинья» в блаженной памяти доброе старое время показалась неприличною и что в провинциальном обществе даже теперь, по свидетельству Гоголя, дамы, вместо того чтоб сказать: стакан воняет, говорят стакан

дурно ведет себя; вместо высморкаться, говорят: обойтись посредством платка?..» И далее: «Нападая на дурной вкус «Иллюстрации», перепечатавшей из «Отечественных записок» стихотворение «Хавронья», фельетонист говорит: «Мы бы не прикоснулись ни к «Иллюстрации», ни к «Отечественным запискам», чтобы не уподобиться Хавронье Крылова, искавшей только сора в барских палатах, если б...» и проч. Нельзя не согласиться, что эта фраза как будто подслушана фельетонистом у какой-нибудь Хавроньи... Далась же ему эта Хавронья! И за что это он так ополчился на нее, как будто на самого страшного врага своего?..» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 9. М., 1855, стр. 140, 143).

Важное открытие (стр. 277). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 294. Печ. по авторизованной копии. В ПСС отнесено к 1845 г. Направлено против Ф. В. Булгарина, которого уже с 20-х гг. (с момента следствия над декабристами) стали подозревать в политических доносах и связях с тайной полицией. *Фиглярин и Видок* — прозвища Булгарина; последнее прозвище дал ему Пушкин по имени французского полицейского шпиона Эжена-Франсуа Видока (1775—1857), опубликовавшего свои скандальные мемуары. Прозвище Фиглярин произведено от слова фигляр. *Что он поляк и русский сплошь.* Поляк по происхождению, Булгарин в 1800-х гг. начал военную службу в России; затем бежал в Варшаву и сражался против русских в рядах польского легиона, входившего в состав армии Наполеона. После войны Булгарин вернулся в Россию.

«Наши дачи хороши...» (стр. 278). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 284. В ПСС отнесено к 1845 г. *Рейсдаль* Якоб (1628 или 1629—1692) — голландский художник-пейзажист.

Рим (стр. 279). Впервые — «Московский сборник», № 3, М., 1846, стр. 541. Возможно, что написано в 1835 г., когда Вяземского вызвала в Рим смертельная болезнь дочери Прасковьи. Однако в стихотворении нет прямых подтверждений такой датировки.

Тропинка (стр. 280). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 319. Печ. по автографу. На автографе авторская помета: «Лесная дача, август, 1848». Речь идет о даче Вяземских в Лесном, под Петербургом.

Сумерки (стр. 282). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 323. Печ. по авторизованной копии. Из авторской пометы на сохранившемся черновом автографе явствует, что стихотворение написано в сентябре 1848 г., на даче в Лесном под Петербургом. Эпиграф — цитата из стихотворения Державина «Евгению. Жизнь званская».

Зима (стр. 283). Впервые — «Москвитянин», 1849, № 1, стр. 95.

Песнь на день рождения В. А. Жуковского (стр. 284). Впервые — газ. «Русский инвалид», 1849, № 25, 1 февраля. 29 января 1849 г. В. А. Жуковскому исполнилось 66 лет.

В этот день предполагалось торжественно отпраздновать пятидесятилетие его литературной деятельности. Официальный юбилей не состоялся, так как Жуковский не приехал из-за границы. «Но за невозможностью торжественного и официального празднества, — вспоминал впоследствии Вяземский, — друзья и близкие лица к Жуковскому отпраздновали сей день у меня домашним образом. Его императорское высочество государь наследник, ныне благополучно царствующий император, почтил милостивым присутствием своим это семейное торжество, во изъявление сердечного сочувствия и уважения к бывшему своему наставнику. На этом вечере граф Блудов прочитал стихи, мною написанные по поводу юбилея; граф Михаил Вьельгорский пел куплеты мои на день рождения Жуковского; Михаил Глинка, тогда только что возвратившийся из-за границы, оживил музыкальную часть этого вечера» («Русский архив», 1866, стр. 1064).

Степь (стр. 286). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 64. Написано в 1849 г. по пути в Одессу.

Босфор (стр. 287). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 90. Написано в 1849 г. во время пребывания Вяземского в Константинополе.

Ночь на Босфоре (стр. 289). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 83. Написано в 1849 г. во время пребывания Вяземского в Константинополе.

Палестина (стр. 290). Впервые — «Известия II отделения И. А. Н.», 1858, т. 7, стр. 72. В том же году отдельным оттиском из этого тома «Известий» были изданы «Пять стихотворений кн. П. А. Вяземского», куда вошло и стихотворение «Палестина». В 1849—1850 гг. Вяземский и его жена гостили в Константинополе у своего сына Павла Петровича (состоял в Константинополе на дипломатической службе). В апреле — июне 1850 г. Вяземские из Константинополя совершили поездку в Иерусалим. Возможно, что тогда же и написано настоящее стихотворение. В нем изображена дорога из Яффы в Иерусалим. В своем путевом дневнике Вяземский отметил: «Одно тягостное место для посещающих Иерусалим есть расстояние семи или девятичасовое от Рамле до Святого града. Да и то легко сделать удобным, если монастырям, латинскому и греческому, выстроить на дороге два постоялых двора для отдыха или ночлега, если кому захочется провести ночь. Не желаю, чтобы устроена была тут железная дорога и можно было прокатиться в Иерусалим легко и свободно, как в Павловский воксал, но все не худо облегчить труд человеческой немощи; а то, въезжая в Иерусалим, судя, по крайней мере, по себе, чувствуешь одну усталость после трудной дороги. Не каждому дана сила и духовная бодрость Готфрида, который после трудного похода, еще труднейшего боя и приступа, по взятии города, тотчас бросился поклониться гробу господню» (ПСС, т. 9, стр. 267). *Ревекка* — по Библии, жена Исаака, мать Иакова. В Библии рассказывается о том, что раб, посланный искать жену для Исаака, впервые увидел прекрасную Ревекку, когда она с кувшином на плече шла за водой к источнику («Бы-

тие», гл. 24). *Богомольцем к святыне, С детства родственной мне.* Речь идет о местах Иерусалима и его окрестностей, связанных с евангельскими преданиями и служивших предметом религиозного поклонения. О посещении этих мест Вяземский рассказывает в упомянутом уже путевом дневнике (ПСС, т. 9, стр. 244—277).

Проезд через Францию в 1851 году (стр. 294). Впервые — ПСС, т. 4, стр. 372. Печ. по авторизованной копии. В 1851 г. Вяземский выехал за границу для лечения тяжелого нервного заболевания. Во Франции он стал свидетелем событий и настроений, связанных с подготовкой и осуществлением государственного переворота 2 декабря 1851 г., обеспечившего диктаторскую власть Луи Бонапарту (будущему Наполеону III), тогда еще президенту Французской республики. Вяземский резко отрицательно относился к Наполеону III, и этим объясняется «антифранцузская» окраска данного стихотворения. *Дела давно минувших лет* — неточная цитата из «Руслана и Людмилы» Пушкина. *Буцефал* — любимый конь Александра Македонского. *Вандея* — департамент в западной части Франции, аграрный район, во время Великой французской буржуазной революции ставший очагом контрреволюционных мятежей. *Троянский конь* (греч. миф.) — деревянный конь, который был коварно введен на территорию осажденной Трои; в коне этом были спрятаны неприятельские воины. *Вандомская колонна* — колонна на Вандомской площади в Париже, воздвигнутая Наполеоном I в честь побед, одержанных его армиями. *Хоть нос мой, знаете вы сами* и т. д. Бонапартисты опасались происков со стороны представителей низложенной династии Бурбонов. Большие, горбатые носы были характерной фамильной чертой наружности Бурбонов; Вяземский был курносым. *Улисс* — Одиссей.

Масленица на чужой стороне (стр. 296). Впервые — «Отечественные записки», 1853, № 6, стр. 243. Печ. по тексту сб. «П. А. Вяземский. За границею». Карлсруэ, 1859, стр. 7. В Дрездене 19 февраля 1853 г. Вяземский отметил в своей записной книжке: «Кончил свою „Масленицу на чужбине"» (ПСС, т. X, стр. 2). Это стихотворение — яркий образец творчества Вяземского того периода, когда псевдонародность вытесняет из его сознания некогда присущее ему прогрессивное понимание народности. *Пряник, мой однофамилец.* Вяземский имеет здесь в виду вяземские пряники. *Вдовушка Клико.* Вяземский имеет в виду шампанское, изготовлявшееся французской фирмой, которая принадлежала вдове Клико.

Княгине Вере Аркадьевне Голицыной (стр. 299). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 28. Печ. по автографу. *В. А. Голицына,* рожд. Столыпина, была сестрой невестки Вяземского Марии Аркадьевны, жены его сына Павла Петровича (они сестры друга Лермонтова Алексея Аркадьевича Столыпина, прозванного «Монго»). В 1849—1850 гг. Вяземский гостил в Константинополе у сына, состоявшего там при русской дипломатической миссии. В Константинополе находилась тогда и В. А. Голицына. 17 апреля 1853 г. Вяземский отмечает в «Записной книжке»: «Написал стихи к Вере Голицыной при отправлении моего портрета» (ПСС, т. 10, стр. 3).

Здесь дата, таким образом, на один день расходится с датой, выставленной на автографе. 15 июня 1853 г. Вяземский там же записал: «Бедная княгиня Вера Голицына скончалась в Берлине; когда я из Дрездена послал к ней, перед Светлым воскресеньем, свой портрет со стихами, я имел какое-то минутное чувство, что все это дойдет до нее не вовремя. И в самом деле, все это пришло в Берлин, когда она была уже отчаянно больна, и, кажется, она ни портрета, ни стихов моих не видала. Давно ли она была в Константинополе в полном цвете здоровья, сил и красоты?»

Александрийский стих (стр. 301). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 281. Печ. по тексту «В дороге и дома», так как дошедший до нас автограф имеет черновой характер. Эпиграф взят из ранней редакции «Домика в Коломне». У Пушкина не *извилистый,* а *извивистый. Александрийский стих* — в русской поэзии шестистопный ямб с обязательной цезурой (словоразделом) после третьей стопы и с чередованием смежным рифм, мужских и женских. Эта форма создалась как адекватная двенадцатисложному стиху того же названия, самому распространенному из всех размеров французского классицизма. Вяземский много пользовался этим стихом и в частности культивировал традицию сатирического «александрийца». *В калитку не пройдет: не дозволяет чин.* Основано на историческом анекдоте. Один из вельмож Екатерины II сказал городничему, который показывал ему крепость и для сокращения пути хотел провести его через калитку: «Я пройду здесь, да чин мой слишком велик — не пройдет; поведи в ворота». *Василий Львович* — В. Л. Пушкин. *И Шекспир и Клопшток, Камоэнс, Ариосто.* Вяземский называет четырех великих представителей литератур Англии, Германии, Португалии, Италии, чье творчество либо предшествовало эпохе господства французского классицизма с его пуристическими нормами, либо избегло его воздействия (Клопшток). Все четыре поэта особенно высоко ценились романтиками. *Не ведали певцы журнальных гог-магогов. Гог и Магог* — в Библии имена князя и народа, которые, по пророчеству Иезекииля, придут некогда для истребления народа Израиля. *Известно: в старину российский грекофил* и т. д. Российский грекофил — В. Тредиаковский, впервые применивший русский гекзаметр (безрифменный шестиударный стих с промежутками между ударениями в два и — реже — в один неударный слог) в своей поэме «Тилемахида». Тредиаковский сознательно противопоставил гекзаметр александрийскому стиху, которым тогда уже переводили античные эпические поэмы. Неудача Тредиаковского отвратила русских поэтов от гекзаметра. Только в 1810-х гг. Гнедич начал гекзаметром переводить «Илиаду». В 1813 г. в органе шишковской «Беседы» «Чтение в Беседе любителей русского слова» разыгралась оживленная полемика между С. Уваровым и В. Капнистом. Уваров настаивал на необходимости переводить Гомера гекзаметром и поддерживал Гнедича; Капнист же, отрицая самую возможность русского гекзаметра, предлагал переводить Гомера русским народным стихом. *Величиной с Федору.* Вяземский имеет в виду пословицу «Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал». *Тень милая.* Относится к Жуковскому, умершему в 1852 г. В конце своей жизни Жуковский

гекзаметром перевел «Одиссею» Гомера. *Улисс* — Одиссей. *Омир* — Гомер.

Ночью на железной дороге между Прагой и Веной (стр. 304). Впервые — газ. «Русский», 1867, № 1—2, 13 марта, стр. 17. *С громом зыблются мосты* — цитата из баллады Жуковского «Людмила». Далее намеки на «Людмилу» Жуковского (толпы мертвецов, преследующих путников, пение петуха). 29 мая 1853 г. Вяземский отметил в «Записной книжке», что он прибыл из Праги в Вену. С 28-го на 29-е, очевидно, и сочинено стихотворение «Ночью на железной дороге» (см. примечание к стихотворению «Зонненштейн»).

Зонненштейн (стр. 307). Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 2. В августе 1853 г. Вяземский отметил в «Записной книжке»: «В разные поездки написал, т. е. не написал, а надумал: «Зонненштейн», «Фрейбург», «Прага», «Ночью на железной дороге», „Дрезден"» (ПСС, т. 10, стр. 4). В Зонненштейне (Саксония) находилось известное в свое время лечебное заведение для душевнобольных. Там четыре года (1824—1828) провел Батюшков, чье психическое заболевание оказалось неизлечимым. В 1853 г. Батюшков жил у родных в Вологде, где и умер в 1855 г.

Бастей (стр. 308). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 117. В ПСС отнесено к 1853 г. Эта датировка подтверждается тем, что Бастей находится в Саксонии, а в 1853 г. Вяземский долго жил в Дрездене и мог съездить оттуда посмотреть знаменитую скалу на берегу Эльбы.

Петр I в Карлсбаде (стр. 309). Впервые — «Москвитянин», 1853, № 21, стр. 67. Петр I посещал Карлсбад (Карловы Вары) в 1710-х гг. В записной книжке, которую Вяземский вел в Карлсбаде в мае 1853 г., он несколько раз упоминает о Петре I (см. ПСС, т. 10, стр. 47, 50—52).

Венеция (стр. 310). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 177. Написано во время пребывания Вяземского в Венеции осенью (август—ноябрь) 1853 г. *Экипажи — точно гробы.* К этому стиху в экземпляре «В дороге и дома» Вяземский в 1878 г. сделал приписку: «Гондолы с черною кибиткою своею». *Сансовино* Якопо (1477—1570) — итальянский архитектор и скульптор; в Венеции он создал ряд замечательных зданий и скульптурных памятников. *Джордано* Лука (1632—1705), *Порденоне* (1484—1540) — итальянские художники. *Факин* — бродяга. *Принчипесса* — княгиня, принцесса. *Сорбети* — шербет. *Сан-Марко* — собор св. Марка, покровителя Венеции. *Крылатый лев* — поблизости от собора св. Марка водружено скульптурное изображение крылатого льва. Лев св. Марка — эмблема Венеции. *Тедеско* — по-итальянски немец; так итальянцы называли австрийских поработителей. *Тут пятой Горшковский давит* и т. д. В 1849 г., после подавления национально-освободительного движения, австрийцы установили в Венеции осадное положение, которое оставалось в силе вплоть до 1854 г. Австрийским губернатором Венеции был генерал Горшковский.

В экземпляре «В дороге и дома» с авторскими пометками 1878 г. стих *Тут пятой Горшковский давит* и следующий отчеркнуты. Слова *не тряхнет?* подчеркнуты и внизу приписано: «Тряхнул, но на радость ли себе? Это еще вопрос нерешенный. В политическом отношении, да, решен, но в отношении к народному благоденствию сомнительно. Венецианцы платят теперь больше налогов, чем прежде. Стихотворение довольно живая и верная фотография». В этой приписке речь идет о положении в Венеции после ее освобождения от австрийской зависимости и присоединения к Итальянскому королевству (1866).

Из «Поминок» («Поэтической дружины...») (стр. 313). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 17. Печ. по автографу. Мы даем здесь посвященный Пушкину раздел стихотворного цикла «Поминки». Другие стихотворения цикла посвящены Языкову, Гоголю, Жуковскому, Дельвигу, Алексею Перовскому. Стихотворение, посвященное Пушкину, осталось незаконченным. Последние строки дошли до нас в черновом, неразборчивом виде. После напечатанного нами текста можно еще разобрать:

. . . . умов
В силе внутренней свободы
Независимой душой
Ты учился у природы...

В ПСС стихотворение датируется 1853 г. Замысел «Поминок» мог возникнуть под впечатлением смерти Гоголя и Жуковского, умерших в 1852 г. *Мемнонова статуя.* Вблизи Фив находилась гигантская статуя одного из египетских фараонов. Предание связало эту статую с мифологическим лицом — Мемноном, сыном Авроры (утренней зари); согласно легенде, статуя Мемнона на рассвете издавала гармонические звуки, приветствуя ими свою мать, Аврору. *Фелица* — киргиз-кайсацкая царевна, героиня аллегорического произведения Екатерины II «Сказка о царевиче Хлоре». Фелица — образовано от латинского felix (счастливый). Под именем Фелицы Державин прославлял Екатерину II и в своих одах «Фелице», «Благодарность Фелице», «Видение Мурзы». *Оклик: Чесма и Кагул.* Чесменская бухта и река Кагул — места, где в 1870 г. русские флот (под начальством А. Орлова) и армия (под начальством Румянцева) одержали решающие победы над турками. *Старец-бард остановил.* Речь здесь идет о чтении лицеистом Пушкиным своих стихов в присутствии престарелого Державина.

Эперне (стр. 317). Впервые — «В дороге и дома», стр. 203. *Эперне* — небольшой город в 142 километрах от Парижа, один из центров французского виноделия. Особенно славился виноторговец Моэт, выпускавший высокой марки шампанское. В сб. «В дороге и дома» к настоящему стихотворению имеется следующее примечание, по-видимому составленное М. Лонгиновым со слов Вяземского: «В конце 1838 года автор, посещая Эперне, вспомнил рассказ Давыдова о том, как в 1814 году он был с партизанским отрядом в Эперне, где встретил многих друзей, как они прослезились от радости при такой встрече и потом весело пировали. Автор написал

там первую часть этого не изданного до сих пор послания к Давыдову, которое и было последним, к нему адресованным. Давыдов вскоре умер, и чувства, возбужденные вестию о его смерти, выражены автором во второй части послания, написанной уже в 1854 году» (стр. 369). *Лихой казак* — очевидно, Матвей Иванович Платов (1751—1818), атаман донских казаков, командовавший казачьими полками, которые принимали участие в первой Отечественной войне. *Искал я друга в день возврата* и т. д. В июне 1839 г. Вяземский вернулся в Россию из заграничной поездки и не застал в живых Дениса Давыдова, умершего в апреле того же года. *Сеславин* Александр Никитич (1780—1858) — один из героев 1812 года, действовавший во главе армейского партизанского отряда. *Кульнев* Яков Петрович (1763—1812) — один из выдающихся русских военачальников, особенно выдвинувшийся во время шведской войны 1808—1809 гг.

Сознание (стр. 321). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 231, по тексту которого печатается. Дошедший до нас автограф не дает окончательной редакции стихотворения. Автограф служит основанием для датировки, так как он помещается на одном листе с автографом стихотворения «12 июля 1854 года». В этот день Вяземский написал в своей «Записной книжке»: «День моего рождения. Стукнуло 62 года. Дело идет к развязке» (ПСС, т. 10, стр. 136). Летом 1854 г. Вяземский постоянно встречался в Баден-Бадене с дипломатом В. П. Титовым, в свое время примыкавшим к кругу московских «любомудров». *Я пережил детей.* Вяземский пережил всех своих детей, за исключением сына Павла Петровича. Между 1835 и 1849 гг. Вяземский потерял трех взрослых дочерей.

Рябина (стр. 322). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 165, по тексту которого печатается. Дошедший до нас автограф не дает окончательной редакции стихотворения. В автографе после строфы 17 имеется впоследствии отброшенная строфа:

И слава сахарной Коломны
В глушь эту также не дошла;
Сырам вонючим сбыт огромный,
А неизвестна пастила.

Знакомый пруд, знакомый дом. Речь идет об имении Вяземских Остафьеве. *Потомка новой Элоизы.* Потомка — здесь женский род от потомок; «Новая Элоиза» — прославленный роман Руссо. *Жан-Жак* — Руссо, проповедовавший возвращение к безыскусственной простоте примитивной жизни.

Литературная исповедь (стр. 325). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 166. Печ. по автографу. Основанием для предположительной датировки служит стих *В Аксакове прочти поэтику ружья.* 30 августа 1854 г. Вяземский отметил в «Записной книжке»: «Вечером Титов читал у нас «Записки охотника» отца Аксакова» (ПСС, т. 10, стр. 137). «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова вышли в свет в 1852 г. В «Литературной исповеди» отчетливо сказалось враждебное отношение стареющего Вя-

земского к передовой общественной мысли, не только к революционным демократам — это в первую очередь, — но и к людям 40-х годов *(Каких-то — невдомек — сороковых годов),* которых он называет «родоначальниками литературной черни». *Плаксин* Василий Тимофеевич (1796—1869) — автор учебных пособий по истории русской литературы. *Галахов* Алексей Дмитриевич (1807—1892) — издавал в 1840—1850 гг. литературные хрестоматии. *Лагарп* Франсуа (1740—1803) — французский писатель и критик, видный теоретик позднего французского классицизма. *Певец финляндки Эды* — Е. Баратынский, написавший поэму «Эда». *Боярин-богатырь, оставив блеск двора* и т. д. Во времена Екатерины в кулачных боях принимали участие братья Орловы, основные деятели дворцового переворота, возведшего Екатерину на престол. *Журналов перешед волнуемое поле* и т. д. Вяземский перефразирует монолог Агамемнона из трагедии Озерова «Поликсена»:

Но жизни перейдя волнуемое поле,
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле
(акт 1, явл. 2).

Здесь Петр Иванович Бобчинский с крестным братом, т. е. с Добчинским. *Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет.* Герой одноименной поэмы Пушкина перед сном читает роман Вальтер Скотта. *Фрол Силин* — повесть Карамзина «Фрол Силин, благодетельный человек». *Календарь Острожского изданья.* Издания типографии в г. Остроге на Волыни относятся к XVI—XVII вв. *Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи* — Вяземский, Андрей Иванович (ум. в 1807 г.). *Канкрин* Егор Францевич (1774—1845), с 1823 г. министр финансов. С 1830 г. Вяземский, по распоряжению Николая I определенный на службу по министерству финансов, попал под начальство Канкрина.

Картина (стр. 330). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 161. Сохранился черновой автограф. В стихотворении, очевидно, изображено Женевское озеро (Леман). Вяземский описывает его в ряде своих стихотворений конца 1854 — начала 1855 гг., когда он жил в Веве. На этом основании мы и датируем данное стихотворение.

«Моя вечерняя звезда...» (стр. 330). Впервые — под заглавием «Вечерняя звезда» сб. «В дороге и дома», стр. 127. Печ. по автографу, имеющему разночтения по сравнению с текстом сб. «В дороге и дома». Автограф — листок из письма неустановленному лицу, датированного «14/26 января 55 г. Веве». На листке написано: «Во вчерашнем письме забыл я сказать Вам две вещи, одну Вы сами...» Вслед за этим следуют два стихотворения. Второе из них — «Моя вечерняя звезда...»

Снег (стр. 331). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 160. Сохранился автограф с первоначальной редакцией этого стихотворения, датированный январем 1855 г.

Англичанке (стр. 331). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 163. Печ. по авторизованной копии. В 1881 г. И. С. Аксаков напечатал это же стихотворение в газете «Русь» (№ 14), со следующим предисловием: «Это стихотворение, написанное князем Вяземским в альбом г-жи де Штейгер в 1855 г. в Швейцарии (в Веве), печатается нами с разрешения и по желанию самой г-жи де Штейгер, ныне Клаус, и прислано нам из Флоренции чрез Ф. Д. Косменко, который при этом сообщает нам следующие подробности: «Г-жа де Штейгер, несмотря на свое английское происхождение, знает Россию и питает к ней большое сочувствие. С князем Вяземским она познакомилась за несколько лет до встречи с ним в Веве... Знакомство с князем Вяземским и частые с ним встречи еще более упрочили в ней это русское направление. Г-жа де Штейгер большую часть жизни провела за границей, имела всегда обширный и разнообразный круг знакомства, но, по ее словам, такие живые, остроумные, приятные и интересные собеседники, каким был князь Вяземский, встречаются редко. Князь руководил ее занятиями русским языком и внушал ей любовь к «русским музам». Когда началась потом Восточная война 1854—1855 гг., то, несмотря на разгоревшуюся национальную вражду между русскими и англичанами, г-жа де Штейгер приняла живое участие в нашем поэте... Признательный за участие, князь Вяземский и написал г-же де Штейгер стихи». *Джон Буль* — шуточное прозвище англичан. *Пальмерстон* — см. примечание к стихотворению «Матросская песня».

Матросская песня (стр. 332). Впервые — ПСС, стр. 117. Печ. по списку, сделанному рукой В. Ф. Вяземской. Написано, очевидно, в 1855 г., так как в мае 1855 г. англо-французский флот появился перед Кронштадтом в тщетной надежде заманить стоявший там русский флот в открытое море. *Сжечь грозит синица* — намек на басню Крылова «Синица», в которой синица хвастает, что сожжет море. *Морской Никола* — св. Николай, который считался покровителем моряков и мореплавателей; в Кронштадте имелась посвященная ему церковь. *Непир* Чарльз (1786—1860) — английский адмирал, начальник эскадры, блокировавшей в 1854 г. порты Балтийского моря. *Пальмерстон* Генри Джон (1784—1865) — английский государственный деятель, проводивший враждебную России политику. *За цветной подвязкой.* Речь идет об английском ордене Подвязки.

Баден-Баден (стр. 334). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 139, по тексту которого печатается с поправками по черновому автографу. Так, например, в «В дороге и дома» 3—4-я строки 15-й строфы читаются:

От разных баррикад обломки
Булыжных буйных мостовых.

Составители ПСС датируют стихотворение 1855 г. Вяземский был в Баден-Бадене ранней весной в 1854 и 1855 гг. 18 апреля 1855 г. он записал: «По-здешнему 1-го мая, и открытие баденской дьявольщины — салонов, игры, ресторана» (ПСС, т. 10, стр. 165). *Капернаум и Вавилон.* В религиозной литературе иудейской и христианской Вавилон стал символом внешнего блеска, сочетающегося с

безбожием и развратом. Капернаум — город в Палестине, с которым предание связывает деятельность Христа. Христос предсказал гибель и разрушение равнодушному к его проповеди, погруженному в суету Капернауму. *Маркиз Г***, принцесса В***.* Стиховой размер требует здесь чтения названий букв по-славянски: Маркиз Глаголь, принцесса Веди.

Отъезд (стр. 336). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 168. Печ. по авторизованной копии. В сб. «В дороге и дома» напечатано неисправно. Так, стих 10 читается: *И занес в телегу ногу.* В своем экземпляре сборника Вяземский к этому стиху сделал отметку: «Что-то должно быть не так». В «Записных книжках» 1850-х гг. Вяземский неоднократно жалуется на неудачу своих поездок в Швейцарию, в частности в Женеву. Так, например, в июне 1858 г. в Женеве он записал: «Вот четвертый раз, что я в Швейцарии, а гор все еще не видал, так что начинаю худо верить» (ПСС, т. 10, стр. 194). Комментируемое стихотворение скорее всего относится к 1855 г. 11 марта 1855 г. Вяземский записал: «Ездил на устье Роны в проливной дождь». На следующий день записал: «Выехали из Веве на пароходе. Приехали в Женеву». *Не взобравшись на Салеву По следам Карамзина.* Пребывание Карамзина в Швейцарии относится к концу 1879 — началу 1880 гг. В «Письмах русского путешественника» Карамзин описал свои горные прогулки.

Береза (стр. 337). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 164. В ПСС стихотворение отнесено к 1855 г. Первые месяцы 1855 г. Вяземский провел за границей.

На прощанье (стр. 337). Впервые — сб. «Складчина», 1874, стр. 35. Осень 1855 г. Вяземский, незадолго перед тем назначенный товарищем министра народного просвещения, проводил под Петербургом на даче в Лесном (см. письмо Вяземского к В. П. Титову от 1 сентября 1855 г., ПСС, т. 10, стр. 159—161).

Царь Горох (стр. 340). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 237. Печ. по копии, датированной 1856 г. Выражение «это было при царе Горохе» означает — в незапамятные, в небывалые времена. Стихотворение обращено к Александру II. Оно показывает, что после Восточной войны и смерти Николая I даже в весьма консервативных кругах (к ним принадлежал тогда Вяземский) считали необходимым очистить общественную атмосферу. Надежды возлагались на нового царя.

«Приветствую тебя, в минувшем молодея...» (стр. 342). Впервые — «Известия II отделения И. А. Н.», 1858, т. 7, стр. 78. *Остафьево* — подмосковное имение Вяземских.

«Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть рано...» (стр. 344). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 260. В этом неоконченном стихотворении речь идет о графе Михаиле Юрьевиче *Вьельгорском* (1788—1856). Вьельгорский занимал высокие при-

дворные должности. В то же время он горячо увлекался искусством, особенно музыкой. Из стихотворения явствует, что оно написано после смерти Вьельгорского, следовательно не ранее 1856 г. В ПСС датировано 1857 г. Вьельгорского Вяземский трактует как воплощение и идеал аристократического дилетантизма. *Филидор* Франсуа-Андре (1726—1795) — французский композитор и выдающийся шахматист. Здесь употреблено как имя нарицательное, означающее шахматиста. *А Батюшков поздней игрой волшебных струн* и т. д. Вяземский имеет в виду батюшковское «Послание графу М. Ю. Велеурскому» (1811). Послание начиналось стихами:

О ты, владеющий гитарой трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура...

Эрато — муза лирической поэзии.

Александру Андреевичу Иванову (стр. 346). Впервые — газ. «Санкт-Петербургские ведомости», 1858, № 145, 5 июля. В газете к заглавию имеется примечание редактора: «Стихотворение это написано за два дня до смерти А. А. Иванова, который скончался, не узнав о его существовании». В 1858 г. Александр Иванов привез в Петербург свою знаменитую картину «Явление Христа народу» («Явление мессии»), над которой он работал в Италии свыше двадцати лет. Картина была выставлена в Академии художеств и вызвала горячие толки и споры. Прежде чем был решен вопрос о покупке картины царем, Иванов внезапно умер от холеры (3 июля 1858 г.). Вяземский тогда же написал стихотворение «На смерть А. А. Иванова», опубликованное только в 1862 г. в «В дороге и дома». *Я видел древний Иордан* и т. д. В 1850 г. Вяземский из Константинополя совершил путешествие в Палестину. *Глас вопиющего в пустыне.* В Евангелии эти слова пророка Исаии относятся к Иоанну Крестителю (Матф., III, 3). Иоанн Креститель изображен на переднем плане картины Иванова. *Предтеча* — Иоанн Креститель. *Грядет он, господа избранник* и т. д. 8 и 9 строфы представляют собой переложение проповеди Иоанна Крестителя (Матф., III, 10—12). *Покрытый кожею верблюда.* В Евангелии сказано: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса...» (Матф., III, 4).

Другу Северину (стр. 348). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 301. В ПСС указано, что стихотворение «печатается со списка, на котором помечено: «Карлсбад, 20 сентября, 1858 г.» (ПСС, т. 11, примеч., стр. IX). *Северин,* Дмитрий Петрович (1791—1865). См. о нем стр. 413. В 1850-х гг. во время своих заграничных поездок Вяземский иногда встречался и переписывался с Севериным, который в эти годы был русским посланником в Мюнхене.

Дорогою (стр. 348). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 297. В ПСС датировано 1858 г. В марте 1858 г. Вяземский ушел с поста товарища министра народного просвещения. В августе того же года он, после трехлетнего перерыва, выехал опять за границу. Упоминаемая в стихотворении «уютная дача» — это, очевидно, дача, на ко-

торой Вяземские жили под Петербургом, в Лесном. Эти соображения подтверждают датировку, предложенную составителями ПСС, но, конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что стихотворение относится именно к поездке 1858 г., а не к какой-либо другой из многочисленных поездок Вяземского за границу.

Вечер в Ницце (стр. 349). Впервые — сб. «П. А. Вяземский. За границею». Карлсруэ, 1859, стр. 39. *Антиба* (Антиб) — город на южном побережье Франции.

Ферней (стр. 350). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 324. Печ. по автографу. 2 июня 1858 г. Вяземский отметил в «Записной книжке», что он посетил Ферней. Тогда же Вяземский написал о Фернее статью. Ферней — имение в департаменте Эн, с 1758 г. принадлежавшее Вольтеру *(владелец Фернея)*. Вольтер прожил здесь последние 20 лет своей жизни. Вяземский принадлежал к поколению, воспитанному на философии, публицистике и поэзии Вольтера. Отразившийся в стихотворении «Ферней» испуг перед разрушительными взглядами Вольтера характерен для настроений позднего Вяземского. *И Ньютона хладным умом толкователь* и т. д. Вольтер очень много сделал для популяризации во Франции идей Ньютона. Вяземский в первую очередь имеет в виду вольтеровское «Истолкование основ Ньютоновой философии».

Дом Ивана Ивановича Дмитриева (стр. 352). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 52. В сб. «В дороге и дома» к стихотворению имеется следующее примечание: «Это... стихотворение написано автором в 1860 году, после посещения дома, принадлежавшего Дмитриеву в Москве, на Спиридоновке» (стр. 356). Архитектор А. Л. Витберг, автор неосуществленного проекта храма-памятника на Воробьевых горах, сообщает в своих «Записках»: «Иван Иванович Дмитриев... просил меня помочь в расположении его дома, и по моему проекту был выстроен он у Спиридония» (А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 1. М., 1854, стр. 384). Личность Дмитриева Вяземский характеризует также в статье 1866 г. «Иван Иванович Дмитриев» (ПСС, т. 7, стр. 158—167). *Он в свете был министр.* В 1810 г. Дмитриев был назначен министром юстиции. *Мидас* (греч. миф.) — фригийский царь, за дурной вкус и неверные суждения об искусстве получивший от Аполлона ослиные уши, которые он скрывал под колпаком. *Петров* Василий Петрович (1736—1799) — поэт, в основном известный торжественными одами. *Ермак и модная жена* — стихотворения Дмитриева. *Светоний* (75—160) — римский историк. *Фелица* — см. стр. 472. *Гогарт* Уильям (1697—1764) — английский гравер и рисовальщик, прославившийся сатирическим изображением английского общества.

Царскосельский сад зимою (стр. 357). Впервые — ПСС, т. 11, стр. 391. В ПСС указано, что стихотворение печатается со списка, на котором означено: «Царское село, 22 ноября, 1861» (ПСС, т. 11, примеч., стр. XII). *Бенвенуто* — Бенвенуто Челлини (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и медальер.

Друзьям (стр. 359). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 241. В ПСС отнесено к 1862 г.

«С тех пор, как упраздняют будку...» (стр. 360). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 330. В ПСС отнесено к 1862 г. Стихотворение направлено против обличительной литературы 1850—1860-х гг.

Старость (стр. 361). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 291. Печ. по авторизованной копии. В ПСС отнесено к 1862 г. Эпиграф — цитата из «Стансов» Вольтера к маркизе дю Шатле (1741).

Бессонница (стр. 362). Впервые — сб. «В дороге и дома», стр. 239. В ПСС датировано 1862 г. Вяземский страдал бессонницей еще в 50-х гг. Со временем этот его недуг становился все упорнее и мучительнее. *Глагол времен, металла звон* — цитата из «Оды на смерть князя Мещерского» Державина.

Николаю Аркадьевичу Кочубею (стр. 363). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 31. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1863—1864 гг. Н. А. Кочубей был вторым мужем Елены Сергеевны Волконской, по первому мужу Молчановой, дочери декабриста С. Г. Волконского. Больной туберкулезом Кочубей лечился в Италии, где и умер в 1864 г. *Сидишь с глазу на глаз ты с Пятницей вечной* — каламбур: Пятницей герой романа Дефо Робинзон прозвал дикаря, разделившего с ним одиночество на необитаемом острове. *Седмица* — архаическое название недели. *Завадовский* — по-видимому, граф Василий Петрович (1798—1855); Вяземский встречался с ним в Венеции в 1853 г.

«„Зачем вы, дни?" — сказал поэт...» (стр. 363). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 8. Печ. по автографу в «Старой записной книжке» 1863—1864 гг. *«Зачем вы, дни?» — сказал поэт.* В авторизованной копии стихотворения Вяземский к этому стиху сделал примечание: «Баратынский». Вяземский имеет в виду стихотворение Баратынского, начинающееся строками:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!

«Всё в скорбь мне и во вред. Всё в общем заговоре...» (стр. 365). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 7. Печ. по авторизованной копии. В ПСС отнесено к 1863 г. Эпиграф — цитата из трагедии Расина «Федра» (действ. I, явл. 3). При игре в вист *синглетоном* называлась единственная карта той или иной масти, находящаяся на руках у игрока. *Кикс* — в игре на бильярде неудачный удар, промах.

Santa Elena (стр. 366). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 57. Печ. по авторизованной копии. Относится скорее всего к пребыва-

нию Вяземского в Венеции в 1863 г. В одной из записей в «Записной книжке» 1863 г. Вяземский упоминает о брошюре «Manuscrit de S-te Hélène» (ПСС, т. 10, стр. 242). Быть может, эта брошюра натолкнула его на тему стихотворения. *Сей сад завоевал у пропасти морской.* Общественный сад был разбит в Венеции в период владычества Наполеона. (В 1809 г. Далмация была присоединена к так называемым Иллирийским провинциям Франции). *Святая Елена.* Название одного из островов, расположенных у побережья Венеции, совпало с названием острова, на который был сослан Наполеон. *Эней* — легендарный троянский царевич, воспетый в поэме Виргилия «Энеида». *В отчизну перенес под песни Беранже.* В 1840 г. прах Наполеона был торжественно перевезен с острова св. Елены в Париж. Беранже — один из тех поэтов, которые в эпоху Реставрации и Июльской монархии способствовали созданию «наполеоновской легенды», направленной в первую очередь против роялизма и реставраторских тенденций. *Депрео* — Буало. *Француз, шутник в душе, дал миру водевиль.* Вяземский имеет здесь в виду стих Буало: «Le Français, né malin forma le vaudeville» <«Француз, лукавый по природе, создал водевиль»> («Искусство поэзии», песнь II). *Всё в песню преложил, и даже гильотину.* Гильотина, изобретенная доктором Гильотеном, вошла в употребление в начале 1790-х гг., и это событие вызвало появление песенок и даже водевильных куплетов.

«Пожар на небесах — и на воде пожар...» (стр. 367). Впервые — сб. «Утро», М., 1866, стр. 159—160. Относится к пребыванию Вяземского в Венеции в 1863—1864 гг. *Крылатый лев* — см. стр. 471. *Салуте* — церковь St-a Maria della Saluta.

«„Per obbedir la“, что ни спросишь...» (стр. 368). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 102. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1863—1864 гг.

Венеция (стр. 370). Впервые — сб. «Утро». М. 1866, стр. 159. Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863—1864 гг. *Дуются орел и лев.* Орел — эмблема Австрийской империи, лев — эмблема Венеции. *Не дошло еще до драки.* Столкновение, которое предвидел Вяземский, произошло в 1866 г. После войны между Австрией, Пруссией и Италией Венеция освободилась от австрийского владычества и была присоединена к Итальянскому королевству.

«К лагунам, как frutti di mare...» (стр. 370). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 26. Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863—1864 гг.

Из фотографии Венеции (стр. 371). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 29. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1863—1864 гг.

«По мосту, мосту» (стр. 372). Впервые — сб. «Утро». М., 1866, стр. 169. Написано во время пребывания Вяземского в Венеции

в 1863—1864 гг. *Мост dei sospiri.* Мостом вздохов называли в Венеции висячий мост, соединявший дворец дожей со зданием государственной тюрьмы. Во времена Венецианской республики по этому мосту вели заключенных, которым надлежало предстать перед судом Совета десяти; чаще всего их ожидал смертный приговор.

Вевейская рябина (стр. 373). Впервые — «„Вевейская рябина“. Стихотворение князя П. А. Вяземского». СПб., 1892. Стихотворение посвящено Екатерине Павловне Вяземской (впоследствии в замужестве — Шереметева), внучке Вяземского, дочери его сына Павла Петровича. В брошюре «Вевейская рябина» публикации нескольких стихотворений Вяземского предшествует заметка Н. Барсукова. В ней он между прочим рассказывает — со слов правнука Вяземского П. С. Шереметева, — что «Вевейская рябина» была написана Вяземским в 1864 г., после того как на прогулке с внуками он отыскал рябину, «которой... написал стихи в 1854 году». *Красивой осени картину.* Слово «красивой» Вяземский выделил курсивом, так как он подшучивал над привычкой своей внучки злоупотреблять этим словом.

Кладбище (стр. 374). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 146. Печ. по этому тексту, так как автограф, которым располагали составители ПСС, нам обнаружить не удалось. *В земле так много моего.* См. примечание к стихотворению «Сознание», стр. 473.

«Мне нужны воздух вольный и широкий...» (стр. 375). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 137. Печ. по авторизованной копии. В ПСС отнесено к 1864 г.

Поминки (стр. 376). Впервые — газ. «Русский», 1867, № 7—8. Датируется предположительно по положению автографа в «Записной книжке» 1864 и последующих гг. *С бородою бородинской* и т. д. Речь идет о Денисе Давыдове. Начальствуя в 1812 г. над партизанскими отрядами, Давыдов отпустил бороду. Это было явлением необыкновенным, так как с петровских времен и до середины XIX в. включительно русские дворяне никогда не носили бороду. *Жомини* Анри (1779—1869) — генерал, состоявший на швейцарской, французской и русской службе. Видный военный теоретик.

«Как свеж, как изумрудно мрачен...» (стр. 377). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 224. Печ. по автографу.

Слезная комплянта (стр. 379). Впервые — сб. «Памяти графини М. И. Ламздорф. Стихотворения, посвященные ей князем П. А. Вяземским», СПб., 1890, стр. 42. Мария Ивановна Ламздорф (1839—1866) была падчерицей сына Вяземского Павла Петровича. Ее мать, Мария Аркадьевна Столыпина, в первом замужестве Бек, вышла замуж за П. П. Вяземского, когда ее дочери было девять лет. М. И. Бек, по мужу Ламздорф, стала впоследствии предметом поздней любви Вяземского. Смерть М. И. Ламздорф, на двадцать седьмом году, была для Вяземского тяжким ударом. Шуточное стихотворение, в котором французские фразы напечатаны русскими буквами (в духе «Сенсаций и замечаний г-жи Курдюковой» И. Мят-

лева), имеет, таким образом, лирический подтекст. В другом стихотворении, обращенном к М. И. Ламздорф, Вяземский писал:

Но вечно что-то закорючкой
Глядит в моей лихой судьбе:
В вас рад я любоваться внучкой,
Но деду я не рад в себе.

Вечер (стр. 380). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 238. Печ. по авторизованной копии. В ПСС отнесено к 1865 г. Стихотворение посвящено Екатерине Федоровне Тютчевой, дочери поэта. В «Записной книжке» имеется запись от 12 июня 1865 г.: «Отвечал... Кити Тютчевой» (ПСС, т. 10, стр. 255).

«Опять я слышу этот шум...» (стр. 381). Впервые — сб. «Складчина». СПб., 1874, стр. 22—23. Из цикла «Крымские фотографии 1867 года». На этом стихотворении сказалось воздействие лирики Тютчева.

«Пора стихами заговеться...» (стр. 382). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 359. В ПСС отнесено к 1867 г. *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский биолог. По отдельным элементам скелета Кювье реконструировал строение вымерших животных. *Кювье литературных прахов* Вяземский шутя называет А. Д. Галахова (1807—1892) — составителя литературных хрестоматий.

«Сфинкс, не разгаданный до гроба...» (стр. 383). Впервые — сб. «Складчина». СПб., 1874, стр. 41. Стихотворение, очевидно, относится к Вольтеру.

Зимняя прогулка (стр. 384). Впервые — сб. «Складчина». СПб., 1874, стр. 33. Посвящено графине Марии Борисовне *Перовской,* дочери графа Бориса Алексеевича Перовского (1814—1881), бывшего воспитателем Александра III. *Армида* — изображенная в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» волшебница, владеющая чудесным садом.

«Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться...» (стр. 385). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 435. В ПСС имеется указание, что стихотворение извлечено из письма Вяземского к жене его сына М. А. Вяземской от 23 декабря 1870 г. (ПСС, т. 12, примеч., стр. XIII).

Эпитафия себе заживо (стр. 385). Впервые — ПСС т. 12, стр. 439. В ПСС имеется указание, что стихотворение извлечено из письма П. А. Вяземского к жене его сына М. А. Вяземской от 9 января 1871 г. (ПСС, т. 12, примеч., стр. XIII).

«Все сверстники мои давно уж на покое...» (стр. 386). Впервые — первая строфа, ПСС, т. 12, стр. 452. Полностью опубликовано В. Нечаевой в «Избранных стихотворениях»,

стр. 362. Печ. по автографу с авторской пометой: «Царское Село, 12 июня 1872 г.». В этот день Вяземскому исполнилось восемьдесят лет.

«Свой катехизис сплошь прилежно изуча..» (стр. 386). Впервые — третья строфа, ПСС, т. 12, стр. 453. Полностью опубликовано В. Нечаевой в «Избранных стихотворениях», стр. 362. Печ. по автографу. В ПСС отнесено к 1872 г.

Графу М. А. Корфу (стр. 387). Впервые — газ. «Гражданин», 1875, № 8—9, 2 марта. Адресат этого стихотворения — граф Модест Андреевич Корф (1800—1876), лицейский товарищ Пушкина, впоследствии крупный бюрократ (председатель департамента законов Государственного совета) реакционного направления. Не случайно, что именно в послании к Корфу Вяземский с крайним раздражением отзывается о русской литературе 70-х гг. *Царевичу младому Хлору* и т. д. В нравоучительной «Сказке о царевиче Хлоре» Екатерины II царевич Хлор ищет «розу без шипов». Вяземский перефразирует строки из «Оды к Фелице» Державина:

Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет.

Осень (стр. 388). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 473. Печ. по авторизованной копии.

Обыкновенная история (стр. 389). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 485. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1873—1875 гг.

«Лукавый рок его обчел... (стр. 389). Впервые — ПСС, г. 12, стр. 486. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1873—1875 гг. В этом стихотворении Вяземский, очевидно, говорит о своей собственной судьбе.

«Куда девались вы с своим закатом ясным...» (стр. 390). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 481. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1875—1877 гг. К стихотворению имеется авторское примечание: «Эти стихи написаны или надуманы мною года два тому. Сюда записаны 16/28 сентября».

«Игрок задорный, рок насмешливый и злобный...» (стр. 391). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 503. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1875—1877 гг. К четверостишию имеется примечание автора: «Чему служит примером аз грешный. 4 сентября. Во время прогулки пешком». *Сюркуп* — карточный термин, означающий, что карта перекрыта.

«На взяточников гром все с каждым днем сильней...» (стр. 392). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 504. В ПСС отнесено к 1875 г. Революционные демократы еще на рубеже 60-х гг. выступали против либеральной обличительной литературы. Вяземский ополчается здесь, с противоположных позиций, против литературы, обличающей общественные злоупотребления. В стихо-

творении имеются в виду литераторы из демократического лагеря. *Кот Васька слушает да преспокойно ест.* Имеется в виду басня Крылова «Кот и повар» («А Васька слушает да ест»).

Цветок (стр. 393). Впервые — «Русский архив», 1879, № 1, стр. 135. Печ. по автографу. В «Записной книжке» 1877 г. приведены первые две строфы стихотворения с примечанием: «Начало стихотворения, которое я написал, то есть надумал минувшим летом, в вагоне, когда ехал из Гомбурга в Эмс. Есть и конец, но пока не нахожу его ни в памяти, ни в бумагах. Читал я его Гроту в Гомбурге, и, кажется, был он им очень доволен. Много подобных стихов у меня пропало, которые я мысленно сочинял в прогулках и езде, и не успел записывать. Беспечность одна всему этому причиной. Дело в том, что я люблю творить и охладеваю к сотворившемуся. Похож я на отца, который очень любит делать детей, но, сделавши их, мало о них заботится». Стихотворение «Цветок» принадлежит к циклу, озаглавленному: «Из собрания стихотворений: хандра с проблесками». *Успенья гений белокрылый.* Успенье — кончина. Вяземский имеет в виду праздник Успения божьей матери; по церковному преданию, за душой Марии явился бог в сопровождении ангелов.

«Жизнь наша в старости — изношенный халат...» (стр. 394). Впервые — ПСС, т. 12, стр. 549. Печ. по автографу в «Записной книжке» 1875—1877 гг. К этому и еще одному стихотворению имеется авторское примечание: «Эти два стихотворения плод поездки моей в Баден-Баден».

«Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду...» (стр. 395). Печ. впервые по автографу, недавно обнаруженному в «Записной книжке» 1869—1871 гг. По техническим причинам стихотворение не могло быть помещено на своем месте, среди стихотворений 1871 г.

ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Семь стихотворений, входящих в этот раздел, помещены в публикациях «Из старой записной книжки» Вяземского. Мы выделяем их в особый раздел, так как Вяземский не указывает, что стихотворения эти принадлежат ему. Однако Вяземский нередко в такой же анонимной форме вводил в «Старую записную книжку» свои собственные афоризмы, остроты и проч. Так же анонимно введена, например, в одну из публикаций эпиграмма «Княжнин! К тебе был строг судеб устав...», которую мы печатаем в основном тексте, так как нами найден ее автограф. Цитируя чужие стихи в «Старой записной книжке», Вяземский обычно называет имя автора, хотя бы предположительно. Все это дает нам основания с большой вероятностью считать стихотворения, включенные в настоящий раздел, принадлежащими Вяземскому.

«Веселый шум, пеньё и смехи...» (стр. 399). Впервые — «Русский архив», 1874, кн. 2, стр. 226. Этому стихотворению

в «Старой записной книжке» предпослано: «Немцы и французы имеют целую литературу застольных песней. А мы, охотно поющие и охотно пьющие, ничего такого не имеем. В старых московских бумагах отыскалась подобная исключительная застольная песнь, которую сюда и заносим...» Очевидно, это застольная песнь «дружеской артели» (выражение Вяземского), собиравшейся в Москве в 1816 г. (в 1816 г. в Москве находился и Батюшков). Куплеты песни по порядку посвящены — Денису Давыдову, Федору Толстому («Американцу»), Жуковскому, В. Л. Пушкину, Батюшкову. *Ганимед* (греч. миф.) — прекрасный юноша, виночерпий Зевса. *Ты храбро нес солдатский ранец.* Ф. Толстой за дуэли был разжалован в солдаты. *Буянов* — герой «Опасного соседа», самого талантливого и острого из произведений В. Л. Пушкина.

«Шишков недаром корнеслов...» (стр. 401). Впервые — «Русский архив», 1874, кн. 1, стр. 489. Четверостишию предпослана фраза: «В числе невинных шалостей и шуток «Арзамаса» находится и следующая...» Борясь с внедрением в русский язык иностранных слов, А. С. Шишков пытался производить новые слова от старославянских корней.

«Вы — донна Соль, подчас и донна Перец!..» (стр. 401). Впервые — «Русский архив», 1874, кн. 1, стр. 1340. Стихотворение обращено к Александре Осиповне Россет (Россети), в замужестве Смирновой (см. примечание к стихотворению «Черные очи»). *Донна Соль* — героиня нашумевшей романтической драмы В. Гюго «Эрнани». «Эрнани» появился на французской сцене и стал известен России в 1830 г. Следовательно, стихотворение написано между 1830 и 1832 гг., когда Россет вышла замуж за Н. М. Смирнова. В «Старой записной книжке», в фрагменте, посвященном Смирновой, Вяземский пишет: «...Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы... Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокую девицу Donna Sol, главною действующею личностью испанской драмы Гюго» (ПСС, т. 8, стр. 233). И далее: «Вот шуточные стихи, которые были ей поднесены...» За этим следует текст стихотворения.

«С ним звездословию нетрудно научиться...» (стр. 402). Впервые — «Русский архив», 1873, стр. 1021. Этому четверостишию в «Старой записной книжке» предпослан следующий текст: «Как по проезжим дорогам, так и в свете, на поприще почестей и успехов, человек, едущий с богатою внутренней кладью, часто обгоняем теми, которые едут порожнем. Это напоминает четверостишие, найденное в какой-то тетради...»

«Всех образчиков, всех красок...» (стр. 402). Впервые — «Русский архив», 1875, кн. 1, стр. 201. Этому стихотворению предпослан следующий текст: «Что ни говори, а Молчалины народ в литературе драгоценный. В тетрадках их сохранилось многое, что без них пропало бы без вести. Вот, например, одна из подобных находок. Стихи писаны давно, но по содержанию едва ли не применимы они ко многим эпохам...»

«Он весь приглажен, весь прилизан...» (стр. 402). Впервые — «Русский архив», 1875, кн. 1, стр. 203. Этому стихотворению предпослана фраза: «Вот портрет из старинной картинной галереи. . .»

«Он рыцарь, он поэт, к тому ж любовник пылкой» (стр. 403). Впервые — «Русский архив», 1877, кн. 1, стр. 512. Этому стихотворению предпослана фраза: «А вот еще чье-то старое четверостишие. . .»

По недосмотру эпиграмма «Крохоборам» (стр. 205) помещена не на своем месте. В примечаниях (стр. 455) она датирована правильно.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* П. А. Вяземский. Работа К. Я. Рейхеля. Масло. 1817. Всесоюзный музей А. С. Пушкина.

2. *Стр. 123.* Автографы эпиграмм 1810-х годов: «Княжнин! Святых судеб устав...» и «Как «Андромахи» перевод...» Пушкинский дом АН СССР.

3. *Между стр. 256 и 257.* П. А. Вяземский. Рисунок О. А. Кипренского. 1835. Музей-квартира А. С. Пушкина.

4. *Между стр. 272 и 273.* П. А. Вяземский. Акварель Т. Райта. 1844. Всесоюзный музей А. С. Пушкина.

5. *Между стр. 368 и 369.* П. А. Вяземский. Фотография 60-х годов. Пушкинский дом АН СССР.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

---

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ПРИЛОЖЕНИЕ. **ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ**

Вяземский Петр Андреевич

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *К. К. Бухмейер*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *С. И. Брусиловская*
Корректор *А. Г. Рабинова*

Сдано в набор 24/I 1958 г. Подписано к печати 10/V 1958 г.
Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 32,25 (26,44). Уч.-изд. л. 27,45.
Тираж 20 000. Цена 10 р. 10 к. Заказ № 128.

Ленинградское отделение
издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
24	18 св.	прогрессивной форме, острой	прогрессивной форме — с острой
137	6 св.	взвывали	взывали
476	21 св.	К концу 1879 — началу 1880 гг.	к концу 1789 — началу 1790 гг.